АНДРЕЙ
БЕЛЫЙ

БИБЛИОТЕКА
ПОЭТА

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Советский
писатель



БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

Большая серия

Второе издание

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

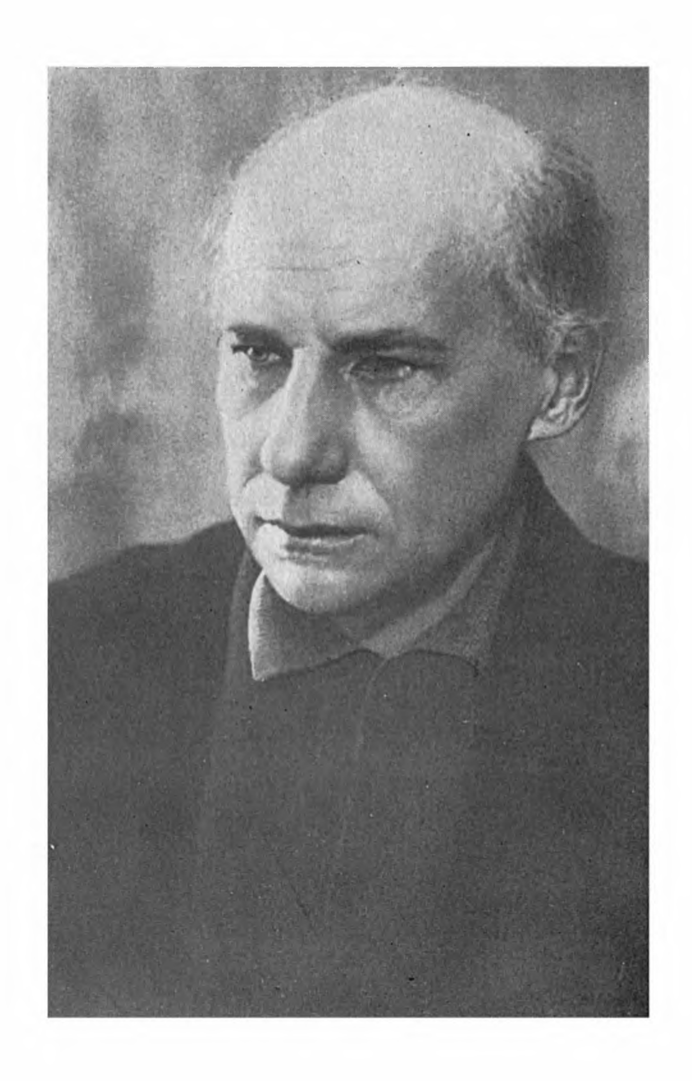
Вступительная статья и составление
Т. Ю. Хмельницкой
Подготовка текста и примечания
Н. Б. Банк и Н. Г. Захаренко

МОСКВА–ЛЕНИНГРАД • 1966

Р 2
Б 43

Андрей Белый (1880—1934) — поэт, прозаик, литературный критик и теоретик, крупнейший представитель русского символизма. В обширном творческом наследии Андрея Белого поэзия занимает большое место. С особенной силой поэтический талант А. Белого сказался в книге «Пепел» (1909), проникнутой чувством глубокой любви к родине. При всей сложности и противоречивости идейно-творческого пути А. Белого, он не разделил судьбы многих своих литературных соратников, искренне приветствовал Великую Октябрьскую революцию и закончил свой путь советским писателем. В настоящем издании впервые с должной полнотой собрано все наиболее значительное, что было написано Андреем Белым в стихах за тридцать лет — с 1901 по 1931 год. Ряд стихотворений публикуется впервые.

7-4-2
409-66





ПОЭЗИЯ АНДРЕЯ БЕЛОГО

1

Имя Андрея Белого прочно связано с русским символизмом. Говорить о Белом только как о лирике или прозаике, мемуаристе или исследователе стиха, авторе программных философских статей или блестящем полемисте было бы крайне односторонне. Белый — прежде всего деятель, организатор, вдохновитель и теоретик символизма, хотя разнообразие его человеческой одаренности не укладывается в рамки литературной школы. Художественная практика Белого неотделима от его теоретических и идейных исканий.

Даже поверхностное знакомство с деятельностью Андрея Белого опровергает традиционные представления о символистах как о писателях, сознательно отмахнувшихся от жизни, ушедших в какие-то условные надмирные высоты и потерявших контакт с реальным историческим временем. На самом деле все было значительно сложнее и противоречивее. Интерес к самым конкретным вопросам современности у Белого несомненен. Он горячо откликался и на последние научные открытия, и на новые философские учения, и на реальные исторические события: революцию 1905 года, ее трагическое поражение, первую мировую войну, октябрьский переворот.

Любопытно, что именно в 1905—1906 годах он печатает множество статей и рецензий на социально-экономические книги. Но к вопросам политическим и социальным Белый подходил не с марксистских позиций. Он пытался разрешить их в туманном, космическом, а подчас и мистическом плане. Это характерная черта русских символистов второго поколения, стремившихся выйти за пределы узколитературных и эстетических задач.

Глубочайшее противоречие, характерное для младших символистов, заключалось в несовпадении и разрыве между очень реаль-

ным недовольством современной действительностью и абстрактными, откровенно идеалистическими и даже теургическими поисками выхода из создавшегося неблагополучия. С одной стороны — мечта о переустройстве жизни; с другой — оторванность этой мечты от действительной жизни страны и народа. Символисты взывают к жизнетворчеству, но в их представлении оно мыслится не как преобразование всего уклада и строя России, а как революция духа, совершающаяся в уединенных глубинах философского сознания. Путаная смесь неокантианских теорий познания, эстетических идей Шопенгауэра и Ницше и особенно мистического учения Вл. Соловьева о «мировой душе», о гармонии истины, добра и красоты, облеченных в символ Премудрой Софии — «вечной женственности», которая должна спасти и возродить мир, — становится отправной точкой философских и поэтических исканий символистов. Белый, как и Блок, и Вячеслав Иванов, как все самые значительные символисты «второй волны», принадлежал, по собственному его определению, к «детям рубежа». Все они, каждый по-своему, чувствовали приближение больших исторических перемен. Но они предвидели их не в социальном переустройстве мира, а в создании новой духовной культуры, призванной изменить самую природу отношений между людьми. Они считали себя активными участниками в создании этой новой культуры, очень широкой, включающей, кроме литературы, и все другие искусства, и науку, и философию, и религиозные искания.

Трудно представить себе фигуру более характерную и выразительную, чем Андрей Белый, для разработки теоретических и конкретно-творческих проблем, связанных с этой многогранной культурой. Он был наделен эрудицией, широтой интересов, энциклопедичностью в подходе к разнообразным областям науки, философии, искусства и жизни.

Для Белого в мире не существует единичных явлений. Все взаимосвязано, и эту живую связь он пытается творчески охватить и воспроизвести не в статическом описании, а в диалектике движения и развития. Он ищет первооснов и первопричин любого исследуемого им факта. Он всегда начинает с «сотворения мира». Эту грандиозность охвата, богатство огромного попутно привлекаемого материала, обилие ассоциаций и сопоставлений мы найдем во всех трудах Белого: будь ли то книга о кризисе культуры, сознания и жизни, или поэма о звуке — «Глоссалолия», или исследование русского четырехстопного ямба, или филологическое объяснение слова «Россия», или ранние статьи о формах искусства. Во всех работах Белого поражает сочетание блестящей импровизации, смелого полета

воображения, щедрости крайне произвольных и парадоксальных, но виртуозно аргументированных домыслов — с несколько тяжеловесным, наукообразным аппаратом. Белый обильно снабжает свои труды алгебраическими формулами, чертежами, диаграммами, анатомическими таблицами. В этом сосуществовании поэтической свободы мыслей и образов с наукоподобной фундаментальностью тоже сказывается стремление к единству науки и искусства, философии и пророческого откровения. Соединяя, казалось бы, несоединимое, Белый утверждает многогранный творческий процесс, в котором для него заключается созидание и обновление самой жизни.

«Искусство есть начало плавления жизни», — пишет Белый в статье «Театр и современная драма» (1907). — «...Искусство окрыляется там, где призыв к творчеству есть вместе с тем призыв к творчеству жизни»[1]. «Художник должен стать собственной формой: его природное «я» должно слиться с творчеством; его жизнь — должна стать художественной. Он сам „*слово, ставшее плотью*"»[2].

Таким «художником жизни» был Андрей Белый. Все, кто видел и слышал его, — Марина Цветаева, Вадим Андреев, Илья Эренбург, В. Пяст, А. Гладков, жена Белого К. Н. Бугаева, его ученица Н. И. Гагенторн — в своих воспоминаниях, устных и письменных, на редкость единодушно и похоже передают ошеломляющее впечатление от встреч с ним, от необыкновенной выразительности и заразительности его речи. Это не просто ораторский дар, это стихия. Белый влетал в комнату и ослеплял, как шаровая молния. Каждое слово Белого, каждое его высказывание было прежде всего зрелищем, действом. Белый не говорил — он танцевал свои и чужие стихи. Вадим Андреев рассказывает, как в Берлине в 1921 году Белый танцевал «Скифы» Блока. Марина Цветаева в своем очерке о Белом «Пленный дух» передает, как он в блестящей импровизации на лету разнес «ничевоков» — не только словом — голосом, жестом, ритмом: «...Это не просто вдохновение словесное, это — танец... То с перил, то с кафедры, то с зеленой ладони вместе с ним улетавшей лужайки, всегда обступленный, всегда свободный... в вечном сопроводительном танце сюртучных фалд... старинный, изящный, изысканный, птичий — смесь магистра с фокусником, в двойном, тройном, четверном танце: смыслов, слов, сюртучных ласточкиных фалд, ног, — о, не ног! всего тела, всей второй души, еще — души своего тела, с отдельной жизнью своей дирижерской спины...»[3]

---

[1] А. Белый, Арабески. Книга статей, М., 1911, с. 20.
[2] А. Белый, Луг зеленый. Книга статей, 1910, с. 28.
[3] М. Цветаева, Пленный дух. В кн.: «Проза», Нью-Йорк, 1953, с. 308.

То, что Белый танцевал свои стихи и выступления, свидетельствует не столько о неукротимости его темперамента и нервном подъеме, сколько о постоянных поисках синкретической формы выражения, в которой слово, интонация, ритм и жест образуют нераздельное единство.

Ведь и в писаниях своих Белый никогда не ограничивался словом как немым начертанием мыслей. Он выпевал, выборматывал и даже «вытопатывал», по собственным многочисленным признаниям, не только строки стихов, но фразы своей ритмической прозы. «Мне, говоря попросту, пелось: я ходил заряженный художественно... и проза и стихи одинаково выпевались мною...» [1]

Интонация и ритм — не единственный источник словесной выразительности для Белого. Он черпает и из других искусств. Он создает себе красочную палитру нз коктебельских камушков и альбомов засохших осенних листьев. К. Н. Бугаева в своих воспоминаниях свидетельствует, что эти коллекции камушков и листьев Белый клал перед собой во время работы над романом «Москва» и, глядя на эту своеобразную палитру, описывал интерьеры, пейзажи, оттенки и цвета женских платьев. В сборнике «Как мы пишем» Белый тоже об этом упоминает, называя коллекцию камушков «красочными транскрипциями».

И в большом, и в малом — всюду поиски создания единого стиля из всех многообразных форм природы, жизни и человеческого творчества.

В этих поисках Белого сказалась характерная тенденция символизма выйти за пределы какого-либо замкнутого вида искусства, переплавить одну область искусства в другую — соседнюю. Так Скрябин создает «световые симфонии», Чурлёнис в своих картинах передает текучесть и движение музыки, струистость и звучность света.

И в своих теоретических статьях о формах и границах искусства, и в своей художественной практике Белый старался обогатить литературу всеми выразительными средствами других искусств.

И хотя Белый создал много работ, скрупулезно анализирующих форму, — «Опыт характеристики русского четырехстопного ямба», «Ритм как диалектика», «Магия слова», хотя именно Белый один из непосредственных предшественников будущих формалистов, он никогда не ограничивался исследованием формы изолированно от замысла и всегда искал в этих новых формах философских обобщений, творческого раскрытия сущности явления.

---

[1] «Как мы пишем». Сборник, Изд. писателей в Ленинграде, 1930, с. 14, 16.

Вся деятельность Белого — излучение ищущей мысли. Недаром в 1919 году Белый мечтал об открытии целой «Академии исканий», которая должна была стать центром духовной жизни страны. Правда, реализовалась эта мечта куда более скромно: организовали Вольную философскую ассоциацию — так называемую Вольфилу — средоточие идеалистических и отчасти религиозных концепций и теорий. Замысел Белого был гораздо более широк и космичен.

Белый в своих бурных творческих исканиях часто менял философские увлечения, переходил от идеалистических теорий Ницше и Шопенгауэра к Вл. Соловьеву, потом к неокантианским теориям Риккерта и Когена, потом разочаровался и развенчал их, неожиданно для самого себя в заграничном путешествии 1910 года попал под гипноз мистических антропософских идей Рудольфа Штейнера. В прокрустово ложе этих произвольных теорий не укладывались реальные сложности мира исторических катаклизмов. Этот мир Белый воплощал и в романах («Петербург»), и в трилогии («Москва»), и в книге философских раздумий «На перевале», и в насыщенных путевых очерках «Офейра», «Ветер с Кавказа», и в капитальных мемуарах, охватывающих напряженную жизнь эпохи, — «На рубеже двух столетий», «Начало века», «Между двух революций».

В. Пяст справедливо окрестил Белого «чародеем трудоспособности». Мощным и щедрым потоком изливалась его творческая мысль, часто спорная и запутанная в хаосе противоречивых впечатлений, но вместе с тем стремящаяся к кристаллизации, к утверждению каких-то основных закономерностей бытия. Но в непрерывной и быстрой смене своих исканий и работ Белый всегда был одержим миссией творческого переустройства мира, которое он мыслил как создание единой духовной культуры.

В позднем письме к Тициану Табидзе (1933) он остался верен этому делу культуры так же, как в дни своей юности, когда писал первые теоретические статьи о символизме. Белый просит Тициана Табидзе помочь художнику Петрову-Водкину ознакомиться с Кавказом: «Оказав ему посильную помощь, Вы окажете содействие культуре, той культуре, которая над всеми народами, как купол, составляющий один народ, в котором я, Вы, Сарьян и Водкин, как Рембо, Верлен, Ницше и т. д. — братья» [1].

Этому братству единой духовной культуры Белый отдал всю свою творческую жизнь, полную исканий, опытов, находок, чудовищных заблуждений и вдохновенных наитий.

---

[1] Архив Т. Табидзе (Литературный музей, Тбилиси).

2

В многообразных литературных опытах Белого, независимо от жанра и круга затронутых проблем, есть одна с первого взгляда неожиданная особенность: творчество его предельно автобиографично. Все его замыслы и центральные образы связаны с подлинными событиями его жизни — с бытовым укладом, семейной и дружеской средой, душевными конфликтами и личными взаимоотношениями.

Уже начало жизни Андрея Белого (он родился в 1880 году) при всем внешнем благополучии трагично и сложно. С детских лет Белый стал жертвой взаимоисключающих жизненных идеалов отца и матери. Отец — известный математик Н. В. Бугаев — предначертал ему путь ученого. Мать — артистическая натура, талантливая пианистка — тянула его к искусству. С ужасом смотрела она на большой лоб сына, вздыхала: «второй математик!», окрестила его презрительной кличкой «лобан» и спешила прикрыть этот безобразный, с ее точки зрения, лоб кокетливыми длинными кудрями.

Расхождение между отцом и матерью, борьба двух властных влияний стали драмой раздвоения вкусов и склонностей в жизни Белого. А семейный конфликт превратился в лейтмотив, неоднократно звучащий на всем протяжении его творчества.

Писать он начал рано, но долго не решался считать литературу истинным своим призванием. Любовь и уважение к отцу и ранние исследовательские навыки приковывали его к науке. Он окончил естественное отделение физико-математического факультета Московского университета, однако, к удивлению профессоров и всего ученого круга его отца, не сделал никаких реальных выводов из полученного им образования. Тяга к искусству победила. Он поступил на филологический факультет и целиком отдался творчеству.

Первые его опыты были одобрены в очень много значившей для него духовно семье М. С. и О. М. Соловьевых, сын которых Сережа, в то время еще гимназист, был его самым близким другом. Родным братом Михаила Сергеевича Соловьева был известный философ-идеалист и поэт Владимир Соловьев. Михаил Сергеевич и знакомил с трудами и стихами Владимира Соловьева молодого Бориса Бугаева. Владимир Соловьев предстал перед Борисом Бугаевым в ореоле восторженных семейных легенд.

В семье Соловьевых намечается и еще одно, решающее для будущего поэта, творческое сближение. Сережа Соловьев переписывался со своим родственником Александром Блоком. Ранние стихи Блока читались у Соловьевых и произвели огромное впечатление на Бориса Бугаева. Возникает переписка, обмен стихами, сознание

общности поэтических устремлений и целей. Так в доме Соловьевых формируются художественные вкусы, склонности и увлечения Белого.

Дружба с семейством Соловьевых относится к началу 900-х годов. В это время Борис Николаевич Бугаев еще не считал себя писателем. Еще не родился поэт и будущий вождь символизма Андрей Белый, и лишь втайне предавался писанию стихов и симфоний студент-естественник Бугаев. Уже тогда проявилась в нем разносторонность и одновременность призваний и творческих возможностей.

«В 1901 году я колебался, — пишет Белый в «Начале века», — кто я? Композитор, философ, биолог, поэт, литератор иль критик? Я в «критика», даже в «философа» больше верил, чем в «литератора»; вылазки — показ отцу слабоватых стихов и «Симфонии» другу — посеяли сомнения в собственном «таланте»: отец стихи — осмеял; друг откровенно отметил, что я-де не писатель вовсе. Не будь Соловьевых, «писатель» к 1903 году совсем бы исчез с горизонта; но Соловьевы меня тут поддержали всемерно» [1].

В доме Соловьевых Белый читал свою «Драматическую симфонию» и впервые получил признание и благословение как настоящий писатель. На семейном совете Соловьевых решено было: симфонию необходимо напечатать, но, чтобы не огорчать отца Бори и не компрометировать его крупное научное имя модернистским дебютом сына, — выпустить симфонию под псевдонимом. Так произошло литературное рождение Андрея Белого.

Ранние стихи сам Белыи характеризует как еще робкую смесь Бальмонта, Верлена и Фета. Он пробует себя в драматической мистерии, задумывает космическую эпопею, бросает не отделывая, но больше всего работает над симфониями. Симфонии — это новое слово в литературе, сказанное Белым, новый жанр, впервые созданный им.

Жанр этот органически возник на почве разработанной символистами теории взаимопроникновения всех искусств и громадного влияния музыки на литературу.

В западной и русской эстетике «начала века» появляется ряд теоретических работ, ставящих перед собой задачу определить принципы и специфику каждого искусства и закономерность их взаимодействия. Речь идет о создании единого стиля. Анализируя особенности каждого искусства, символисты, следуя Шопенгауэру и Ницше, выше всего ставят музыку. Музыка в их понимании наиболее полно охватывает всю сферу бытия и духа, вбирает в себя

[1] А. Белый, Начало века, М.—Л., 1933, с. 119.

возможности и выразительные средства всех искусств. Музыка наиболее близка к поэзии, и поэзия черпает из родника музыки и мелодию, и ритм.

Естественно, что теоретик символизма Белый не может пройти мимо этих основных эстетических проблем и в целом ряде статей 10-х годов пытается дать подробный анализ специфики формы и законов каждого искусства. Эти вопросы он ставит в статьях «Формы искусства» (1902), «Принцип формы в эстетике» (1906), «Смысл искусства» (1907).

Углубляя привычное в эстетике разделение искусств на пространственные — живопись, скульптура и архитектура — и временные — музыка и литература, Белый говорит о решающем значении музыки в современном искусстве, о влиянии музыки на литературу, о музыке как едином потоке жизненного движения, о ритме как первооснове жизни. К мыслям о музыке как высшей форме искусства Белый возвращается не раз, но особенно подробно говорит он об этом в своей первой теоретической статье «Формы искусства» (1902): музыка «все властнее и властнее накладывает свою печать на все формы проявления прекрасного. . .» [1]; «. . .Приближаясь к музыке, художественное произведение становится и глубже и шире. . .»; «Не будут ли стремиться все формы искусства все более и более занять место обертонов по отношению к основному тону, т. е. к музыке?» [2] В этой же статье Белый характеризует симфоническую музыку как вершину музыкальной культуры, как наиболее совершенную форму, указывающую «путь искусству в его целом» [3].

Естественно, что первые его самостоятельные опыты в литературе начинаются с создания нового жанра, сознательно названного симфониями и построенного по закону музыкальных лейтмотивов, их контрапунктического развития и сопряжения.

Уже в первой своей «Северной симфонии», завершенной к концу 1901 года, но напечатанной только в 1903 году, Белый смело применяет в ритмической прозе лейтмотивное развитие темы с возвращающимися вариациями и разработками основных образов, закрепленных в повторяющихся словесных формулах. Первая симфония Белого не только воспроизводит музыкальную конструкцию в слове, но тесно связана с музыкальными образами Грига и с модными в те годы картинами Беклина и Штука — с их многозначительной фантастикой [4].

---

[1] А. Белый, Символизм, М., 1910, с. 156.
[2] Там же, с. 174.
[3] Там же, с. 169.
[4] См.: А. Белый, Начало века, с. 120.

Симфония густо населена королями и королевнами, средневековыми рыцарями, одинокими исполинами, лесными фавнами, гномами, зловещими горбунами и кентаврами. Весь этот условный сказочный мир еще не раз оживет в творчестве Белого и в разделе «Образы» сборника «Золото в лазури», и позднее в сборнике стилизованных сказок «Королевна и рыцари».

Оригинальна и непривычна конструкция, создающая новый жанр музыкальной и ритмической прозы, но образный реквизит первой симфонии еще традиционен. Характерен и нов у Белого только кентавр, о котором во второй симфонии он сам, иронически обнажая его художественные истоки, скажет: «кентавр, получивший права гражданства со времен Беклина» [1].

Первая симфония еще перенасыщена красивостями и модными в то время банально-легендарными мотивами. Но в ней уже намечается одна неотъемлемая черта всего творчества Белого: сочетание патетического с гротескным, приподнятого с великолепной нелепостью, с образом угловатым, преувеличенным и сгущенным. Таков кентавр, шумно галопирующий по симфонии, ранним стихам и поздним вариантам этих юношеских стихов: «Его вороное тело попирало уставшую землю, обмахиваясь хвостом... Глубоким лирным голосом кентавр кричал мне, что с холма увидел розовое небо... что оттуда виден рассвет...» [2]

Символические «зори» — любимая тема раннего Белого — входят в симфонию неразрывно с этим причудливым, диковатым и сказочным образом кентавра.

Силы зла предстают в симфонии в виде лесных чудищ и козлоногих фавнов. Белый со свойственной ему языковой изобретательностью вводит в симфонию слова, каламбурно и пародийно обыгрывающие образ, подчеркивающие гротескный его характер: на шабаше ведьм козлобородый рыцарь «водил проклятый хоровод и плясал с козлом в ночных чащах. И этот танец был *козловак*» [3]. Это сказочное шутливое слово Белый впоследствии вводит как полемическую уничтожающую кличку, применяя его к суетливым и путаным спорам вырождающихся литературных салонов и кружков. В статье «Искусство и мистерия» (1908), направленной против теории Вячеслава Иванова о современном соборном театре, превращающем драму в мистерию, Белый зло издевается над идеей соединения актеров и зрителей в мистическом действе: «...Вместо игры свя-

---

[1] А. Белый, Собр. соч., т. 4, М., 1917, с. 147.
[2] Там же, с. 16—17.
[3] Там же, с. 49.

того безумия вокруг священного козла проволоклись мистики в довольно-таки гнусном танце — *козловаке...* Многим из нас принадлежит незавидная честь превратить самые грезы о мистерии в *козловак»* [1].

Для Белого характерно сочетание вдохновенной, экзальтированной, почти пророческой мистики с беспощадным, остро сатиричным разоблачением.

Символизм как метод — для Белого прежде всего «многострунность» [2], показ явления во многих планах, подчас казалось бы противоречивых, и симфония — наиболее совершенная форма, перенесенная из музыки в поэзию, объединяющая в себе разнообразие и борьбу главных жизненных тем [3].

Белый написал всего четыре симфонии: «Северную» (1901), «Драматическую» (1902), «Возврат» (1905) и «Кубок метелей» (1908). Наиболее значительна и показательна для всего творчества Белого — Вторая Драматическая симфония.

«Драматическая симфония» вызывающе злободневна, почти памфлетна. Она пронизана язвительными и острыми намеками на черты времени, хотя очень много, серьезно и торжественно говорит о Вечности. В обобщенных фигурах философа, молодого демократа, золотобородого аскета и других персонажей иронически обрисована реальная деятельность декадентских и символистских кругов тех лет. В комических фамилиях легко угадываются их современные прототипы: Мережкович, Дрожжиковский (Мережковский), Шиповников (Розанов). Симфония явно автобиографична; иносказательно она описывает среду и атмосферу начала века, в который жил молодой Белый. Впоследствии эта жизнь стала материалом и поэмы «Первое свидание», и мемуаров Белого.

Дух Владимира Соловьева, парящий над Москвой, возвышенная влюбленность в «сказку», которая окружена мистическим поклонением героя, провидящего в ней «Жену, облеченную в солнце», атмо-

---

[1] А. Белый, Арабески, с. 321.

[2] В 1903 г. Белый пишет Блоку: «Только те имеют право на *однострунность,* которые знают, что такое многострунность... быть многострунными — наша прямая обязанность» (Александр Блок и Андрей Белый, Переписка, М., Гос. лит. музей, 1940, с. 33).

[3] Характерно определение симфонии в письме Белого к Блоку от 6 января 1903 г.: «*Она* (музыка. — *Т. Х.*) *искусство движения.* Недаром в «симфониях» всегда две борющихся темы; в музыкальной теме — она сама, отклонение от нее в многочисленных вариациях и возврат — *сквозь огонь диссонанса»* (Александр Блок и Андрей Белый, Переписка, с. 9).

сфера концертов, редакций и салонов 90-х годов, увлечение философией Канта, — все это лично пережито Белым.

В симфонии сатира явно преобладает над мистическими иллюзиями. Разоблачая глубокомысленные споры о символическом значении цветов, Белый не пощадил и себя: он как бы авансом пародирует собственную статью «Священные цвета» (1903).

«Одни говорил другому: «Белый свет — свет утешительный, представляющий собою гармоничное смешение всех цветов...»

«Пурпурный свет — ветхозаветный и священный, а красный — символ мученичества».

«Нельзя путать *красное с пурпурным*. Здесь срываются».

«Пурпурный цвет нуменален, а красный феноменален».

Оба сидели в теософской глубине. Один врал другому»[1].

Но помимо пародии на апокалиптические измышления мистиков, помимо сатиры на суетность, фальшь, мнимость притворной «духовной жизни» модернистской литературной среды, в симфонии остро прочерчен «страшный мир» большого города — грубая, жестокая нелепость и античеловечность жизни в нем. Это город, где старушку из богадельни проткнул шилом хулиган, где поливальщики, борясь с пылью, разводят на улицах мокрую грязь, где слышатся с утра до вечера монотонные гаммы, символизирующие вечность, где к бойне подвозят стада обреченных быков, где тускло скучают и тоскливо умирают обыватели. Короткие, возвращающиеся как лейтмотивы фразы символически сгущают эту атмосферу ужаса обыденности. Нелепость, бессмысленность жизни подчеркнуты и синтаксически: в одном отрывке даются ничем не связанные, кроме союзов «и» или «а», одновременно существующие явления: «В те дни и часы в присутственных местах составлялись бумаги и отношения, а петух водил кур по мощеному дворику», или «Талантливый художник на большом полотне изобразил «чудо», а в мясной лавке висело двадцать ободранных туш».

Ужас обыденности и обреченности существования, пародия на сомнительную напыщенную фальшь современной культуры, с одной стороны, а с другой — ожидание духовного «чуда», напряженная до предела внутренняя жизнь молодого романтического сознания, плененного идеями Вл. Соловьева, и символическая заря, встающая над этим страшным миром. Иллюзорность и реальность. Страшное и прекрасное. Но страшное — достовернее: неблагополучие, неустроенность, неправедность жизни, которую нужно пересоздать заново.

---

[1] А. Белый, Собр. соч., т. 4, с. 293—294.

3

Сборник ранних стихов Белого «Золото в лазури», опубликованный в 1904 году, — книга очень молодая и праздничная, особенно в первом своем разделе. В ней звучит «музыка зорь», о которой так часто и восторженно вспоминал Белый в своих мемуарах, воскрешая иллюзии и чаяния молодых символистов начала века. Тревожное и радостное предчувствие больших перемен и грядущего обновления мира владело Белым и объединившимися вокруг него молодыми философами, поэтами, художниками (С. Соловьев, В. Владимиров, А. Петровский, Л. Кобылинский). Никакой реальной программы у этого круга, именовавшего себя «аргонавтами», не было. Все они увлекались мистическими идеями Вл. Соловьева. Многие были под влиянием эстетики Шопенгауэра и теории Ницше о дионисийской стихии музыки. Туманные, неопределенные надежды, какие-то коллективные поиски идеальной свободы и духовного очищения жизни, иллюзорное жизнетворчество, оторванное от конкретной социальной и народной почвы, непрерывное ожидание мистических откровений отличало молодых «аргонавтов». Фраза из четвертой симфонии Белого «Кубок метелей» пародийно подчеркивает неопределенность этой духовной экзальтации: «Кто-то кого-то куда-то звал».

Белый звал современных «аргонавтов» за новым «золотым руном» в символическую «страну солнца»:

За солнцем, за солнцем, свободу любя,
умчимся в эфир
голубой! . .

Блок, с которым в 1903 году началась у Белого восторженная романтическая дружба, стихами откликнулся на этот призыв:

В светлый миг услышим звуки
Отходящих бурь.
Молча свяжем вместе руки,
Отлетим в лазурь.

Для Блока идея Вл. Соловьева о «вечной женственности» воплотилась в образ Прекрасной Дамы, и этот поэтически центральный образ определил всю его раннюю лирику.

Белый в своих юношеских стихах почти не пишет о любви. Для него соловьевские идеи разлиты в самой атмосфере предчувствия грядущей «зари». Заря душевная, предчувствие «откровения» образ-

но-символически выливаются в воспевание солнца и неба, золота и лазури. Солнце — излюбленный образ поэтов-символистов. Вспомним Вяч. Иванова с его «солнцем — сердцем» и Бальмонта (сборник «Будем как Солнце»). Во многом Белый «Золота в лазури» непосредственно идет от Бальмонта. Недаром Бальмонту посвящен первый цикл сборника, щедро пронизанный всеми красками заката, и стихотворение «Солнце».

Первый раздел «Золота в лазури» ослепляет световым пыланием. Обилие красочных эпитетов — самая характерная черта раннего Белого. Он увлекается оттенками и переходами цвета. Он не довольствуется общим обозначением «красный», а многообразно расчленяет его: «пурпурный», «багряный», «пламенный», «огнистый», «алый», «пунцовый» в сложнейших сочетаниях мелькают в каждом стихе. Он не скупится на метафоры и сравнения с драгоценными камнями в своих небесных пейзажах. Рубины, сапфиры, аметисты, бериллы, изумруды, жемчуга пригоршнями рассыпаны по строкам: «облака как рубины», «бирюзовая вечность», «сапфиры всё реже, а красные яхонты чаще», «ложились мягко аметисты», «струились крупные бериллы», «и темным пурпуром гранатов». Л. Д. Блок справедливо упрекала Белого в чрезмерности этих ювелирных излишеств, подчас доходящих до безвкусицы, и ставила ему в пример Блока: «Саша не сделает таких промахов» [1].

Белый злоупотребляет и роскошными тканями, претворяя их в метафоры своих сгущенных, неутомимых и многообразных описаний неба, закатов, зорь: «голубеющий бархат эфира», «золотистой парчи пламезарные ткани», «обвив нас холодным атласом лобзаний», «белоснежный кусок кисеи загорелся мечтой виннокрасной».

Белый неистощим в изобретении составных эпитетов: «винно-золотистый», «сребристо жгучий», «златосветный», «желто-бархатный», «лазурно-безмирный», «изумрудно-золотистый», «фиолетово-пурпурный». Он стремится передать переходы и оттенки красок в их движении. Закат — не статичный пейзаж, а непрерывное изменение и преображение цвета и света. Недаром он любит эпитеты, передающие интенсивный процесс, а не пассивное обозначение цвета: «огневеющий», «янтареющий» «голубеющий».

Своего рода шедевр этого пиршества закатных красок в непрерывном движении и изменении оттенков — стихотворение «В полях»:

Солнца контур старинный,
золотой, огневой,

---

[1] «Эпопея», 1922, № 3, с. 126.

апельсинный и винный
над червонной рекой.

От воздушного пьянства
онемела земля.
Золотые пространства,
золотые поля.

Почти во всех стихотворениях образы пира, вина, кубков, опьянения неразлучны с праздничным, восторженно-вдохновенным воспеванием закатного неба: «шумит в лучезарности пьяной», «восторг одиночества пирный», «опять золотое вино на склоне небес потухает», «о пьянящих багрянцах», «точно выплеснут кубок вина, напоившего вечным эфир».

Пафос приближения к вечности, «образ возлюбленной Вечности» — один из лейтмотивов «Золота в лазури».

Стихотворение «Образ Вечности» посвящено Бетховену. По всему своему поэтическому строю оно близко к торжественным хорам гимна радости из Девятой симфонии.

Во втором стихотворении цикла — «Золотое руно» — настоящий «гимн аргонавтов»:

И вот аргонавты нам в рог отлетаний
трубят...
Внимайте, внимайте...
Довольно страданий!
Броню надевайте
из солнечной ткани!

Торжественные, экзальтированные гимны солнцу и вечности подсказали Белому новую, не связанную традиционной четырехстрочной строфикой конструкцию стиха. Белый интонационно выделяет каждое важное ему слово, разбивает привычный стиховой строй, располагая слова в строке не по их метрическому объему, а по смысловой значимости. В основе строки — интонационно выдвинутое слово. Белый вводит в русский стих однословные строки:

Вино
мировое
пылает
пожаром
опять...

Интонационная строфика Белого и графически заостренное выделение однословных строк оказали влияние на Маяковского.

Первый раздел «Золота в лазури», одноименный со всем сборником, наиболее полно выразил символическую тему «зорь» в многокрасочном небесном пейзаже, меняющемся по мере движения стиха. Недаром Белый называл себя «пленеристом». И в то же время эти реально пережитые и увиденные пейзажи закатов откровенно символичны. Тема «зорь» для молодых символистов «второй волны» возникает как предзнаменование грядущих светлых перемен.

Позднее, в книге «Начало века», А. Белый противопоставлял декадентов и символистов. Декадент упивается собственным упадком. Символист стремится строить заново и открывать какие-то мировые перспективы. «„Символист" — авиатор, осуществляющий свой полет; „декадент" — авиатор, кончающий полет гибелью» [1]. Призывом к полету звучит первый раздел «Золота в лазури».

Каждый следующий раздел сборника раскрывает какую-то новую грань духовной и творческой жизни Белого.

Раздел «Образы» населен сказочными существами: чудовищный горбун, запустивший в небеса ананасом; весь фантастический штат первой симфонии — короли, королевны, великаны, гномы и, главное, фавны и кентавры, сошедшие с картин Клингера, Беклина и Штука.

Этот традиционный сказочный реквизит «обжит» Белым, своеобразно пропущен сквозь собственный быт, по-детски обыгран.

Белый пишет в мемуарах: «Я описываю кружок действительных чудаков, сгруппированных вокруг меня («аргонавты»); многое в стиле обращения друг к другу, в стиле даже восприятия друг друга может показаться не натуральным, ходульным... Многие из каламбурных метафор того времени теперь выглядели бы мистикой; например, мифологический жаргон наших шуток теперь непонятен; ну кто станет затеивать в полях «галоп кентавров», как мы; два химика и этнограф (я, С. Л. Иванов, В. В. Владимиров)? Но «кентавр», «фавн» для нас были в те годы не какими-нибудь «стихийными духами», а способами восприятия, как Коробочка, Яичница, образы полотен Штука, Клингера, Беклина; музыка Грига, Ребикова; стихи Брюсова, мои полны персонажей этого рода; поэтому мы, посетители выставок и концертов, в наших шутках эксплоатировали и Беклина, и Штука, и Грига; и говорили: „Этот приват-доцент — фавн"» [2]. Об этом же пристрастии Белого к бытовому обыгрыванию своих фантастических

---

[1] А. Белый, Начало века, с. 112.
[2] Там же, с. 11.

персонажей говорит и Брюсов в дневнике 1903 года: «Бугаев заходил ко мне несколько раз. Мы много говорили. Конечно, о Христе, христовом чувстве... Потом о кентаврах, силенах, о их бытии. Рассказывал, как ходил искать кентавров за Девичий монастырь, по ту сторону Москва-реки. Как единорог ходил по его комнате... Потом А. Белый разослал знакомым карточки (визитные), будто бы от единорогов, силенов etc... Сам Белый смутился и стал уверять, что это «шутка». Но прежде для него это не было шуткой, а желанием создать «атмосферу», — делать все так, как если бы эти единороги существовали» [1].

Две такие карточки сохранились среди писем Белого к Блоку:

«Виндалий Левулович
Белорог
Единорог

Беллиндриковы поля, 24-й излом, № 31».

«Огыга Пеллевич
Кохтик-Ррогиков
Единоглаз
Вечные боязни. Серничихинский тупик, д. Омова» [2].

Кентавр и фавн в разделе «Образы» не похожи на свои фантастические, припудренные красивостью и многозначительностью прообразы из картин Беклина, хотя, казалось бы, вдохновлены ими. Они осязаемы и гротескно-нелепы. Эти сказочные существа чудаковаты, забавны, шутейно-трогательны:

Кентавр бородатый,
мохнатый
и голый
. . . .
жену и детей сторожит.

---

[1] В. Брюсов, <Дневники>, М., изд. Сабашниковых, 1927, с. 134.
[2] Александр Блок и Андрей Белый, Переписка, с. 63.

А молодые кентавры. —

Вскочивши один на другого,
копытами стиснувши спину,
кусают друг друга, заржав...
...а третьи валяются, ноги задрав.

...Тревожно зафыркал старик...
...умчался, хвостом поседевшим вильнув.

(«Игры кентавров»)

Этот «поседевший хвост» превращает фантастического кентавра в смешное, почти домашнее, почти реальное животное. Фамильярные словечки: «зафыркал», «валяются, ноги задрав» и т. д. — подчеркивают повседневность необычайного.

Так же представлен и фавн — «смешной и бородатый» («Утро»).

В «Пире» появляется «от бремени лет полысевший гигант». Физические слабости и уродства, почти человеческие чудачества делают строки Белого безошибочно узнаваемыми среди множества модернистских стилизаций сказочных образов.

Белый всюду предается апологии чудачества. Любимые, самые дорогие ему образы возникают в гротескном комическом ракурсе. Недаром он не без горечи и в то же время гордости цитировал высказывание И. Эренбурга (в книге «Портреты русских поэтов»): «Порою Белый кажется великолепным клоуном». В 1903 году Белый пишет Блоку: «...роль *юродивого,* анархиста, декадента, шута мне послана свыше. С покорностью принимаю ее» [1]. Здесь чудачество, шутовство истолковано уже как миссия, как жертва, как искупление.

Среди светло-восторженных стихов о праздничных зорях появляется в «Золоте в лазури» целый ряд стихотворений, в которых поэт предстает как осмеянный пророк, непонятый и отверженный:

Проповедуя скорый конец,
я предстал, словно новый Христос,
возложивши терновый венец,
разукрашенный пламенем роз.

В цикле «Вечный зов» Белый впервые подходит к трагическому образу поэта-пророка. Он возносит его на огромную высоту и он же

---

[1] Александр Блок и Андрей Белый, Переписка, с. 37.

низвергает его, разоблачая в нем свои собственные иллюзии. Не пророк — лжепророк, не новый Христос — безумец, борющийся с химерами своего больного сознания:

Хохотали они надо мной,
над безумно-смешным лжехристом.

В разделе «Багряница в терниях» образ безумца, сражающегося с собственными галлюцинациями, становится центральным. В стихотворении «Безумец» столкновение обманутого и запутавшегося в своих апокалиптических видениях пророка с обывательской косностью, тупостью, равнодушием дано в плане высокой трагической иронии. Но ирония относится одновременно и к обывателям, и к возвышенному безумцу:

Ах, когда я сижу за столом
и, молясь, замираю
в неземном,
предлагают мне чаю...

Это перекликается с издевательством А. Белого над мистиками в статье «Искусство и мистерия», когда на вопрос хозяйки: «Чаю?» — один из мистиков отвечает: «Чаю воскресения мертвых».

Начиная со «Второй Драматической симфонии», Белый в самых значительных своих вещах совмещает иронию и пафос, разделяя иллюзии своих лирических героев и в то же время гротескно разоблачая эти иллюзии.

Есть глубокое принципиальное различие между Белым и молодым Блоком, казалось бы черпающими из одного источника — лирики Вл. Соловьева, его философских мистических чаяний о преобразовании мира в культе высокой любви и вечной женственности. Блок в своей ранней лирике сделал образ Прекрасной Дамы всепоглощающим и растворяющим в себе весь мир, а когда он изжил эти свои иллюзии и философски и поэтически, — он развенчал их в «Балаганчике». Казалось бы, «Балаганчик» должен быть близок Белому: он продолжает и доводит до конца развенчание мистических иллюзий, начатое Белым еще во второй симфонии. Белый сам в мемуарах сопоставляет свою симфонию и стихи Блока о Прекрасной Даме: «То, что у Блока подано в мистической восторженности, мною подано в теме иронии; но любопытно: и Блок и я, совпав в темах во времени, совсем по-разному оформили темы; у Блока она — всерьез, у меня она — шарж» [1]. Почему же Белый впоследствии не мог про-

---

[1] А. Белый, Начало века, с. 124.

стить Блоку «Балаганчика» — его арлекина, истекающего вместо крови клюквенным соком, — и второй книги стихов с болотами, дурачками и чертенятами, хотя сам он никогда с иронией и разоблачением не расставался? Да именно потому, что для Блока ирония над прежде всепоглощающе-возвышенным и непререкаемым знаменует решительный поворот — переход совсем в другой, земной и горький круг. Белый же, который диалектически сам видел предмет своих заблуждений, никогда ни от чего не отходил. Для него и разоблаченные иллюзии продолжают жить. Его образ двоится. С одной стороны, идея «второго пришествия» и спасения мира — навязчивая идея; с другой — безумный и осмеянный пророк близок к истине, которая скрыта, искажена и придавлена тупой обыденностью здравого смысла. Для Белого одновременно предстает и уродливо-гротескный облик явления, и его «святая» суть. Мистики второй симфонии только доводят до абсурда идеи Вл. Соловьева, но сами идеи для Белого, в их высшем смысле, продолжают быть значительными и высокими.

Белый, в отличие от Блока, при резком и остром осмеянии и гротескно-бытовом снижении лирического героя, в то же время сохраняет свои иллюзии, не расстается с ними. Получается трагический разрыв образа — и подвергнутого осмеянию, и вознесенного.

В «Багрянице в терниях» сочетается самая необузданная мистика с острым разоблачением действительности. В этом разделе сосуществуют стихи о галлюцинирующих безумцах — с развенчанием идей Вл. Соловьева — и возвышенные эпитафии тому же Соловьеву, написанные в его ключе, как развитие главных мотивов соловьевской лирики. В надгробных стихах, посвященных самым дорогим друзьям и наставникам его юности (Вл. Соловьеву, М. С. и О. М. Соловьевым, отцу), Белый одновременно хоронит и увековечивает мир своих мистических увлечений, мир тех зорь будущего, которые скоро потускнеют и в реальном мире истории (1905 год), и в поэтическом восприятии этого мира.

Есть в первом сборнике Белого и своеобразный раздел «Прежде и теперь», в отличие от всех других поражающий своей вещностью, конкретностью, реальностью деталей, а в цикле «Теперь» — подчеркнутой современностью характерных бытовых примет. Этот раздел — сознательно, демонстративно иронический, подчас откровенно пародийный — прокладывает новые пути поэзии Белого. Здесь Белый в буквальном смысле слова сводит свою поэзию с неба, пусть закатно-яркого, но все же высокопарно-иносказательного, на землю — вполне современную, с точными подробностями быта, то городского, то помещичьего.

К «Прежде» относится ряд изящных, насмешливых, очень картинных стилизаций в духе живописи Сомова, забавно и грациозно, с легким налетом непристойности, изображающих галантные эпизоды французского придворного быта XVIII века. Именно в год выхода «Золота в лазури» (1904) Белый в журнале «Весы» (№ 11) говорил о «комическом ужасе сомовских картин». Недаром многие шутливо стилизованные стихи Белый непосредственно посвятил Сомову. Это либо плутовато-жеманные, чуть тронутые иронией сценки — «Объяснение в любви», «Менуэт», «Прощание», «Променад», либо томно-элегическое воспроизведение старины во вкусе Борисова-Мусатова: «Заброшенный дом», «Сельская картина», «Воспоминание». О близости этих стихов Белого к живописи «Мира искусства» — Сомова, Бакста, Борисова-Мусатова — говорят все отклики и рецензии современников (Эллис, Поярков, Аскольдов). Жанр стилизации старины процветал в те годы и в живописи, и в музыке, и в литературе. В журналах «Мир искусства», «Весы» находим мы стилизации М. Кузмина в стихах и музыке, а в прозе вещи Б. Садовского, С. Ауслендера и многих других.

Стилизации Белого мы узнаем по отличающей его от всех ошеломляющей нелепости и иронической остроте образов. Старину он воспроизводит не только описанием реалий, но по преимуществу — языковой окраской, умелым включением в стих архаизмов: «гишпанец», «кои», «в день оный», «хладный зефир», «щастье»; старомодными оборотами вроде «любезная сердцу картина», «ах, где вы, любезные предки» и т. д. Кроме того, Белый обильно и подчеркнуто вводит в русский язык акклиматизировавшиеся в нем иностранные слова: «сантименты», «персоны» — и ряд реалий обихода и одежды: фижмы, букли, эгретка, левретка, клавесин, тáбакерка, канделябр, роба и т. д.

Безделушечность этих насмешливо-жеманных старинных картинок Белый усиливает демонстративным злоупотреблением уменьшительными:

«Ах, котик! ..»
И к котику клонит
свой носик и ротик...

Значительнее и разнообразнее жанровые сценки, относящиеся к «Теперь». Это либо карикатурные портреты: «Отставной военный», «Незнакомый друг»; либо короткие зарисовки жизни городских дворов, улиц и окраин: «Весна», «Из окна», частично — «Свидание». Бытовой ракурс, натуралистические подробности, смещенные насмешливой резвостью гротеска, характерны для всех этих стихотворений. В них — влияние Некрасова и вторжение прозы.

Гротескность создается подбором натуралистических штрихов и грубой фамильярностью речи: «напяливший в полдень поддевку», «претолстый помещик», «надутый лакей его Яшка» и т. д.; и неожиданной комической рифмой: Яшкой — деревяшкой, Турции — настурции, блондинку — сардинку; и употреблением языка витиевато-бюрократического, примененного к бытовой обстановке: «вело генерала для винного действа к закуске», «на хлеб полагая сардинку».

От столкновения с бытом мнимость, бумажность, бессмысленность этого бюрократического стиля вырастает в зловещий гротеск, который в романе Белого «Петербург» (1912) стал художественной системой и обрел черты грандиозной сатиры.

В городских зарисовках «Весна», «Из окна» — пристальность бытовой наблюдательности:

Подоткнувшись, ворчливая Фекла,
нависая над улицей с риском,
протирает оконные стекла.

Тщательно подмечены все подробности этой процедуры:

Тут известку счищают ножом...
Тут стаканчики с ядом... тут вата...

Особую достоверность этой моментальной стиховой зарисовке придают будничные подробности жизни весеннего двора:

И выходят на двор полотеры
босиком выколачивать мебель.

Цезарь Вольпе в предисловии к мемуарам Белого «Между двух революций» остроумно сближает бытовую иронию этих стихов в разделе «Прежде и теперь» с сатирическими балладами Саши Черного, вплоть до текстуальных совпадений. Но Саша Черный создает новый жанр стихового сатирического фельетона, поднимая целые пласты мещанского городского быта с острозлободневным газетным его истолкованием. У Белого же, с присущей ему противоречивостью и сложностью охвата явлений, эти на лету уловленные детали обывательского быта городской окраины сосуществуют с характерным для его высоких стихов тревожным и многозначительным ощущением мира:

В синих далях блуждает мой взор.
Все земные стремленья так жалки...

За этими подчеркнуто возвышенными строками следует трагикомическое низвержение в низменный быт:

Мужичонка в опорках на двор
С громом ввозит тяжелые балки...

Эти брошенные крупным планом детали обывательского быта для Белого не самоцельны. Они как бы врезаются в большой поэтический мир, взрывая его изнутри. Повседневный ужас жизни сгущен до гротескного бреда. Одно из стихотворений цикла так и называется: «Кошмар среди бела дня», а речь идет в нем просто о ежедневной прогулке пансионерок института благородных девиц по городским улицам.

Дисгармония существования, повернутого уродливой своей стороной, этически и эстетически несовместимой с представлением о вечной, прекрасной и высокой сути жизни, напряженное столкновение мелочно-бытового и космического, впервые раскрытое Белым еще во «Второй Драматической симфонии», стало лейтмотивом всего его творчества.

4

После 1905 года Белый вступил в совершенно новую, трагическую полосу. «Зори» потускнели, оказались иллюзорными. Миф Вл. Соловьева о «Жене, облеченной в солнце», не реализовался.

События 1905 года, 9 января, крушение революционных надежд, боль за бесправную нищую жизнь страны и народа — уже не иносказательно, а прямо — становятся главным содержанием второго сборника А. Белого «Пепел». Белый с подлинно гражданской страстью пишет стихи о России своего времени. В предисловии к «Пеплу» он говорит о том, что действительность властно диктует поэту слова, образы, песни, что нет образов поэтических, изолированных в какой-то условной сфере традиционных красот, и нет прозы, которая не может попасть в стих: «Да, и жемчужные зори, и кабаки, и буржуазная келья, и надзвездная высота, и страдания пролетария — все это объекты художественного творчества. Жемчужная заря не выше кабака, потому что то и другое в художественном изображении — символы некоей реальности... И потому-то *действительность* всегда выше искусства; и потому-то художник — прежде всего *человек*»[1].

---

[1] А. Белый, Пепел. Стихи, СПб., 1909, с. 7.

Далее Белый говорит о создании циклов, связанных друг с другом и в последовательности своей образующих как бы единый сюжет. «Целое — беспредметное пространство, и в нем оскудевающий центр России. Капитализм еще не создал у нас таких центров в городах, как на Западе, но уже разлагает сельскую общину; и потому-то картина растущих оврагов с бурьянами, деревеньками — живой символ разрушения и смерти патриархального быта. Эта смерть и это разрушение широкой волной подмывают села, усадьбы; а в городах вырастает бред капиталистической культуры» [1].

В «Начале века» Белый определяет свой переход от «Золота в лазури» к «Пеплу» как переход от мистических иллюзий к реальности. «Мой переход к теме «Пепла»: себя ограничить «реальным» предметом, избой, — не рефлексами солнца на крышах соломенных; и овладеть материальной строкой, чтобы ритмы не рвали ее; образцы мои — Тютчев, Некрасов и Брюсов» [2].

Сборник посвящен памяти Некрасова. Стихи Некрасова, проникнутые горячей и горькой любовью к народу и обращенные к России, становятся эпиграфом «Пепла»:

Мать-отчизна! Дойду до могилы,
Не дождавшись свободы твоей!

Этот эпиграф — камертон всей книги. Небесные космические картины рассветов и зорь сменились пейзажем русской деревни с «кривобоким роем изб», теменью, бурьяном, лысыми буграми. Все голо, серо, бесцветно. В небе «косматый свинец облаков»; не червонные, багряные и пурпурные празднества неба, а «жестокие, желтые очи безумных твоих кабаков»; не солнечная блаженная страна, куда отлетают аргонавты за золотым руном, но нищая Россия, придавленная голодом, недородом, болезнями.

В стихах Белого появляется некрасовская гражданская прямота раскаленного гнева и боли:

Позволь же, о родина мать,
В сырое, в пустое раздолье,
В раздолье твое прорыдать.

Почти все стихи раздела «Россия» — неистовые плачи о родине. Несдержанное рыдание, заклинательная мольба слышатся в каждом стихотворении.

---

[1] А. Белый, Пепел, с. 8—9.
[2] А. Белый, Начало века, с. 328—329.

Меняются и эпитеты. Если в «Золоте в лазури» все было пурпурным, бирюзовым, атласным, пламезарным, безмирным, то любимыми определениями в «Пепле» стали «косматый» и «злой»: «плещут облаком косматым», «косматый свинец облаков», «взлетают косматые тучи».

В стихотворении «Русь» — упорное повторение лейтмотивного слова:

Косматый, далекий дымок.
Косматые в далях деревни.
Туманов косматый поток.

Ощущение злой, холодной природы и неприкаянной жизни передано настойчивым применением эпитета «злой» ко всему, с чем сталкивается в мире человек: «злое поле», «октябрьский дождик злой», «мигают злые стрелки», «к их окнам ночью злой», «мать Россия, о родина злая».

Почти столь же часты эпитеты «убогий», «скудный», «бедный»: «поля моей скудной земли», «там убогие стаи избенок, там убогие стаи людей», «рассейся, мой бедный народ», «голодающий, бедный народ».

Осенний, тусклый, сырой пейзаж, устойчивая безнадежность заполняют стихи, посвященные России, русской деревне. Скорбная, заунывная интонация переходит из одного стихотворения в другое, создавая единство колорита. Поистине весь сборник цвета пепла.

Для Белого характерно единство проходящих сквозь все вещи лейтмотивов.

Любопытно с этой точки зрения ознакомиться с письмами Белого. В зависимости от того, относятся ли они к «золотолазурному» его периоду или к «пепельному», круто меняется вся их тональность. Экзальтированные письма Блоку в 1903—1905 годах близки к лирике «Золота в лазури». Это совершенно откровенные стихотворения в прозе. В них Белый неутомимо нагнетает приподнято стиховые образы, полные радостной и тревожной экзальтации: «Вижу свет непомерный: плывет облако, белое облако — когда ни ночь, ни день, а все так ужасающе прекрасно: лиловые, розовые пятна вечера сетью зыбкой покрыли облако. Вижу образ Вечности, застывший на облаке. И Ты образом, заплетенным зорей, милый брат, — Ты, склоненный у ног Вечности. И плывет облако... Я сторож дозорный, стою на горизонте, трубу золотую приложив к устам, извещаю мир: „*Летит облако верное и истинное во веки веков*“» и т. д.[1] Таких писем мно-

[1] Александр Блок и Андрей Белый, Переписка, с. 162.

жество, и для Белого той эпохи они естественны. Окруженный облаком собственных слов, он творит свой иллюзорный, иносказательный мир и в стихах, и в письмах, и в статьях.

И совсем другая тональность в письме к М. К. Морозовой 1907 года (время работы над «Пеплом»): «Из деревни уезжаю частью по делам, частью потому, что одолели: свинцовое небо, безмерные пространства, странники, пересекающие даль полей, и надо всем этим что-то доисторически древнее, темное: страшна русская деревня средней полосы. Кругом — ничего: деревни — косматые звери, изрыгающие дым; в поле подсвистывает, подплясывает, подслушивает — сухой бурьян, лихой (в сердце вонзит он колючий шип). Иногда бурьян приходит к окнам и шипит там колючками. И косматый свинцовый небосвод, истерзанный молньями. Есть от чего уйти в России. Боюсь за Россию» [1]. Даже словесный состав пейзажа в письме и стихах совпадает: бурьян, косматый свинцовый небосвод; избы, изрыгающие дым; странники, пересекающие унылые пространства полей.

И в статье «О пьянстве словесном» (1908) Белый рисует картину русской деревни совершенно в духе писем и стихов эпохи «Пепла»: «...Картина русской природы отражает печальные стороны русской натуры, широкой и глубокой: широки сиротливые пространства; вдали горит огонек, над ним повис дым, точно тягостная чья-то осенняя мысль. А овраг, разъедающий пространство, с дико пляшущей метлой чертополоха над гребнем, — глубокий овраг. И сидит, сидит на гребне том странник... Вот кто мы: горестные странники с котомками за плечами. Долго ночью бредем мы по выжженным жнивьям... и ничто не блеснет. Блестит кабак. Над Волгой, блеснет он — кабак. И потянется туда странник; пропьет свои лапотки. А красноносый кабатчик, тайком промышляющий «казенкой», горькое-то горе-гореваньице, надмевается оно, надмевается...» [2]

Центральный образ «Пепла» — Россия и судьба народа.

Здесь А. Белый впервые пришел к эпическому обобщению России и страшного мира нищей русской деревни. В то же время он в ряде, казалось бы, объективных образов раскрыл свое собственное лирическое «я». Так, проходящие через все стихи о России и раздел «Горемыки» странники, беглецы, бродяги, каторжники, арестанты, изгнанники — скитальцы по сырому раздолью бесконечных, неоглядных дорог и равнин — для Белого столь же реальны, сколь

---

[1] Рукописный отдел Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, ф. 171, оп. 24, ед. хр. 1 [3].

[2] А. Белый, Арабески, с. 358—359.

иносказательны. Они — символ его собственной отверженности, неутоленной жажды свободы, разочарования в словесной суете литературной среды, его стремления вырваться из мышьей беготни городской салонно-редакционной жизни. Во всяком случае, в поздних своих мемуарах 30-х годов Белый упорно старается именно в этом плане истолковать образный лейтмотив «Пепла». «Темы «Пепла» — мое бегство из города в виде всклокоченного бродяги, грозящего кулаком городам, или воспевание каторжника; этот каторжник — я...

Я покидаю вас, изгнанник, —
Моей свободы вы не свяжете.
Бегу — согбенный, бледный странник —
Меж золотистых хлебных пажитей.

Бегу — от всех: Блоков, Мережковских, Брюсовых, «аргонавтов», кантианцев, религиозных философиков, салона Морозовой...» [1]

Конечно, трагическое «я» поэта не исчерпывается образом каторжника, беглеца, изгнанника, в бесконечных вариациях проходящего по стихам «Пепла». Это поэтическое «я» сложнее и многограннее. В предисловии ко 2-му изданию «Пепла» (1929), опасаясь слишком прямолинейного отождествления себя с лейтмотивным образом книги, Белый предупреждал: «Прошу читателей не смешивать с ним (бродягой. — *Т. Х.*) меня: лирическое «я» есть «мы» зарисовываемых сознаний, а вовсе не «я» Б. Н. Бугаева (Андрея Белого), в 1908 году *не бегавшего по полям,* но изучавшего проблемы логики и стиховедения» [2].

Огромный скорбный мир «глухой России», открывшийся Белому в «Пепле», требовал объективизации. Эпическое воплощение этого страшного мира нуждалось в сюжетном развитии типических судеб. Каждый цикл превращался в своеобразную поэму или, вернее, сюиту, воплощающую замысел в движении. Это особенно явно сказалось в разделе «Деревня». Здесь некрасовская традиция проявилась всего отчетливее.

Жестокая история убийства соперника, бегства в город, отчаянного пьянства и разгула, а затем смерти на виселице — передана с балалаечной лихостью песенных и плясовых ритмов:

Как над этой над лужайкой
Кровь пролью твою...

---

[1] А. Белый, Начало века, с. 466—467.
[2] А. Белый, Пепел. Стихи, М., 1929, с. 7.

Забавляюсь балалайкой,
Песенки пою.

В озорной пляшущий стих врываются резкие натуралистические подробности: «Подавай селедку с луком, Расшнуруй свой стан...»

«Деревня» — это своеобразная «власть тьмы» в песенных циклах. Стих органически проникается лексикой, образами, реальными приметами народного быта, а главное — песенными и плясовыми ритмами.

В «Веселье на Руси» лихая хмельная горечь загубленных судеб проявляется в этом кружении разудалого пьяного пляса с перебоями, словесными коленцами, прихотливыми и неожиданными чередованиями ударений, замедленными и ускоренными темпами коротких и длинных строк:

Д'накачался —
Я.
Д'напляcался —
Я...

Дьякон пляшет —
— Дьякон, дьякон —
Рясой машет —
— Дьякон, дьякон —
Что такое, дьякон, смерть?
— «Что такое? То и это:
Носом — в лужу, пяткой — в твердь...»

В этом лихом трепаке, топоте и приговаривании кружащихся плясовых слов последняя строфа — уже не от героя, а от автора — вырывается в большое трагическое обобщение:

...Над страной моей родною
Встала Смерть.

Те же мотивы обреченного, горького крушения жизни прозвучали в вызывающе пьяном разгуле и плясе «Комаринской», в озорной, издевательской, ритмически сгущенной «Хулиганской песенке».

В таком поэтическом раскрытии России и трудной судьбы народа Белый не одинок. В те же годы (1905—1908) написаны были и стихи Блока о России. Поэтические пути Белого и Блока скрещивались не раз. Первая встреча относится к началу их дружбы —

в 1903—1904 годах, когда каждый по-своему осуществлял и продолжал в поэзии заветы и идеи Вл. Соловьева: культ Прекрасной Дамы у Блока, мессианские предчувствия спасения и возрождения мира в «Золоте в лазури» Белого. Вторая встреча — стихи о России, и третья — поэмы, посвященные революции: «Двенадцать» Блока и «Христос воскрес» Белого. И Блок, и Белый органически связаны со своей страной, в трудные для России минуты они не могли обойти ее в своем творчестве. Образ России становится для обоих центральным. Не удивительно, что при всем различии поэтических индивидуальностей именно в эти годы они наиболее близки творчески.

И у Белого, и у Блока Россия олицетворена. Это кровно близкое живое существо — мать у Белого, жена у Блока: «Мать Россия, о родина злая» (Белый); «О Русь моя! Жена моя!» (Блок).

Стихотворение Блока «Не мани меня ты, воля, не зови в поля!..» (1905) написано в том же песенно-народном ритме, что и весь цикл Белого «Деревня». То же горе, смешанное с хмельным отчаянным весельем, что и в стихах о деревне Белого, звучит в стихотворении Блока «Осенняя воля»:

Буду слушать голос Руси пьяной,
Отдыхать под кровлей кабака.

Бесконечно скорбен образ «нищей России» в стихах и Белого, и Блока.

Так — я узнал в моей дремоте
Страны родимой нищету,
И в лоскутах ее лохмотий
Души скрываю наготу.

(А. Блок, «Русь»)

Но если центральные темы и образы у Блока и Белого совпадают, поэтическое освещение предмета у них несхоже.

У Блока — будь ли это образ Прекрасной Дамы, Снежной девы, итальянского города или России — это всегда образ поэтически-прекрасный, даже в жестоких и противоречивых своих чертах. Он преображен и растворен магическим светом влюбленности. Белый исступленно выкрикивает в отчаянии и гневе: «Исчезни в пространство, исчезни, Россия, Россия моя!», «Мать Россия, о родина злая, кто же так подшутил над тобой?» А Блок к той же нищей России обращается с проникновенной нежностью:

О, нищая моя страна,
Что́ ты для сердца значишь?
О, бедная моя жена,
О чем ты горько плачешь?

«Нищая Россия» для него — «и во сне необычайна».

Лирическая растворенность Блока полярна истерически рыдающему, клянущему и экзальтированному надрыву Белого, но исходная точка в отношении к России у них одна: чувство неразрывной кровной связи со страной, любимой, страдающей.

Личные отношения Белого и Блока с 1906 по 1909 год складывались трудно, подчас почти враждебно. Между ними стояло многое: и сугубо интимное (сложные, запутанные отношения Белого с Л. Д. Блок), и принципиальные разногласия. Белый не мог простить Блоку «Балаганчика», измены идеям Вл. Соловьева о «вечной женственности», призванной спасти мир. Он незаслуженно резко обрушился на книгу Блока «Нечаянная радость», называя ее «отчаянным горем». Полемизируя с петербургскими символистами Вяч. Ивановым и, главное, Г. Чулковым, воюя с «мистическим анархизмом», Белый огульно присоединял к ним Блока и не стеснялся в словесных формулировках своего неприятия [1].

Примирение произошло в 1910 году и внешне уже не нарушалось, но той полноты и общности творческих устремлений, которая объединяла Блока и Белого в начале их дружбы (1903—1904), больше не было. Только стихи Блока о России, его цикл «На поле Куликовом» вызвали по-настоящему искренний, горячий отклик Белого. 3 апреля 1911 года Белый пишет Блоку о том, что́ с его точки зрения объединяет их, несмотря на все разногласия и недоразумения: «Пусть мы разные, но то *«психология»,* но Русь, будущее, ответственность — не «психология» вовсе, и как же не радоваться: *мы — русские,* а Русь — на гребне волны мировых событий. Русь чутко слушает и *ее* чутко слушают. *Я, Ты,* мы не покинуты в сокровенном... поскольку мы — *русские»* [2].

В «Пепле» Белому впервые открылась Россия как источник творчества. С новым пафосом обратился он к этой теме в военную и революционную пору («Рыдай, буревая стихия...» и др.), в сборнике «Звезда» (1922).

---

[1] Подробно об этой тягостной полосе отношений Белого и Блока, дважды чуть не кончившейся дуэлью, см. статьи В. Орлова «История одной дружбы-вражды» и «История одной любви» в его сборнике «Пути и судьбы» (Л., 1963).

[2] Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 253.

Темой России «Пепел» не исчерпывается. Другая тема сборника, характерная не только для Белого, но и для всей поэзии символистов, — тема города.

На Западе тему города усиленно вводят в лирику французские символисты — Бодлер и особенно Верхарн. В России она проходит через творчество Брюсова, Блока, Белого. При всем различии трактовок, образ города у всех окрашен социально. Город — средоточие современной драмы. Это затерянность и одиночество человека в толпе, это «я», раздавленное механической, бездушной и грандиозной силой. Город в лирике почти всегда трагичен и враждебен человеку.

У Брюсова наряду с трагизмом — патетическое воспевание движения, работы, новой техники, блеска вечерних реклам, фонарей, «электрических лун», реальных побед цивилизации. И вместе с тем город Брюсова — это центр угнетения и разврата, преступлений и проституции. Брюсов в своей трактовке города ближе всего к Верхарну, и пафос грандиозности, огромности этого многомиллионного организма преобладает над всеми частными картинами городской жизни [1].

У Блока — не вообще город, а именно Петербург с его набережными, островами, памятником Петру. Это город, лирически растворенный в снежных метелях, город тревожного ожидания чуда, преображающей любви, город «Незнакомки». Город, в котором романтическое и исключительное сопряжено с обывательской, удручающей банальностью обстановки. В поздних стихах «Страшного мира» город Блока — сгущенная безнадежность и заколдованный круг обреченной жизни («Ночь, улица, фонарь, аптека...»).

И совершенно своеобразен город в творчестве Белого. Он драматичен. Но это исторически закрепленная драма, драма января 1905 года, драма подавленных революций и народных волнений. Белый откровеннее и точнее других поэтов-символистов раскрывает в своей лирике историческую конкретность событий. Город Белого освещен заревом революционных вспышек и красных знамен. Это город, в котором происходят расстрелы, разгоняют манифестации, идут классовые бои. В целом ряде стихов «Пепла» Белый с обнаженной прямотой говорит об этих революционных событиях:

Вдоль оград, тротуаров, — вдоль скверов,
Над железной решеткой, —

---

[1] Подробно о городе Брюсова — ряд интересных наблюдений — в предисловии Д. Е. Максимова к «Стихотворениям» В. Брюсова («Б-ка поэта» (Б. с.), Л., 1961, с. 36—38).

Частый, короткий
Треск
Револьверов...

(«Похороны»)

Эти сжатые строки, энергично фиксирующие события, уже предвещают драматическую напряженность и отрывистость многих эпизодов «Двенадцати» Блока. Строки строятся как театральная ремарка, как реплика, а не как описание событий уже протекших.

А рядом с этими драмами разогнанных демонстраций и подавленных восстаний — символический образ города — зловещего маскарада. Непрерывные празднества и костюмированные балы — иносказательные картины «пира во время чумы», пира «над распахнувшейся бездной». Угрожающим призраком революции пробегает по этим «маскарадным» стихам Белого красное домино:

Только там по гулким залам —
Там, где пусто и темно, —
С окровавленным кинжалом
Пробежало домино.

Красное домино — и в «Празднике», и в «В Летнем саду» (во 2-м издании оно прямо называется «Возмездие»), и в «На площади». То же красное домино становится одним из центральных образов романа Белого «Петербург». Николай Аполлонович Аблеухов, вообразивший себя революционером, вынужден совершить террористический акт над собственным отцом. Сцена бала в «Петербурге» с появлением красного домино до мелочей совпадает с деталями стихотворения «Маскарад». Маскарад и кровавое домино — обобщающее символическое завершение темы города у Белого.

Город Белого — зловещий бред неестественной, ненастоящей жизни: мертвый город (во 2-м издании «Пепла» 1929 года так и называется весь этот раздел). Это маскарад переодетых мертвецов:

Звякнет в пол железной злостью
Там косы сухая жердь: —
Входит гостья, щелкнет костью,
Взвеет саван: гостья — смерть.

Как всегда у Белого, гротеск граничит с пародией. «Маскарадные» стихи «Пепла» трагичны, но поэтическая техника их близка

к насмешливой стилизации раздела «Прежде и теперь» («Золото в лазури»). Это неожиданно, но глубоко оправдано: Белый создает ощущение мнимости, придуманности и бессмысленности этого веселья, таящего в себе смерть, иронически подчеркнутым употреблением иностранных слов:

Огневой крюшон с поклоном
Капуцину черт несет.
Над крюшоном капюшоном
Капуцин шуршит и пьет.

В том же стихотворении — «грациозный па д'эспань», «котильон», «муар», «трэн», «торс», «тюль», «вестибюль» и т. д. Этот жеманный набор слов развертывается в ускоренно-пляшущем ритме.

В стихотворении «Пир» два плана: почти пропагандистский (о революционных восстаниях) и иронически-пародийный (набор претенциозно-банальных слов и атрибутов ресторанного быта). В пьяный угар «Аквариума», «сумасшедшей рулетки», «огненной качучи», «безумного кэк-уока» врывается грозное предостережение:

Луч солнечный ужо взойдет;
Со знаменем пройдет рабочий...

Заутра брызнет пулемет
Там в сотни возмущенных грудей;
Чугунный грохот изольет,
Рыдая, злая пасть орудий.

Белый не боится кричащих, плакатных контрастов. Его город демонстративно катастрофичен. Но он передает катастрофу через гиньоль, арлекинаду. Не случайно раздел «Город» открывается пародийно-гротескным стихотворением «Старинный дом». Здесь каламбурно обыграно реальное название переулка в Москве — Мертвый переулок. В Мертвом переулке живет престарелая красотка семидесяти лет с глухим лакеем Акакием. Начинается привычная для Белого издевательская пляска насмешливо срифмованных иностранных слов: кенкэты и портреты... Тут и «кадриль», и «дезабилье», и «стеарин», и «гардемарин», и «атласный пеньюар», и «папильотки», и «сонатины», и «менуэт», и чувствительные вздохи по-французски: «Je t'aime, Pauline...». Томная жеманность переводно-французского стиля сменяется подчеркнутым натурализмом и намеренной корявостью в описании одряхлевшего быта:

Как на дворе собаки
Там дружною гурьбой
Пролаяли, — Акакий —
Лакей ее седой,

В потертом, сером фраке,
С отвислою губой: —
В растрепанные баки
Бормочет сам с собой.

Но и этот стилизованный гротеск кончается символическим заревом приближающейся революции:

Над Мертвым переулком
Немая каланча
Людей оповещает,
Что где-то — там — пожар, —
Медлительно взвивает
В туманы красный шар.

«Россия» и «Город» — самые исторически окрашенные разделы «Пепла». Но есть в «Пепле» и многое другое — в частности, продолжение линии, намеченной еще в «Золоте в лазури». Это — близкий Белому образ поэта, осмеянного пророка, почувствовавшего себя новым мессией и в то же время сознающего иллюзорность своих притязаний: не пророчество, а безумие его удел.

Есть в «Пепле» — книге в основе своей земной, реальной и трагичной — ряд откровенно мистических стихотворений, где лирическое «я» поэта полностью сливается с иллюзорным сознанием пророка, провидящего спасение мира в одиноких молитвах на просторах полей. Это еще одна ипостась темы «бегства» в «Пепле». В цикле «Безумие» к таким стихам относятся: «Полевой пророк», «На буграх», «Полевое священнодействие», «Последний язычник». Эти экстатические, выспренние, многословные заклинания — самые неудачные стихи в «Пепле», и они не существенны для сборника. Главное в «Пепле» — раскрытие большого мира народа, России, времени.

5

В 1909 году выходит третий сборник стихов А. Белого «Урна». Многие стихи «Урны» совпадают по времени со стихами «Пепла». Но это иная грань творчества А. Белого.

Если «Пепел» продолжал традицию Некрасова, то «Урна» возрождает и развивает классическую философскую лирику Тютчева и Баратынского, но пропущенную через Брюсова. Сборник открывается циклом стихов о Брюсове, отражающих сложное — и почтительно-приемлющее, и горько-полемическое — отношение Белого к Брюсову.

С первых своих литературных шагов Белый стал соратником и во многом единомышленником Брюсова. Вместе с Брюсовым работал он в редакции журнала «Весы». С Брюсовым Белого сближает уважение к культуре и эрудиции, пафос работы над стихом, углубленное изучение поэтического мастерства, бережное и любовное воскрешение традиций русской классической лирики. Белый не раз подчеркивает, что Брюсов для него «воспитатель вкуса и учитель стиховедения». Именно в год выхода «Урны» (1909) Белый создает капитальные исследования по теории метра и ритма русского стиха, напечатанные в его сборнике «Символизм».

Как раз в эту пору обостряется интерес Белого к классической русской лирике, появляется ряд тончайших наблюдений над стихом Пушкина, Тютчева, Баратынского, Жуковского. И на строе стихов самого Белого в «Урне» непосредственно сказываются творческие традиции этих поэтов, обогащенные новыми опытами и исканиями.

Брюсов покорил Белого тем, что его новаторство не только не отрицало классическую традицию, а наоборот, рождалось на основе всего опыта русской поэзии. В одной из статей о Брюсове Белый пишет: «Брюсов не только явил красоту своей музы, но и вернул нам поэзию отечественную» [1]. И там же: «Только такие поэты спасают прошлое от обветшания... Как лучист и ароматен Пушкин, как завлекателен Баратынский, сквозь призму брюсовского творчества!» [2]

Образ Брюсова в стихах, посвященных ему, Белый пытается дать «сквозь призму брюсовского творчества», пользуясь чеканной риторикой Брюсова, выбирая торжественные высокие символы горных вершин, ледяной бездны, орла, демона:

Закинутый самой судьбой
Над искристым и льдистым пиком,
Ты солнце на старинный бой
Зовешь протяжным, вольным криком...

[1] А. Белый, Луг зеленый, с. 187.
[2] Там же, с. 178—179.

В стихотворении «Созидатель» Белый пытается дать стиховой портрет поэта, столь же изобразительно-узнаваемый, как знаменитый врубелевский портрет Брюсова со сложенными руками:

Грустен взор. Сюртук застегнут.
Сух, серьезен, строен, прям...

Взор опустишь, руки сложишь...

Здесь почти дословное совпадение с отдельными местами статей Белого о Брюсове. Для Белого очень характерна эта реализация увлекающего его образа одновременно в разных жанрах.

Любопытно, что в аналитических своих статьях о творчестве Брюсова Белый сугубое внимание обращает на ту особенность брюсовского стиха, которая стала одной из главных стиховых задач Белого во время работы над «Урной». Его занимает проблема расстановки слов в строке Брюсова с изощренными вариациями и повторениями целых фраз, с едва заметной перестановкой слов. Белый приводит строки Брюсова:

Слышу, слышу, шаг твой нежный,
Шаг твой слышу за собой... —

и еще ряд аналогичных примеров поэтической «магии слова».

Теоретическое исследование русского стиха и сделанные Белым в этой области открытия были применены им в художественной практике «Урны» и сказались в изобретательных ритмических ходах его новых ямбов.

Раздел «Зима» — самый непосредственно личный — состоит преимущественно из стихов о несчастной любви, разрыве и одиночестве. Лейтмотив цикла, буквально повторяющийся в нескольких стихотворениях:

Припоминается ее
Лицо холодное и злое...

Казалось бы, образ ледяной девы, снежной девы, пурги, метели откровенно перекликается с Блоком. Но поэтически Белый в этом сборнике от Блока далек. У Блока «снежные» стихи вьются вокруг одного центрального влекущего образа, растворяющего в себе все. У Белого весь круг зимних, ледяных, метельных образов — иносказание холода, жестокости, одиночества, омертвения.

Циклы «Зима», «Разуверение», «Тристии», «Думы» насыщены архаизмами: «хлад», «сребро», «злато», «бледное чело», «лобзанье»,

«стенанье», «глас», «очи», «боле», «ужель», «томящий одр», «немотствует», «вотще», «емлют», «древес прельстительных таинственная сень» и т. д. В стихотворении «Зима» — обороты типично пушкинских стансов:

Люблю деревню, вечер ранний
И грусть серебряной зимы.

———

Вдали от зависти и злобы
Мне жизнь окончить суждено.

Воспроизводя ритм, лексику и строй классических старинных стансов, Белый превращает их в своеобразные стихи-заклинания. Достигает он этого виртуозными вариациями бесконечных повторений отдельных слов, созвучий, внутренних рифм: «сухой, сухой, сухой мороз», «навеяв синий, синий иней», «их хрупкий, хрупкий хруст». Иногда нагнетание эпитетов в строке звучит повторением, потому что эпитеты эти скреплены внутренней рифмой: «как нежный, снежный, краткий», «ты жарким, ярким, дымным пылом». Любимый прием звуковых повторений у Белого — подбирать слова с одним корнем, но с разными приставками и в разных частях речи: «пылит и плачется: расплачется пурга», «изгложет, гложет ствол», «провейся веяньем», «подмоет, смоет, моет тень, промоет до зари». Иногда он соединяет путем звуковой ассоциации разнокорневые слова так, что между ними возникает неожиданная близость, иллюзия смыслового родства: «жезл железный», «кругом крутые кручи», «краснеет красный край», «сметает смехом смерть», «упали в пасти пропастей». Белый неистощим в этой неожиданной вязи слов, прихотливых повторений и переходящих в соседние слова одинаковых звуковых комплексов:

И ночи темь. Как ночи темь взошла,
Так ночи темь свой кубок пролила, —

Свой кубок, кубок кружевом златым,
Свой кубок, звезды сеющий, как дым...

И хотя это у Белого до обертонов рассчитанный сознательный эксперимент, стихи звучат глубоко эмоционально, на одном дыхании. Перед нами своеобразный внутренний монолог, возникающий в некоем ассоциативном трансе. Строгость стихового строя сочетается у Белого с характерным для него словесным «радением». Стихи —

кружащийся слововорот в непрестанном потоке звуковых подобий. В дальнейшем, особенно в сборнике «После разлуки», Белый еще более изощренно и экспериментально развивал эти поэтические принципы уже на основе нового, разъятого, ритмически и строфически раскованного стиха.

Но самое интересное, значительное и новое в «Урне» — это раздел «Философическая грусть». В нем Белый поэтически осмысливает свои философские поиски, изучение Канта и неокантианцев и разочарование в их теориях.

Биографическая реальность и емкость жизненного материала, переданная с непринужденной, почти разговорной легкостью «онегинского» ямба, делает эти стихи как бы предвестием поздней и лучшей поэмы Белого «Первое свидание». Как и в будущей поэме, элегические размышления сочетаются в «Философической грусти» с осязаемо гротескным, зримо воплощенным характером жеста, позы и облика героя:

На робкий роковой вопрос
Ответствует философ этот,
Почесывая бледный нос,
Что истина, что правда... — метод.

Философские формулы, попадающие в стих, становятся пародией на самую суть шутливо преломленных умозрительных систем:

«Жизнь, — шепчет он, остановясь
Средь зеленеющих могилок, —
Метафизическая связь
Трансцендентальных предпосылок».

Здесь философский вывод заключен в иронические кавычки. И уже недвусмысленная сатирическая трактовка в строфе:

Вон — ряд неутомимых лбов
Склоняется на стол зеленый;
Песчанистою пылью слов
Часами прядает ученый.

О том, что занятия идеалистической неокантианской философией разочаровали Белого, свидетельствуют его собственные мемуары и особенно предисловие к «Философической грусти» в берлинском издании стихов (1923).

В цикле «Философическая грусть» Белый покончил еще с одной из своих многочисленных иллюзий — с верой в кантианскую философию, которая должна была дать ему ключи ко всем тайнам бытия, а на самом деле привела его в призрачный мир абстракций и не ответила ни на один насущный жизненный вопрос.

Завершается «Урна» разделом откровенно пародийным, и это не случайно. «Амурные стихотворения» задуманы в том же плане иронических стилизаций, как и стихи цикла «Прежде и теперь» («Золото в лазури»). Но это уже не «прелестный стиль» и не просто пародия на жестокий любовный романс и жеманно-чувствительные куплеты. Это, вольно или невольно, пародия и на собственные стиховые ходы. Именно в этих гротескных стихах Белый до конца обнажил и принцип внутренней рифмы, и повтор слов, и звуковые ассоциации, на которых держится весь словесный строй его стихов. В жанре подчеркнуто банального романса и чувствительного куплета принципы эти выступают особенно явственно. Здесь Белый как бы откровенно высмеивает свои ритмические опыты и открытия в озорной, проказливой поэтической буффонаде:

Поэт... Горделиво, стыдливо
«Я — твой» над тобой он поет:
Под сливой своей альмавивой
Взмахнет и замрет: и зовет.
Любовник нескромный и томный,
В беседку соседку влеки...

(«Роскошная дева»)

«Урна» — завершение целого периода в творчестве Белого. Ему становится тесно в лирической поэзии. Его влечет к эпопее, большим полотнам, роману, обобщению исторически значительных процессов жизни. И он осуществляет это сначала в повести «Серебряный голубь», а затем в романе «Петербург». Творческие проявления Белого необычайно разнообразны. Никогда не приговаривал он себя к какому-нибудь одному жанру, и потому в каждый жанр вносил опыты и достижения других своих работ. Стих он обогащает прозаической плотностью образа и необычностью словаря из разных сфер деятельности. Прозу он обновляет ритмом. Проза явно вытеснила стихи в его творчестве. После «Урны» до появления поэм «Христос воскрес» (1918) и «Первое свидание» (1921) Белый не создал в поэзии ничего принципиально нового и значительного,

6

Стихи 1910—1914 годов, объединенные в сборник «Королевна и рыцари», вернули в поэзию Белого лирически непосредственный, сказочный и картинный мир его первой «Северной симфонии». Прелесть этих стихов — в воскрешении с детства знакомых сказок и старинных легенд. Это — чудом оживший мир несбыточного и небывшего. Это уже не подчеркнуто красочная сказочность, ошеломляющая причудливостью вызывающих жестов, как в «Золоте в лазури». Это сказочность воспоминаний, блеклая, чуть выцветшая, как старинный гобелен. И вместе с тем для Белого это — лирический просвет, выход из экзальтированного, гневного отчаяния «Пепла» и «философической грусти» в «Урне».

В каждой сказке — «Перед старой картиной», «Шут», «Голос прошлого», «Близкой» — с небольшими вариациями возникает все тот же, знакомый образ: королевна томится в замке одна, или со старым шутом, и ждет, когда за ней приедет доблестный рыцарь; образ возникает словно во сне, как ожившая картина:

Кресла,
Чехлы,
Пьянино...
Всё незнакомо мне!..
Та же
Висит
Картина —
На глухой, теневой стене...

Из раздвинутых рамок слышен зов, и нарисованный утес, забытый замок, рыцарь в стальной броне обретают движение и жизнь.

Не случаен для Белого этот образ тихой комнаты с чехлами на креслах. Чехлы, кресла, пьянино, звук повторяющихся гамм для Белого — воплощенный символ вечности. Он и в «Котике Летаеве» — своеобразном автобиографическом романе о самом раннем детстве, и во второй, «Драматической симфонии». Здесь старина — примирение, и свет, и утверждение какой-то незыблемой прочности мира.

Лейтмотив сборника:

Всё это —
Было,
Было!

Будет —
Всегда,
Всегда!

Белый сам толковал этот сборник как просветление, как жажду гармонии и примиренности.

В «Королевне и рыцарях» — удивительная для Белого ясность образов, прозрачность и простота всего словесного строя. Только в расположении строк позволяет себе Белый развивать свои экспериментальные принципы. Почти во всех сказках — короткая однословная строка, выделяющая и интонационно освобождающая самые служебные, казалось бы, проходные слова, даже союзы и предлоги.

Большинство этих сказок написано Белым в 1910—1911 годах. Для него это время просветления, когда после трудной, сложной, несчастной любви к Л. Д. Блок, после многих драматических недоразумений и разрывов он сближается с молодой художницей Асей Тургеневой. Белый называл Асю Тургеневу «королевной» и в позднейших стихах, появившихся в сборнике «Звезда».

«Королевна и рыцари» — не переход к принципиально новым перспективам, это счастливая остановка в пути, примирительная пауза перед бурями, схватками и открытиями.

Начинается период странствий — поездка с Асей Тургеневой за границу. Не мучительное одиночество и изоляция в чужой стране после пережитых драм, как это было в 1907 году, а радостное, удивленное и творческое углубление в красочно незнакомую, заново открывающуюся жизнь Италии и Туниса. Ася Тургенева — художница с тонким и точным живописным восприятием. Об этом говорит ряд страниц «Путевых заметок» Белого и его автобиографической книги «Возвращение на родину». Белый и сам был наделен даром остро видеть мир в линиях и красках, и этот изобразительный дар делает столь богатой и зрительно представимой его словесную палитру. Обостренное многоцветное открытие мира, во всем великолепии его колорита, звучания, природного и национального разнообразия, отразилось в интереснейшей книге путевых очерков Белого «Офейра», в некоторых его письмах к Блоку и в нескольких лирических стихотворениях той поры, иногда поразительно совпадающих с «Офейрой». Стихи эти помещены в позднем сборнике Белого «Звезда».

Это свободное, радостное овладение миром в пору заграничного путешествия 1911 года, этот творческий взлет сопровождался и совсем иными впечатлениями. В жизнь Белого вошло пагубное, во многом трагическое для него увлечение. Встреча с известным антропософом Рудольфом Штейнером словно загипнотизировала его. Одержи-

мость антропософией отразилась и на стихах, и на философских статьях Белого, и на его личной жизни. Он пишет Блоку огромное экзальтированное письмо, рассказывает о каких-то разительно совпадающих снах, мистических знаках, видениях, толкнувших его и Асю на встречу с Штейнером. Он становится ревностным учеником Штейнера, истово выполняет какие-то антропософские «уроки», поселяется с Асей в Дорнахе, участвует в строительстве Иоаннова храма по заданию Штейнера. Ася, как гравер, чертит антропософские эмблемы — голубя, спирали, крылья, чаши, змею. Белый воспевает эти знаки в своих стихах. Он непрерывно находится в какой-то мистической готовности к откровению.

Стихи антропософского склада теряют столь характерную для Белого прозаическую весомость и многокрасочную зримость образа. Они становятся абстрактными, туманными. В этих стихах постоянно встречаются «благие иерархии», «сверлящие спирали», «крылья духа», «визг космических стихий», «святые пламена». Повсюду ищет он «иных миров знакомое зерно». Знаки и эмблемы переполняют строки, высокопарные, торжественные, заклинательные.

В наиболее выразительных и сильных стихах сборника «Звезда» (1922) Белый воскрешает интонацию и синтаксические ходы пушкинского «Пророка». Рисунок пушкинских строк:

И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье —

воспроизведен по крайней мере в двух стихотворениях:

И моря рокот роковой,
И жизни подвиг подневольный.

(«Карма»)

И — зеленеющий листок,
И — ветхий корень придорожный.

(«Асе»)

Интонация Пушкина сказалась в лучших стихах сборника, не замкнутых в узком круге антропософских символов и аллегорий. К подлинной поэзии Белый прорывается в стихах, насыщенных земными чувствами — любви к подруге (почти все эти стихи посвящены Асе) или к России.

Новая волна трагических, благословляющих стихов, обращенных к России, хлынула в лирику Белого в годы первой мировой войны

и особенно в пору революции. И это самые сильные его стихи, — например, знаменитое «Рыдай, буревая стихия...» (1917). Это стихотворение космическим осмыслением «огневой стихии» революции близко к поэме Блока «Двенадцать» и предвосхищает поэму самого Белого «Христос воскрес».

Образ Христа и тема «второго пришествия» неотделимы для Белого от трактовки революции. Это лейтмотив его стихов о России 1918—1920 годов. Отождествление русской революции с мистическим обновлением мира наиболее полно сказалось в строках:

Россия, Россия, Россия —
Мессия грядущего дня!

Но и в лучших стихах сборника — интонация заклинательная, молитвенная, на пределе восторга и душевного «катарсиса». Мистическое повторение слов в почти религиозной экзальтации («Россия, Россия, Россия...»), голосовое нарастание, восклицательные взрывы, после которых автор как бы проваливается в изнеможение и небытие, непрерывная «поэма экстаза» — вот та музыкальная, интонационная и душевная атмосфера, в которой пребывает Белый в самых выразительных стихах 1914—1918 годов — «Родине», «К России», «Карма».

В «Звезде» Белый продолжает свою работу над музыкальной инструментовкой стиха. Эти звуковые эксперименты виртуозны. Он пронизывает стихи звуковой вязью слов, он соединяет слова так, что последующее становится как бы звуковым эхом предыдущего: «ты — злая, лающая Парка», «и словно облак обволок». Он неутомимо варьирует близкозвучащие и грамматически однородные слова, выжимая из них максимум дополнительных оттеночных смыслов:

Невыразимое — нежней...,
Неотразимое — упорней...,
Невыразимы беги дней,
Неотразимы смерти корни.

Он сопрягает слова созвучиями, устанавливая их ассоциативное родство: «в глухие тьмы братоубийств и браней».

В каждом последующем сборнике Белый продолжает опыты над стиховым словом, начатые в предыдущем, и с каждым сборником экспериментальность этих стиховых открытий становится все откровенней и демонстративней.

7

Особенно широко Белый открывает двери своей поэтической лаборатории в последнем сборнике стихов «После разлуки» (1922).

Сборнику предпослано длинное теоретическое предисловие. В нем Белый провозглашает рождение новой поэтической школы, имя которой мелодизм. Пересматривая опыт русского стиха, накопленный в ряде поэтических направлений начиная с символизма, Белый приходит к выводу, что «после символизма не было сколько-нибудь действительно новых сдвигов к грядущему стилю поэзии... Ныне стих перегружен ухищрениями образа, ритма, инструментовки, но всеми школами недавнего времени пропущена одна существенная сторона стиха: *мелодия* целого... *Мелодизм* — вот нужная ныне и пока отсутствующая школа среди градации школ»[1].

Но если мы обратимся к художественной практике сборника «После разлуки», иллюстрирующей принципы провозглашенного Андреем Белым «мелодизма», то увидим, что эти стихи своим звучанием начисто разрушают мелодию. Между тем Белый настаивает даже на специфике музыкального инструмента, как бы воплощенного самой словесной и ритмической тканью каждого стихотворения. Это видно из названий стихотворений (к сожалению, только из названий): «Весенняя мелодия (мандолина)»; «О полярном покое (говорит виолончель)»; «Поется под гитару», «Опять гитара», «Я (поется с балалайкой)». Перед нами столпотворение повторяющихся, сложно расчерченных слов, но не движение стиха в его смысловом и эмоциональном развитии. Особенно искусственным кажется произвольное деление на кратчайшие главы, состоящие иногда из двух слов, начертанных в виде двух строк:

глухи —
духи!.. —

или из знакомой по многим прежним стихам А. Белого повторяющейся стиховой формулы:

Утопатываем
Мы —
Утопатываем: —
— В тьмы!

---

[1] А. Белый, После разлуки. Берлинский песенник. Пг. — Берлин, 1922, с. 9—10.

Стихи превращаются в механический круговорот все тех же беспрерывно выкрикиваемых слов. Это стихи расчисленные и графически расчерченные, но вполне бесконтрольные в смысловом плане, например такие циклы, как «Маленький балаган на маленькой планете «Земля» и «Я».

Истерическая экзальтация, одержимость навязчивыми словами и неотвязными мыслями образуют эти распадающиеся строки. Они — полное торжество хаоса и, конечно же, диссонанса, а не мелодии. Белый так определил характер этих стихов: «Музыка «пути посвящения» сменилась для меня музыкой фокстрота, бостона и джимми; хороший джозбэнд предпочитаю я колоколам Парсиваля; я хотел бы в будущем писать соответствующие фокстроту стихи» [1].

Белый почти прав, когда говорит о сборнике «После разлуки»: «Эта маленькая тетрадь — поиски формы; и я не придаю ей никакого значения...» [2] Но только почти. Потому что за всеми сверхдемонстративными экспериментами в этом сборнике прорывается необузданная искренность подлинного душевного состояния поэта. В то время Белый очень тяжело переживал разрыв с Асей, покинувшей его, и разочарование в докторе Штейнере и антропософии. Белый видит в Штейнере «злого духа» — разлучника, разбившего и искалечившего его жизнь. Некоторые главы «Маленького балагана» превращаются в исступленные проклятия Штейнеру.

Отчаяние, доведенное до галлюцинаций, и одержимость подлинного горя смертельно раненной души с необыкновенной силой сказались в таких вещах, как «Бессонница», «Больница», «Ты — тень теней...». В них лирическая раскаленность еще не остывшего чувства победила все старательно задуманные опыты интонационного и графического «расстава» слов.

Но вот примечательная подробность, характеризующая стиховое мышление Белого. В одном из лучших стихотворений, посвященных разрыву с Асей, «Ты — тень теней...», находим строки:

Твое лицо —
Холодное и злое...

Да ведь это же строки, повторенные в двух стихотворениях «Урны» — «В поле» и «Совесть», — написанных в Париже в 1907 году после трагического разрыва с Л. Д. Блок:

---

[1] А. Белый, Стихотворения, М.—Пг. — Берлин, 1923, с. 471.
[2] А. Белый, После разлуки, с. 9.

Припоминается ее
Лицо холодное и злое...

Прошло пятнадцать лет.

Изменилась судьба Белого, насыщенная множеством событий, увлечений, встреч, путешествий, творческих исканий. Новая любовь вошла в его жизнь, и другая женщина покинула его. Не изменилась только стиховая формула «твое лицо холодное и злое». А ведь Белого, с его творческой щедростью, даже расточительностью, никак нельзя обвинить в бедности словаря. Откуда же эти постоянные возвращения к старым формулам в новых стихах и по новым жизненным поводам?

Это объясняется принципиальной и устойчивой лейтмотивностью Белого. Он не ставит себе задачей создание законченного стихотворения, живущего своей отдельной, завершенной в собственных пределах жизнью. Для Белого все творчество поэта — это целая жизнь, «роман в стихах», пронизанный повторяющимися лейтмотивами. В предисловии к берлинскому изданию своей лирики Белый подчеркивает, что он отбирает не самые удачные и совершенные стихи, а руководствуется «воспоминанием о лейтмотивах, звучащих ему в ряде лет». «Все, мной написанное, — роман в стихах: содержание же романа — *мое искание правды,* с его достижениями и падениями» [1].

Лейтмотивность дает ему право делать главные строки, отражающие главные события и вехи его жизни, повторяемыми, переносить их из стихотворения в стихотворение. Белый строит не отдельные стихотворения, а циклы. Узловые образы, лейтмотивные стиховые формулы, их движение и возвращение — в его представлении о творчестве не только оправданы и закономерны, но и необходимы. К вопросу о циклах, повторности образов и строк, сохранении «зерна» и непрерывном изменении одних и тех же вещей Белого еще придется вернуться в связи с его бесконечными переделками уже созданных стихотворений.

Завершая разговор о сборнике «После разлуки», хочется обратить внимание на поэтическую встречу А. Белого с Мариной Цветаевой. Стихи Цветаевой произвели на Белого громадное, неотразимое впечатление. Он написал ей восторженное письмо: «Позвольте мне высказать глубокое восхищение перед совершенно крылатой мелодией вашей книги «Разлука». Я весь вечер читаю — почти вслух; и — почти распеваю. Давно я не имел такого эстетического

---

[1] А. Белый, Стихотворения, с. 9.

наслаждения. А в отношении к *мелодике* стиха, столь нужной после расхлябанности москвичей и мертвенности акмеистов, — ваша книга *первая* (это — безусловно)» [1].

Последнее стихотворение сборника «После разлуки» посвящено М. И. Цветаевой. Оно кончается таким же славословием.

Белого с Цветаевой сближало обостренное чувство звукового родства слов, умение извлекать из этих слов смысловые корни, через внутреннюю форму слова открывать его коренную суть. Поздние стихи Белого и зрелые стихи Цветаевой всегда не результат, а напряженный процесс выражения себя и мира. Сближает этих поэтов и то, что истину слова они открывают не в последовательном развитии мысли, а в судорожных толчках, взрывах, наитиях. Близость к Белому, его влияние сказались не только в стихах, но и в лирической, мемуарно-ассоциативной прозе Цветаевой.

Ряд новых стихов 1929—1931 годов говорит о том, что в своих поэтических исканиях Белый отошел от характера и стиля сборника «После разлуки».

Сложность анализа поздних стихов Белого, при жизни его почти не публиковавшихся, включенных им в предполагаемый итоговый сборник «Зовы времен», — в том, что это до неузнаваемости переделанные, а по существу все те же старые его стихи.

Белый, настаивающий на единстве и неделимости творчества, через которое проходят центральные лейтмотивы всей жизни автора, намеренно снимает особенности и конкретные черты времени в своих поздних стихах. Уже в берлинском издании 1923 года он уничтожает хронологическую последовательность и переплавляет стихи всех предшествующих сборников в лейтмотивные циклы. В каждом цикле встречаются стихи из «Золота в лазури» и «Пепла», «Урны» и «Королевны и рыцарей», «Звезды» и «После разлуки», рядом с совершенно новыми. Старые стихи, использованные в новых вариантах, узнаваемы только по центральным образам или кое-где попадающимся стиховым формулам. Это не варианты созданных ранее стихотворений, а их очень отдаленные вариации.

Белый переставляет стихи в пределах цикла, вырывая их из сборников, он меняет в них строфы и строки, перенося отдельные куски из стихотворения в стихотворение, берет начало одного, середину другого и конец третьего стихотворения, раскладывает бесконечные пасьянсы из собственных строк, по-разному комбинируя их.

Жена Белого, К. Н. Бугаева, в своих неизданных воспоминаниях приводит интереснейшие детали этого неустанного творческого

---

[1] М. Цветаева, Проза, Нью-Йорк, 1953, с. 317.

процесса. Белый пишет иногда по восемь вариантов одного и того же стихотворения, уверяя, что стихотворение стало лучше после того, как в нем и следов прежнего не осталось. Из одного он делает не меньше трех или пяти отдельных стихотворений, а иногда из нескольких — одно. Иногда меняется только графическое начертание, то, что Белый любил называть «расставом» слов и строк. Иногда целиком меняется размер и даже словесный состав разрабатываемой темы. Остается только эмоциональный и образный пунктир замысла.

Эта страсть к переделкам принимала у Белого угрожающие формы. Все его друзья пишут об этом с сокрушением. Пяст в своих воспоминаниях о Белом говорит об этом зуде перекраивания: «Перерабатывая, развивая, как говорится, свои стихи, — Андрей Белый, действительно, настолько их портил, что надо было удивляться, куда в таких случаях девался его врожденный «большой вкус»! И мы собирались учредить Общество Защиты Творений Андрея Белого от жестокого его с ними обращения»[1]. Об этом же говорит и Марина Цветаева в замечательном литературно-мемуарном портрете Белого «Пленный дух». Она рассказывает о том, как издатель умолял ее повлиять на Белого, чтобы он прекратил свои безудержные переделки. «Убедите его, что раньше — тоже было хорошо. Ведь против первоначального текста — камня на камне не оставил... Ведь каждая его корректура — целая новая книга!.. У наборщиков руки опускаются!».[2]

Особенно подвергались переделкам ранние стихи Белого 1900—1903 годов, то есть те, которые он условно называл «золотолазурными». Это объясняется сложным, противоречивым отношением Белого к своему раннему творчеству. Эпоха «зорь», воспетая в «Золоте в лазури», на всю жизнь осталась для Белого лучшей, самой многообещающей. Он помнил о ней, как о времени радостных предчувствий великого преображения мира. В последующие периоды жизни он благодарно вспоминал о «зорях» своей юности и творчески воскрешал их в поэме «Первое свидание» и в ряде стихотворений, предназначенных для итогового сборника «Зовы времен». Вместе с тем Белый с резкой нетерпимостью относился к своей первой книге, считал ее формально несовершенной, художественно беспомощной, требующей коренного изменения. Он считал, что к «золотолазурным» стихам необходимо вернуться во всеоружии мастерства. Он искал слов достойных и точных, для того чтобы утвердить то духовное

---

[1] Вл. Пяст, Встречи, М., «Федерация», 1929, с. 154—155.
[2] М. Цветаева, Проза, с. 339.

состояние, в каком задумана была его первая книга. В 1933 году, переделывая и дописывая «золотолазурные» стихи, он прибавляет к ним новые в том же плане — для так и не вышедшего сборника «Зовы времен». В предисловии к «Зовам времен» он заклинает будущих издателей не печатать ранние стихи в их первых вариантах и подробно аргументирует и оправдывает свою потребность непрестанно переделывать старое.

А. Белый забывает, что стихи 1903 года создавались в русле своего времени, задуманы были в плане тех задач, интересов и исканий, которыми жила поэзия символистов начала века. Когда же Белый к замыслам, темам, ритмам и образам тех времен применяет свою позднейшую очень сложную, изощренную поэтическую технику, он разрывает стихи, лишает их органического единства.

Новые формальные задачи — внутренние рифмы, повторения, графический рисунок однословных выделенных строк, пресловутый «мелодизм», на самом деле полностью зачеркивающий мелодию, — делают несущественным, а часто просто несуществующим самое ядро первоначального замысла. Суть вытеснена экспериментом.

Подчас новые варианты действительно более выразительны, чем первоначальные стихотворения, — с бóльшим количеством словесных и ритмических находок. Но ранние стихи жили жизнью своего времени, а новые, построенные на отходах старых вещей, оголенно решают формальную задачу.

Приведу только один пример такой «переделки». В «Золоте в лазури» есть стихотворение 1901 года «Знаю», посвященное О. М. Соловьевой, развивающее мотивы лирики Вл. Соловьева и очень характерное для умонастроения раннего Белого:

Пусть на рассвете туманно —
знаю — желанное близко...
Видишь, как тает нежданно
образ вдали василиска?
Пусть всё тревожно и странно...
Пусть на рассвете туманно —
знаю — желанное близко.

Нежен восток побледневший.
Знаешь ли — ночь на исходе?
Слышишь ли — вздох о свободе —
вздох ветерка улетевший —
весть о грядущем восходе?

Спит кипарис онемевший.
Знаешь ли — ночь на исходе?

Белые к сердцу цветы я
вновь прижимаю невольно.

Эти мечты золотые,
эти улыбки святые
в сердце вонзаются больно...
Белые к сердцу цветы я
вновь прижимаю невольно.

А вот вариация 1931 года для «Зовов времен»:

Восток, побледневший,
Восток, онемевший,
Восток прозаревший —
— Как инок
Запевший, —
Над тенью осинок,
Над ленью лозинок,
Над сенью долинок —
— Восток
Онемевший!
Березы сквозные;
Рои — росяные,
Цветы вырезные...
— А белые
Эти —
Мы в лете срывали;
И в лете узнали:
Мы, — дети, — сказали, —
— Что эти —
О, свете!

В первой редакции, менее построенной и собранной словесно, прозрачно выступает самая суть замысла, заключенная в лейтмотивной строке — «знаю, желанное близко». Это тревожное и радостное предчувствие рассвета, рассвета символического. В позднем варианте от первоначального стихотворения остался только намек на белые цветы и сочетание «восток побледневший». Перед нами бесконечное нанизывание все новых повторов, вариаций, разно-

словных сочетаний какой-то определенной конфигурации рифм и строфики. Нет движения стиха; есть только движение тщательно подогнанных рифмованных слов, синтаксических массивов; есть изобретательность набора словесного, а внутренний смысл из него выветривается.

Экспериментальность сказывается и в обилии новообразований, которые сравнительно редко встречались у раннего Белого: «росеет», «тенеет», «разорвина», «журчня», «грохи грома», «вспыхом», «брызнь» и т. д. Эти новообразования, особенно глагольные существительные типа «мельк», «черч», «издрог», характерны для позднего Белого. Ими кишат его мемуары и проза последних лет.

Наряду с переделками мы встречаем в поздних стихах Белого попытки заново воскресить образный мир его молодой лирики, создать виртуозно выразительные стихи на ранее вдохновлявшем его материале. В стихах 1931 года опять оживают легендарные, фантастические и забавные фигуры, знакомые по «Северной симфонии» и «Золоту в лазури»: суматошливые фавны, горбун Аммос, сухопарый великан («Лес»), гололобый титан («День»), быкоголовый пегий леший («Андрон»), караковый кентавр («Подъем»). Это тоже стилизации — в стихах обдуманно собранных, эвфонически и образно насыщенных. В них нет рыхлых и водянистых строф, которых еще много в ранних стихах. И все-таки это лишь творческая оглядка на собственное прошлое.

Из поздних стихов, конечно, интереснее зловеще-гротескный «Берлин», или творчески значительное стихотворение 1926 года «Мигнет медовой желтизною скатов...», где впервые за многие годы Белый вновь приходит к радостной полноте прославления жизни в ее осязаемой природной реальности.

Но главные свои творческие помыслы, помимо обильной прозы (мемуары, путевые очерки, историко-литературные исследования), он отдает поэмам. Именно в поэмах «Христос воскрес» и «Первое свидание» сказал он свое ответственное слово о жизни, времени, творчестве и о себе.

8

Поэма «Христос воскрес» (1918) не случайно всеми исследователями Белого сопоставлялась с «Двенадцатью» Блока. Поэмы Блока и Белого — это своеобразое «да» революции, это приятие новой России, преображенной и возрожденной в очистительной грозе Октября.

У Белого, как и у Блока, революция — «оптимистическая тра-

гедия» — не только величественная реальность истории, но и космическое обновление мира. Вот почему Белый так часто и подчеркнуто говорит о мистерии. Старые символические корни сказались в том, что из реальности истории оба поэта вырываются в мессианское, почти религиозное истолкование революционных событий.

И, как всегда, Блок весь во плоти реального образа и только две последние строчки: «В белом венчике из роз впереди Исус Христос» — бросают мистический свет на поэму, полную жгучей исторической конкретности, выраженной языком современным и народным, вобравшим в себя городские частушки и песни.

Белый же идет к современности через евангельскую притчу. Первые десять глав — это пересказ евангельской легенды о распятии Христа. Но воплощена эта легенда в нервном, взрывчатом стихе, разъятом на неравномерные, синкопированные, подчеркнуто интонационные строки.

Для Белого Христос тема не новая. Еще в «Золоте в лазури», в цикле 1903 года «Вечный зов», всплывает образ распятого Христа, к тому же отождествленного с лирическим «я» поэта. Весь раздел «Багряница в терниях» развивает этот символ. И дальше, в «Пепле», тема мессии и «второго пришествия» сплетается у Белого с темой пророка, причем образ этот двойствен, противоречив: он и провидец и безумец.

В поэме образ Христа — уже не субъективный символ личного сознания поэта. Он объективируется, расширяется, распространяется на большие события, происходящие в мире.

Никогда еще Белый так близко не подходил к раннему Маяковскому, как в этой поэме. Самый стиль повествования о событиях раскаленно-трагических напоминает напряженный, разорванный, интонационно взрывчатый стих Маяковского — «Облака в штанах», «Мистерии-Буфф», трагедии «Владимир Маяковский». И Маяковский в «Облаке в штанах» прибегал к евангельскому образу как символу грядущей революции: «В терновом венце революций грядет шестнадцатый год».

Но Маяковский, взращенный революцией, стал ее поэтом во всей земной реальности воспеваемой им эпохи. Для Блока же и в особенности для Белого в их благословении революции сохраняется некий мистический ореол. И не только для них. Характерно, что молодой Есенин в своих ранних поэмах «Пришествие», «Преображение», «Сельский часослов», «Инония», «Иорданская голубица» тоже связывает образ Христа с темой революции. Делает он это очень своеобразно. Его Христос — русский крестьянский Спас: «Новый на кобыле едет к миру Спас» («Инония»). Его чудодейственная

страна Инония — «райский хлевок», торжество плодородия, изобилия и тепла жизни, а евангельские святые пасут стада:

Вижу вас, злачные нивы,
С стадом буланых коней.
С дудкой пастушеской в ивах
Бродит апостол Андрей.
И, полная боли и гнева,
Там, на окрайне села,
Мати пречистая дева
Розгой стегает осла.

(«Иорданская голубица»)

Есенин, со своим земным, народным лиризмом, казалось бы, чужд Белому, поэту с грузом разносторонней эрудиции и глубокой философской культуры. И вместе с тем Есенин, при всем поэтическом несходстве их, был под обаянием творчества Белого. Он много говорил о Белом как о мастере языка. Он ставил его в один ряд с Гоголем и Лесковым. Он ценил в нем словотворца, заглядывающего в корень слов. А в первые годы революции Есенин вместе с Белым и Блоком состоял в литературной группе «Скифы».

Как видим, Белый в трактовке революции (поэма «Христос воскрес») не одинок. Подобное толкование революции в той или иной степени присуще и Блоку, и Есенину.

Но то, что у Блока лишь легкий блик, намек, поэтическая загадка, вызывающая сложные и спорные расшифровки, Белый недвусмысленно комментирует сам, внутри поэмы. Белый, как всегда, скорее слишком пространно объясняет, чем недосказывает свою мысль. Если первые десять глав поэмы — трагическое, отягченное раздирающими натуралистическими подробностями описание мук распятия, то вторая ее половина — это последовательное наложение евангельской легенды на современность. Повторяются целые главы и отрывки первой половины, а затем идет истолкование ее применительно к нашим дням.

В легенду о Христе врываются современные приметы: «трески револьверных переливов», тело Христа проволокли «под ослепительный алмаз стоящего вдали автомобиля»; 19-я глава посвящена домовому комитету, который, обороняясь от кого-то, заваливает дровами ворота.

Белый вводит в евангельскую проблематику поэмы современные плакатные лозунги. У него «паровозы хором поют о братстве народов» (18-я глава) и твердят: «Да здравствует третий интернацио-

нал!» (16-я глава). Это наиболее близкая к Маяковскому глава поэмы, а презрительную карикатуру на «очкастого интеллигента» в 17-й главе все исследователи справедливо сравнивают с блоковским длинноволосым писателем-витией, поющем России отходную в «Двенадцати».

Острое чувство исторической реальности прорывается у Белого в деталях, а в целом поэма тонет в захлебывающихся мессианских прорицаниях. Поэма знаменательна больше как свидетельство приятия Белым революции, чем как художественное произведение, хотя невозможно отказать ей в эмоциональности, интонационной силе, остроте столкновения легенды и современности. В ней сказался весь Белый с его экзальтацией, искренней преувеличенностью чувств и словесного их выражения, с его склонностью к пророческому витийству.

9

Подлинной поэтической удачи Белый достиг в своей последней поэме «Первое свидание», вдохновенно, просветленно и поразительно точно воспроизводящей прошлое.

Круг сомкнулся. Белого в поздние годы непреодолимо притягивает к себе память о первых его поэтических шагах, о времени создания симфоний и юношеского увлечения идеями Вл. Соловьева — память о «зорях» начала века. Он вспоминает с пафосом и восторгом тех ранних лет, и воспоминания эти — высокий творческий взлет Белого. Эта редкая по стиховому и звуковому мастерству поэма густо насыщена словесными открытиями.

Стиховые мемуары Белого — жанр, в котором он наиболее свободен, выразителен и полон жизни. «Первое свидание» (1921) — такая же вершина поэтического творчества Белого, как мемуарная трилогия — вершина его прозы.

«Первое свидание» — широкая панорама жизни молодой московской интеллигенции начала века, воплощенная биография А. Белого тех лет. Все отразилось в ней: дружеский дом Соловьевых, тесное общение с их сыном Сережей, будущим символистом, увлечение философскими и мистическими идеями Вл. Соловьева, возвышенная влюбленность по всем правилам культа Прекрасной Дамы («ее не имя, а *во имя*»), занятия физикой и философией, радостное ожидание чуда, и над всем — дух музыки — великолепное во плоти звука описание концерта в московском Благородном собрании.

Это непринужденное отражение собственной жизни в лирике отрывочно и незавершенно встречалось у Белого и раньше в его

литературных портретах и дружеских посланиях Вяч. Иванову, С. Соловьеву и особенно в цикле «Философическая грусть». А «Первое свидание» задумано как панорама своего времени. Это — воспоминание, обращенное не только в глубь собственных раздумий о прошлом наедине с собой, но и ко многим собеседникам. Белый все время как бы приглашает читателя разделить с ним память о прожитых годах и оценить их с вершины зрелого опыта. Восторги юноши углублены и умудрены проницательной, понимающей иронией.

По тону и стилю эта поэма во многом близка к «Евгению Онегину»: разговорная непринужденность легкого и резвого ямбического стиха, интонация непосредственного и шутливого общения с читателем, неожиданные переходы от описания к беседе и подтрунивающему размышлению. Совершенно по-онегински звучит это разговорно-естественное припоминание в стихах:

О. М., жена его, — мой друг,
Художница —
(В глухую осень
Я с ней... Позвольте — да: лет восемь
По вечерам делил досуг)...

Иногда даже самый выбор слов возвращает нас к языковой окраске стиха пушкинской поры:

Бывало, я звонился здесь
Отдаться пиршественным негам...

А вот пример непринужденного обмена репликами в пределах упругой строки, когда разговорность не разбивает ритма, а наоборот, подчеркивает и усиливает его, — строка типа пушкинской «Ты ей знаком? — Я им сосед»:

— «Скажи, тобой увлечена
Надежда Львовна Зарина? ..»
— «Не знаю я...»
　　　　　　— «Быть может?»
　　　　　　　　　　— «А?!»

Ироничный и точный разбег биографии, столь характерный для онегинской строфы, слышится в строках, посвященных детству Сережи Соловьева:

Две бабушки, четыре дяди,
И, кажется, шестнадцать теть
Его выращивали пяди,
Но сохранил его господь...

Описание концерта, публики, дирижера Сафонова и оркестрантов в «Первом свидании» перекликается с описанием театральной публики и танца Истоминой в «Онегине».

Но в целом «Евгений Онегин» для Белого — только линия жанровой преемственности, а по существу «Первое свидание» оригинально и по замыслу, и по материалу, и по преломлению образов.

Поэму отличает специфическая для Белого нелепость гротескного жеста, мимики, облика ее персонажей. Вот «повелитель музыки» Сафонов. Не только мастерство дирижера и красоту концерта, как бы осязаемо воплощенного в самой звуковой ткани поэмы, передает Белый. Он остраняет образ комическим описанием жестов дирижера и оркестра:

Кидаясь белой бородой
И кулаками на фаготы, —
Короткий, толстый и немой,
Как бы вынюхивает что-то;
Присядет, вскинув в воздух нос:
Вопрос, разнос во взгляде хитром;
И стойку сделавши, как пес,
Несется снова над пюпитром...

С таким же гротескным комизмом дан портрет Вл. Соловьева. Он появляется в поэме не только в ореоле бессмертного величия, но и в наглядном комизме забавных жестов:

Стащивши пару крендельков
С вопросом: «Ну и что ж в итоге?»
Свои переплетает ноги,
Грохочет парой каблуков.

«Всклокоченность» и «косматость» образа, даже вознесенного в надземные выси вечности, для Белого неизбежна.

Даже неземная влюбленность в Надежду Львовну Зарину преломлена гротескно-насмешливо:

Она — Мадонна Рафаэля!
Пройдет, — мы, вспыхнувши, вздохнем,
Идиотически ослабнем...

Пройдет с раскосым стариком,
С курносым, с безволосым бабнем...

Сочетание физиологически-смешного с прикрашенно-поэтическим сказалось в таких соседствующих и как будто взаимоисключающих строках, как:

Мы чешем розовые плеши
под бирюзовою весной.

Смешное и великое у Белого не уничтожают, а взаимно укрепляют друг друга. Одно переплавляется в другое, и мир, предстающий в грандиозном гротеске, одновременно полон житейской «невнятицы» и высокого, одухотворяющего внутреннего смысла.

«Первое свидание» — это не только воспоминание о «зорях» начала века и собственной юности, это и тревожный загляд в будущее, и острое ощущение катастрофичности эпохи. Поэма написана в исторически-раскаленные грозные годы, и Белый первый в мировой поэзии заговорил об атомной опасности:

Мир — рвался в опытах Кюри
Атомной, лопнувшею бомбой...

Углубленное чувство времени свойственно лучшим поэтическим книгам Белого — сборнику «Пепел» и поэме «Первое свидание».

«Первое свидание» не ограничивается эпическим воспроизведением прошлого и размышлениями над будущей судьбой мира. Поэма эта — в такой же мере стиховые мемуары, как и сотворение мира в полноте звучащего слова.

О заново открытом слове, воскрешающем мир, Белый говорит во вступлении к поэме. Словотворчество осмысляется им как жизнетворчество:

Ты в слове Слова — богослов:
О, осиянная Осанна
Матфея, Марка, Иоанна —
Язык!.. Запрядай: тайной слов!

Поэма полна головокружительными сочетаниями слов, как бы ничего общего между собой не имеющих, но, сближенные звуком, они переплавляются в некое неожиданное единство: «и я, как гиблый гибеллин, у гвельфов ног», «из воли: толстые волы», и знаменитое:

Так звуки слова *«дар Валдая»*
Балды, над партою болтая, —
Переболтают в *«дарвалдая»*...

Белый не отказывает себе в радости прямых, само собой напрашивающихся каламбуров с подлинными фамилиями своих героев: «графиня толстая — Толста́я», «не та калоша: Каллаша!».

В том же плане — быстрые рапирные выпады в танцующих и жонглирующих словами строках:

И движим паром паровоз;
И Грекса Зевс — не переладит;
И физик — посреди небес;
И ненароком Брюсов адит;
И гадость сделает Гадес...

Белый необычайно щедро и насыщенно применяет в «Первом свидании» весь свой богатый опыт ассоциативной связи слов. Вершин звукописи Белый достигает там, где стиховое слово ощутимо воплощается в непосредственный звуковой процесс настройки инструментов. Звуковая нерасторжимость слов в этих строках абсолютна:

И трудный гуд, и нудный зуд —
Так ноет зуб, так нудит блуд...
Кто это там пилит и режет?
Натянуто пустое дно, —
Долдонит бебень барабана,
Как пузо выпуклого жбана:
И тупо, тупо бьет оно...

О, невозможные моменты:
Струня́т и строют инструменты...

Каждая строка в «Первом свидании» насквозь «озвучена», и каждый звук в сочетании самых неожиданных слов предельно осмыслен. В ранних своих статьях о формах искусства Белый провозгласил музыку самым всеобъемлющим и совершенным искусством, которое обогащает возможности других областей творчества. В «Первом свидании» Белому удалось осуществить это проникновение музыки в поэзию, сохранив все богатство сложнейших и тончайших смыслов, заложенных в слове. Поэма эта симфонична. Она выходит далеко за пределы того отрезка времени, о котором с та-

кой проницательной иронией вспоминает Белый. Эпиграфом к поэме могут служить ее же строки:

Волною музыки меня
Стихия жизни оплеснула

Сложная звуковая ткань Белого — это не только формальная задача инструментовки стиха. Белый как бы устанавливает родство слов, казалось бы чуждых друг другу, извлекая из них корень, и через корень доходит до открытия сути. Недаром он так увлекался теорией внутренней формы слова, разработанной Потебней. В этой внутренней форме Белый искал образную основу каждого слова и делом искусства считал воскрешение корневой связи слов. В этой связи открывался ему смысл их родства.

Образ существовал для Белого, в слове неотделимо от звука и ритма. Праобраз заключен в звуке. В своей поэме о звуке «Глоссалолия» — буквально «звукословие» — Белый пытался раскрыть первоначальные смыслы слова через звук. «Область звука — в заобразном, в корневом, в прародимом». «Слово... буря расплавленных ритмов звучащего смысла». «Звукословие — опыт; восстановлено мироздание в нем» [1].

Белый — изобретательный словотворец, но между ним и словотворцем Хлебниковым, которого он очень ценил и с интересом изучал, — принципиальная разница подхода к слову. Хлебников извлекал из одного словесного корня неисчислимое богатство слов, и это было для него самоценной радостью. Он населял мир новыми, им самим созданными словами.

Для символистов, в отличие от футуристов, не существует самоцельной игры словами. Символисты верили в собственные каламбуры и творили из них мифы происхождения мира. Связь сходно звучащих слов для них — своеобразная космогония. У Вяч. Иванова: солнце — сердце, дерево — дриада. За связью слов символисты видели реальное соотношение вещей и явлений в мире.

У Белого в «Глоссалолии» это проявилось в целой наукообразно обоснованной системе, хотя он сам называет эту необычную книгу «поэмой о звуке», мифом и сказкой: «Я буду рассказывать сказку, в которую верю, как в быль; сказка звуков пройдет: пусть для вас она — сказка; а для меня она — истина; *дикую истину* звука я буду рассказывать» [2].

---

[1] А. Белый, «Глоссалолия», Берлин, изд. «Эпоха», 1922, с. 29, 11, 31.
[2] Там же, с. 37.

Белый верит, что природа звуков передает природу явлений. Поэма о звуке кончается апокалиптическим пророчеством и призывом: «Да будет же братство народов: язык языков разорвет языки; и — свершится второе пришествие Слова» [1].

Так же как революция была связана для Белого со вторым пришествием Христа, так связывает он с духовной творческой революцией новое «мироздание слова», преобразующего мир, ибо — «мы созданы словом; и словом своим создаем, нарицая... все вещи; именование — творение» [2].

«Глоссалолия», напечатанная в 1922 году, через год после «Первого свидания», — книга крайне субъективная, произвольная и как будто прямого отношения к стихам Белого не имеющая, но она многое объясняет в его непосредственно-художественной практике. В ней ключ к его словесным поискам и в лирике, и в прозе, и в поэме «Первое свидание».

«Первое свидание» — одно из самых значительных и обобщающих созданий Белого в поэзии — вобрало в себя духовный и жизненный опыт его юности. Но это еще далеко не последнее творческое слово Белого, с середины 20-х годов и до конца своей жизни работавшего главным образом в области прозы.

10

Поэзия — это лишь одна из многих граней деятельности Белого. Стихи и поэмы его в значительной мере творчески воплощают его теоретические и философские принципы. Каждый сборник или поэма — реальное отражение его духовных, идейных и художественных исканий. Каждая книга — будь ли это творческий взлет, как «Пепел» и «Первое свидание», или поэтическое крушение, как антропософские стихи, помещенные в «Звезде», и весь берлинский сборник «После разлуки», — красноречивое свидетельство увлечений, поисков и заблуждений Белого.

От сборника к сборнику отражались в лирике сложные блуждания, метания и противоречия Белого — его мистические иллюзии, мессианские идеи, антропософские увлечения, его духовный максимализм и до опустошающего предела доведенные формалистические эксперименты. Зигзаги и перехлесты неизменно сопутствовали Белому на протяжении всей его творческой жизни. Их необходимо отметить. Но смешно и наивно было бы полемизировать с ним по

---

[1] А. Белый; «Глоссалолия», с. 131.
[2] Там же, с. 101.

поводу убеждений, бесспорно зачеркнутых временем. Экзальтированность и одержимость не раз приводили Белого к нарочитому юродству, а предельная крайность выражения превращалась в самопародию. Белый красноречиво демонстрировал заблуждения символистской школы и делал это настолько масштабно, что даже ошибки его обретали ценность наглядного исторического урока. Не об этих преходящих и преодоленных временем иллюзиях стоит подробно говорить сейчас. Гораздо важнее понять, что в литературном наследстве А. Белого оказалось творчески ценным и жизнеспособным.

Значение А. Белого в том, что он собственной лирикой показал неистощимую возможность расширять поэзию всеми сферами человеческой деятельности и мысли. Белый не остановился на условно-туманном, приподнятом, иносказательно-поэтическом языке своей первой книги «Золото в лазури». Он обогатил свой стих и красочностью народной речи в «Пепле», и философскими понятиями в «Урне», и всей многослойностью воспроизведения целой эпохи с ее идеями, интересами, реальными именами, бытом, дружеским жаргоном и историческими обобщениями — в «Первом свидании».

Белый остро чувствует историю и как реальные приметы времени, и как грозовые разряды грядущих перемен. Это живое чувство истории тоже отразилось на богатстве, гибкости и емкости его поэтического языка.

Для него, может быть, наиболее характерны постоянные и напряженные поиски нового: «Мне всю жизнь грезились новые формы искусства, в которых художник мог бы пережить себя слиянным со всеми видами творчества. Я хотел вырваться из тусклого слова к яркому.,. Отсюда — опыты с языком... Интерес к народному языку... Обилие неологизмов... переживание ритма как начала, соединяющего поэзию с прозой» [1].

Мастерски используя Гоголя, Белый создал свою совершенно новую форму ритмизованной прозы, оказавшую влияние на целую ветвь литературы 20-х годов: на Артема Веселого, Пильняка, Замятина —на все направление так называемой «орнаментальной прозы». Это — тема большой и специальной работы, о ней нельзя говорить мимоходом.

При всех своих мистических «завихрениях», Белый всегда осознавал себя как активного участника становления культурной жизни

---

[1] А. Белый, Статья «О себе как писателе», в дневниковой записи от 27 февраля 1933 г. Рукописный отдел Гос. публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

молодой Советской России. Творческий тупик и распад он пережил в недолгий период своего пребывания за границей в 1922—1923 годах. Горькое разочарование в эмигрантской среде, жестокая тоска по России сказались и в его личных письмах из Берлина, и в его дневнике того времени, и в автобиографическом памфлете «Одна из обители царства теней», опубликованном в 1924 году вскоре после возвращения в Советский Союз.

«Ужасно скучаю по России. Трудно жить с берлинскими русскими», — пишет он в дневнике 24 июня 1923 года.

После возвращения Белый с необычайной горячностью погрузился в кипучую, огромную по размаху деятельность. Он создает трилогию романов о Москве, пишет путевые очерки «Ветер с Кавказа», «Армения», исследования о Гоголе и «Медном всаднике» Пушкина, множество философских и исторических статей, а главное мемуары — спорные, но широко, во всей конкретности литературного быта эпохи, воссоздающие духовную и творческую культуру символизма «начала века» и «между двух революций». Он задумывает роман о фашизме.

Но, помимо всего написанного, неистощима реальная «культуртрегерская» работа Белого. До конца своих дней он был не кабинетным ученым, а деятелем, наделенным исключительным даром общения и контакта. Он читал множество публичных лекций по вопросам ритма и вел целые курсы стиховедения для молодых поэтов; он участвовал в дискуссиях на литературные и общекультурные темы; он выступал с воспоминаниями о Блоке и впечатлениями о загранице; он вел большую организационную работу на курсах ТЕО в Пролеткульте. Необычайно широко делился он с другими людьми многосторонней эрудицией в самых разных областях науки, культуры и искусства.

На пленуме Оргкомитета Союза советских писателей 1932 года Белый в страстной речи говорил о готовности всем своим творчеством служить революционной России.

«Последний из крупнейших представителей русского символизма... Андрей Белый... умер советским писателем», — говорилось в некрологе, посвященном ему [1].

В поэзии у Белого нет прямых учеников и продолжателей, хотя опосредствованно он дал очень много и современникам своим, и младшим поколениям. В своей поэтической практике, в исследованиях, теориях, статьях и в живой беседе Белый открывал неограниченные возможности жизни слова. Сам вдохновенный, изобрета-

---

[1] «Правда», 1934, 11 января.

тельный словотворец, глубоко заглядывающий в коренную и звуковую суть языка, Белый в этом плане оказался близок и футуристам, и М. Цветаевой, и таким поэтам младшего поколения, как И. Сельвинский и С. Кирсанов.

По характеру своей поэзии Белый — художник не устоявшихся результатов, а творческого процесса в его движении. Он не застывает памятником, не предлагает раз навсегда созданных скрижалей поэтического слова. Он и сам до конца своих дней ищет и прислушивается к жизни современной поэзии. Поэтому можно говорить не столько о влиянии, сколько о взаимодействии. Скажем, начинающего Маяковского поразили словесные открытия «Золота в лазури». Но поздний Белый в поэме «Христос воскрес» черпал из раннего Маяковского, автора «Облака в штанах» и «Мистерии-Буфф». Взаимовлияние отличает и поэтическую дружбу Белого с Мариной Цветаевой.

Широту замыслов Белого, его тяготение к масштабному и космическому очень проницательно почувствовал и определил Горький в письме к Пильняку от 10 сентября 1922 года: «...Белый — человек очень тонкой, рафинированной культуры, это писатель на исключительную тему, существо его — философствующее чувство. Белому нельзя подражать, не принимая его целиком со всеми его атрибутами — как некий своеобразный мир, — как планету, на которой свой, — своеобразный — растительный, животный и духовный миры» [1].

Андрей Белый существует для нас сегодня как значительное и многогранное явление поэтической культуры XX века.

Т. Хмельницкая

[1] «Литературное наследство», т. 70, М., 1963, с. 311.

ЗОЛОТО В ЛАЗУРИ

Посвящаю эту книгу
дорогой матери

ЗОЛОТО В ЛАЗУРИ

1—3. *БАЛЬМОНТУ*

1

В золотистой дали
облака, как рубины, —
облака, как рубины, прошли,
как тяжелые, красные льдины.

Но зеркальную гладь
пелена из туманов закрыла,
и душа неземную печать
тех огней — сохранила.

И, закрытые тьмой,
горизонтов сомкнулись объятья.
Ты сказал: «Океан голубой
еще с нами, о братья!»

Не бояся луны,
прожигавшей туманные сети,
улыбались — священной весны
все задумчиво грустные дети.

Древний хаос, как встарь,
в душу крался смятеньем неясным.
И луна, как фонарь,
озаряла нас отсветом красным.

Но ты руку воздел к небесам
и тонул в ликовании мира.
И заластился к нам
голубеющий бархат эфира.

Апрель 1903
Москва

2

Огонечки небесных свечей
снова борются с горестным мраком.
И ручей
чуть сверкает серебряным знаком.

О поэт — говори
о неслышном полете столетий.
Голубые восторги твои
ловят дети.

Говори о безумье миров,
завертевшихся в танцах,
о смеющейся грусти веков,
о пьянящих багрянцах.

Говори
о полете столетий.
Голубые восторги твои
чутко слышат притихшие дети.

Говори...

Май 1903
Москва

3

Поэт, — ты не понят людьми.
В глазах не сияет беспечность.
Глаза к небесам подними:
с тобой бирюзовая Вечность.

С тобой, над тобою она,
ласкает, целует беззвучно.
Омыта лазурью, весна
над ухом звенит однозвучно.
С тобой, над тобою она.
Ласкает, целует беззвучно.

Хоть те же всё люди кругом,
ты — вечный, свободный, могучий.
О, смейся и плачь: в голубом,
как бисер, рассыпаны тучи.

Закат догорел полосой,
огонь там для сердца не нужен:
там матовой, узкой каймой
протянута нитка жемчужин.
Там матовой, узкой каймой
протянута нитка жемчужин.

1903
Москва

4—5. *ЗОЛОТОЕ РУНО*

Посвящено
Э. К. Метнеру

1

Золотея, эфир просветится,
и в восторге сгорит.
А над морем садится
ускользающий, солнечный щит.

И на море от солнца
золотые дрожат языки.
Всюду отблеск червонца
среди всплесков тоски.

Встали груди утесов
средь трепещущей, солнечной ткани.
Солнце село. Рыданий
полон крик альбатросов:

«Дети солнца, вновь холод бесстрастья!
Закатилось оно —
золотое, старинное счастье —
золотое руно!»

Нет сиянья червонца.
Меркнут светочи дня.
Но везде вместо солнца
ослепительный пурпур огня.

Апрель 1903
Москва

2

Пожаром склон неба объят...
И вот аргонавты нам в рог отлетаний
трубят...
Внимайте, внимайте...
Довольно страданий!
Броню надевайте
из солнечной ткани!

Зовет за собою
старик аргонавт,
взывает
трубой
золотою:
«За солнцем, за солнцем, свободу любя,
умчимся в эфир
голубой!..»

Старик аргонавт призывает на солнечный
пир,
трубя
в золотеющий мир.

Всё небо в рубинах.
Шар солнца почил.
Всё небо в рубинах
над нами.
На горных вершинах
наш Арго,

наш Арго,
готовясь лететь, золотыми крылами
забил.

Земля отлетает...
Вино
мировое
пылает
пожаром
опять:
то огненным шаром
блистать
выплывает
руно
золотое,
искрясь.

И, блеском объятый,
светило дневное,
что факелом вновь зажжено,
несясь,
настигает
наш Арго крылатый.

Опять настигает
свое золотое
руно...

Октябрь 1903
Москва

6. СОЛНЦЕ

Автору «Будем как Солнце»

Солнцем сердце зажжено.
Солнце — к вечному стремительность.
Солнце — вечное окно
в золотую ослепительность.

Роза в золоте кудрей.
Роза нежно колыхается.

В розах золото лучей
красным жаром разливается.

В сердце бедном много зла
сожжено и перемолото.
Наши души — зеркала,
отражающие золото.

1903
Серебряный Колодезь

7—9. *ЗАКАТЫ*

1

Даль — без конца. Качается лениво,
шумит овес.
И сердце ждет опять нетерпеливо
всё тех же грез.
В печали бледной, виннозолотистой,
закрывшись тучей
и окаймив дугой ее огнистой,
сребристо жгучей,
садится солнце красно-золотое...
И вновь летит
вдоль желтых нив волнение святое,
овсом шумит:
«Душа, смирись: средь пира золотого
скончался день.
И на полях туманного былого
ложится тень.
Уставший мир в покое засыпает,
и впереди
весны давно никто не ожидает.
И ты не жди.
Нет ничего... И ничего не будет...
И ты умрешь...
Исчезнет мир, и бог его забудет.
Чего ж ты ждешь?»
В дали зеркальной, огненно-лучистой,
закрывшись тучей

и окаймив дугой ее огнистой,
пунцово-жгучей,
огромный шар, склонясь, горит над нивой
багрянцем роз.
Ложится тень. Качается лениво,
шумит овес.

Июль 1902
Серебряный Колодезь

2

Я шел домой согбенный и усталый,
главу склонив.
Я различал далекий, запоздалый
родной призыв.
Звучало мне: «Пройдет твоя кручина,
умчится сном».
Я вдаль смотрел — тянулась паутина
на голубом
из золотых и лучезарных ниток...
Звучало мне:
«И времена свиваются, как свиток...
И всё — во сне...
Для чистых слез, для радости духовной,
для бытия,
мой падший сын, мой сын единокровный,
зову тебя...»
Так я стоял счастливый, безответный.
Из пыльных туч
над далью нив вознесся златосветный,
янтарный луч.

Июнь 1902
Серебряный Колодезь

3

Шатаясь, склоняется колос.
Прохладой вечерней пахнёт.
Вдали замирающий голос
в безвременье грустно зовет.

Зовет он тревожно, невнятно
туда, где воздушный чертог,
а тучек скользящие пятна
над нивой плывут на восток.

Закат полосою багряной
бледнеет в дали за горой.
Шумит в лучезарности пьяной
вкруг нас океан золотой.

И мир, догорая, пирует,
и мир славословит Отца,
а ветер ласкает, целует.
Целует меня без конца.

Март 1902
Москва

10—12. *ВЕЧНЫЙ ЗОВ*

Д. С. Мережковскому

1

Пронизала вершины дерев
желто-бархатным светом заря.
И звучит этот вечный напев:
«Объявись — зацелую тебя. . .»

Старина, в пламенеющий час
обуявшая нас мировым, —
старина, окружившая нас,
водопадом летит голубым.

И веков струевой водопад,
вечно грустной спадая волной,
не замоет к былому возврат,
навсегда засквозив стариной.

Песнь всё ту же поет старина,
душит тем же восторгом нас мир.
Точно выплеснут кубок вина,
напоившего вечным эфир.

Обращенный лицом к старине,
я склонился с мольбою за всех.
Страстно тянутся ветви ко мне
золотых, лучезарных дерев.

И сквозь вихрь непрерывных веков
что-то снова коснулось меня, —
тот же грустно задумчивый зов:
«Объявись — зацелую тебя. . .»

2

Проповедуя скорый конец,
я предстал, словно новый Христос,
возложивши терновый венец,
разукрашенный пламенем роз.

В небе гас золотистый пожар.
Я смеялся фонарным огням.
Запрудив вкруг меня троттуар,
удивленно внимали речам.

Хохотали они надо мной,
над безумно-смешным лжехристом.
Капля крови огнистой слезой
застывала, дрожа над челом.

Гром пролеток, и крики, и стук,
ход бесшумный резиновых шин. . .
Липкой грязью окаченный вдруг,
побледневший утих арлекин.

Яркогазовым залит лучом,
я поник, зарыдав, как дитя.
Потащили в смирительный дом,
погоняя пинками меня.

3

Я сижу под окном.
Прижимаюсь к решетке, молясь.
В голубом
всё застыло, искрясь.

И звучит из дали:
«Я так близко от вас,
мои бедные дети земли,
в золотой, янтареющий час...»

И под тусклым окном
за решеткой тюрьмы
ей машу колпаком:
«Скоро, скоро увидимся мы...»

С лучезарных крестов
нити золота тешат меня...
Тот же грустно задумчивый зов:
«Объявись — зацелую тебя...»

Полный радостных мук,
утихает дурак.
Тихо падает на пол из рук
сумасшедший колпак.

Июнь 1903
Серебряный Колодезь

13—15. *ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ*

1

Всё тот же раскинулся свод
над нами лазурно-безмирный,
и тот же на сердце растет
восторг одиночества пирный.

Опять золотое вино
на склоне небес потухает.
И грудь мою слово одно
знакомою грустью сжимает.

Опять заражаюсь мечтой,
печалью восторженно-пьяной...
Вдали горизонт золотой
подернулся дымкой багряной.

Смеюсь — и мой смех серебрист,
и плачу сквозь смех поневоле.
Зачем этот воздух лучист?
Зачем светозарен... до боли?

Апрель 1902
Москва

2

Поет облетающий лес
нам голосом старого барда.
У склона воздушных небес
протянута шкура гепарда.

Не веришь, что ясен так день,
что прежнее счастье возможно.
С востока приблизилась тень
тревожно.

Венок возложил я, любя,
из роз — и он вспыхнул огнями.
И вот я смотрю на тебя,
смотрю, зачарованный снами.

И мнится — я этой мечтой
всю бездну восторга измерю.
Ты скажешь — восторг тот святой...
Не верю!

Поет облетающий лес
нам голосом старого барда.
На склоне воздушных небес
сожженная шкура гепарда.

Апрель 1902
Москва

3

Звон вечерний гудит, уносясь
в вышину. Я молчу, я доволен.
Светозарные волны, искрясь,
зажигают кресты колоколен.

В тучу прячется солнечный диск.
Ярко блещет чуть видный остаток.
Над сверкнувшим крестом дружный визг
белогрудых счастливых касаток.

Пусть туманна огнистая даль —
посмотри, как всё чисто над нами.
Пронизал голубую эмаль
огневеющий пурпур снопами.

О, что значат печали мои!
В чистом небе так ясно, так ясно...
Белоснежный кусок кисеи
загорелся мечтой виннокрасной.

Там касатки кричат, уносясь.
Ах, полет их свободен и волен...
Светозарные волны, искрясь,
озаряют кресты колоколен.

1902

16. ВО ХРАМЕ

Толпа, войдя во храм, задумчивей и строже...
Лампад пунцовых блеск и тихий возглас:
«Боже...»

И снова я молюсь, сомненьями томим.
Угодники со стен грозят перстом сухим,

лицо суровое чернеет из киота
да потемневшая с веками позолота.

Забил поток лучей расплавленных в окно...
Всё просветилось вдруг, всё солнцем зажжено:

И «Свете тихий» с клиросов воззвали,
и лики золотом пунцовым заблистали.

Восторгом солнечным зажженный иерей,
повитый ладаном, выходит из дверей.

Июнь 1903
Серебряный Колодезь

17. ОБРАЗ ВЕЧНОСТИ

Бетховену

Образ возлюбленной — Вечности —
встретил меня на горах.
Сердце в беспечности.
Гул, прозвучавший в веках.
В жизни загубленной
образ возлюбленной,
образ возлюбленной — Вечности,
с ясной улыбкой на милых устах.

Там стоит,
там манит рукой...
И летит
мир предо мной —
вихрь крутит
серых облак рой.

Полосы солнечных струй златотканные
в облачной стае горят...
Чьи-то призывы желанные,
чей-то задумчивый взгляд.

Я стар — сребрится
мой ус и темя,
но радость снится.
Река, что время:
летит — кружится...
Мой челн сквозь время,
сквозь мир помчится.

И умчусь сквозь века в лучесветную даль...
И в очах старика
не увидишь печаль.

Жизни не жаль
мне загубленной.
Сердце полно несказа́нной беспечности —
образ возлюбленной,
образ возлюбленной —
— Вечности!..

Апрель 1903

18. В ПОЛЯХ

Солнца контур старинный,
золотой, огневой,
апельсинный и винный
над червонной рекой.

От воздушного пьянства
онемела земля.
Золотые пространства,
золотые поля.

Озаренный лучом, я
опускаюсь в овраг.
Чернопыльные комья
замедляют мой шаг.

От всего золотого
к ручейку убегу —
холод ветра ночного
на зеленом лугу.

Солнца контур старинный,
золотой, огневой,
апельсинный и винный
убежал на покой.

Убежал в неизвестность.
Над полями легла,
заливая окрестность,
бледносиняя мгла.

Жизнь в безвременье мчится
пересохшим ключом:
всё земное нам снится
утомительным сном.

<1904>

19. ДУША МИРА

Вечной
тучкой несется,
улыбкой
беспечною,
улыбкой зыбкой
смеется.
Грядой серебристой
летит над водою —
— лучисто —
волнистой
грядою.

Чистая,
словно мир,
вся лучистая —
золотая заря,
мировая душа.
За тобой бежишь,
весь
горя,
как на пир,
как на пир
спеша.
Травой шелестишь:
«Я здесь,
где цветы...
Мир
вам...»
И бежишь,
как на пир,
но ты —
Там...

Пронесясь
ветерком,
ты зелень чуть тронешь,
ты пахнёшь
холодком
и смеясь
вмиг

в лазури утонешь,
улетишь на крыльях стрекозовых.
С гвоздик
малиновых,
с бледнорозовых
кашек —
ты рубиновых
гонишь
букашек.

1902

ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ

---

20. ОПАЛА

Посвящается А. А. Блоку

Блестящие ходят персоны,
повсюду фаянс и фарфор,
расписаны нежно плафоны,
музы́ка приветствует с хор.

А в окнах для взора угодный,
прилежно разбитый цветник.
В своем кабинете дородный
и статный сидит временщик.

В расшитом камзоле, при шпаге,
в андреевском ордене он.
Придворный, принесший бумаги,
отвесил глубокий поклон, —

Приветливый, ясный, речистый,
отдавшийся важным делам.
Сановник платочек душистый
кусает, прижавши к устам.

Докладам внимает он мудро.
Вдруг перстнем ударил о стол.
И с буклей посыпалась пудра
на золотом шитый камзол.

«Для вас, государь мой, не тайна,
что можете вы пострадать:
и вот я прошу чрезвычайно
сию неисправность изъять. . .»

Лицо утонуло средь кружев.
Кричит, раскрасневшись: «Ну что ж! . .
Татищев, Шувалов, Бестужев —
у нас есть немало вельмож —

Коль вы не исправны, законы
блюсти я доверю другим. . .
Повсюду, повсюду препоны
моим начинаньям благим! . .»

И, гневно поднявшись, отваги
исполненный, быстро исчез.
Блеснул его перстень и шпаги
украшенный пышно эфес.

Идет побледневший придворный. . .
Напудренный щеголь в лорнет
глядит — любопытный, притворный:
«Что с вами? Лица на вас нет. . .

В опале? . . Назначен Бестужев?»
Главу опустил — и молчит.
Вкруг море камзолов и кружев,
волнуясь, докучно шумит.

Блестящие ходят персоны,
музыка приветствует с хор,
окраскою нежной плафоны
ласкают пресыщенный взор.

Апрель 1903
Москва

21. ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ

Посвящается дорогой матери

Сияет роса на листочках.
И солнце над прудом горит.
Красавица с мушкой на щечках,
как пышная роза, сидит.

Любезная сердцу картина!
Вся в белых, сквозных кружевах,
мечтает под звук клавесина...
Горит в золотистых лучах

под вешнею лаской фортуны
и хмелью обвитый карниз,
и стены. Прекрасный и юный,
пред нею склонился маркиз

в привычно заученной роли,
в волнисто-седом парике,
в лазурно-атласном камзоле,
с малиновой розой в руке.

«Я вас обожаю, кузина!
Извольте цветок сей принять...»
Смеются под звук клавесина,
и хочет кузину обнять.

Уже вдоль газонов росистых
туман бледно-белый ползет.
В волнах фиолетово-мглистых
луна золотая плывет.

Март 1903
Москва

22. МЕНУЭТ

Вельможа встречает гостью.
Он рад соседке.
Вертя драгоценною тростью,
стоит у беседки.

На белом атласе сапфиры.
На дочках — кисейные шарфы.

Подули зефиры —
воздушный аккорд
Эоловой арфы.

Любезен, но горд,
готовит изящный сонет
старик.
Глядит в глубь аллеи, приставив лорнет,
надев треуголку на белый парик.

Вот... негры вдали показались —
все в красном — лакеи...
Вот... блеск этих золотом шитых кафтанов.
Идут в глубь аллеи
по старому парку.

Под шепот алмазных фонтанов
проходят сквозь арку.

Вельможа идет для встречи.
Он снял треуголку.
Готовит любезные речи.
Шуршит от шелку.

Март 1903
Москва

23. ПРОЩАНИЕ

Посвящается Эллиси

Красавец Огюст,
на стол уронив табакерку,
задев этажерку,
обнявши подругу за талью, склонился
на бюст.

«Вы — радости, кои
Фортуна несла — далеки! ..»

На клумбах левкои.
Над ними кружат мотыльки.

«Прости, мое щастье:
уйдет твой Огюст...»

Взирает на них без участья
холодный и мраморный бюст.
На бюсте сем глянец...

«Ах, щастье верну!..
Коль будет противник, его, как гишпанец,
с отвагою, шпагой проткну...

Ответишь в день оный,
коль, сердце, забудешь меня».

Сверкают попоны
лихого коня.

Вот свистнул по воздуху хлыстик.
Помчался
и вдаль улетел.

И к листику листик
прижался:
то хладный зефир прошумел.

«Ах, где ты, гишпанец мой храбрый?
Ах, где ты, Огюст?»
Забыта лежит табакерка...
Приходят зажечь канделябры...

В огнях этажерка
и мраморный бюст.

Апрель 1903
Москва

24. ПОЛУНОЩНИЦЫ

Посвящается А. А. Блоку

На столике зеркало, пудра, флаконы,
что держат в руках купидоны,
белила,
румяна...

Затянута туго корсетом,
в кисейном девица в ладоши забила,
вертясь пред своим туалетом:
«Ушла... И так рано!..
Заснет и уж нас не разгонит...
Ах, котик!..»

И к котику клонит
свой носик и ротик...

Щебечет другая
нежнее картинки:
«Ma chère[1], дорогая —
сережки, корсажи, ботинки!..
Уедем в Париж мы...
Там спросим о ценах...»

Блистают
им свечи.
Мелькают
на стенах
их фижмы
и букли, и плечи...

«Мы молоды были...
Мы тоже мечтали,
но кости заныли,
прощайте!..» —
Старушка графиня сказала им басом...

И все восклицали:
«Нет, вы погадайте...»

---

[1] Моя дорогая (франц.). — *Ред.*

И все приседали,
шуршали атласом...
«Ведь вас обучал Калиостро...»

— «Ну, карты давайте...»
Графиня гадает, и голос звучит ее трубный,
очами сверкает так остро:
«Вот трефы, вот бубны...»

На стенах портреты...
Столпились девицы с ужимками кошки.
Звенят их браслеты,
горят их сережки...

Трясется чепец, и колышутся лопасти кофты.
И голос звучит ее трубный:
«Беги женихов ты...
Любовь тебя свяжет и сетью опутает вервий.
Гаси сантимента сердечного жар ты...
Опять те же карты:
Вот бубны,
вот черви...»

Вопросы... Ответы...
И слушают чутко...
Взирают со стен равнодушно портреты...
Зажегся взор шустрый...
Темно в переходах
и жутко...

И в залах на сводах
погашены люстры...
И в горнице тени трепещут...

И шепчутся: «Тише,
вот папа
услышит, что дочки ладонями плещут,
что возятся ночью, как мыши,
и тешат свой норов...

Вот папа
пришлет к нам лакея «арапа».

Притихли, но поздно:
в дали коридоров
со светом в руках приближаются грозно...
Шатаются мраки...

Арапы идут и — о боже! —
вот шарканье туфель доносится грубо,
смеются их черные рожи,
алеют их губы,
мелькают пунцовые фраки...

1903
Серебряный Колодезь

25. ПРОМЕНАД

Красотка летит вдоль аллеи
в карете своей золоченой.
Стоят на запятках лакеи
в чулках и в ливрее зеленой.

На кружевах бархатной робы
всё ценные камни сияют.
И знатные очень особы
пред ней треуголку снимают.

Карета запряжена цугом...
У лошади в челке эгретка.
В карете испытанным другом
с ней рядом уселась левретка.

На лошади взмыленно снежной
красавец наездник промчался;
он, ветку акации нежной
сорвав на скаку, улыбался.

Стрельнул в нее взором нескромно...
В час тайно условленной встречи,

напудренно-бледный и томный, —
шепнул ей любовные речи...

В восторге сидит онемелом...
Карета на запад катится...
На фоне небес бледно-белом
светящийся пурпур струится.

Ей грезится жар поцелуя...
Вдали очертаньем неясным
стоит неподвижно стату́я,
охвачена заревом красным.

1903
Серебряный Колодезь

26. ССОРА

Посвящается М. И. Балтрушайтис

Заплели косицы змейкой
графа старого две дочки.
Поливая клумбы, лейкой
воду черпают из бочки.

Вот садятся на скамейку,
подобрав жеманно юбки,
на песок поставив лейку
и сложив сердечком губки.

Но лишь скроется в окошке
образ строгий гувернантки, —
возникают перебранки
и друг другу кажут рожки.

Замелькали юбки, ножки,
кудри, сглаженные гребнем...
Утрамбованы дорожки
мелким гравием и щебнем.

Всюду жизнь и трепет вешний,
дух идет от лепесточков,

от голубеньких цветочков,
от белеющей черешни.

И в разгаре перебранки
языки друг другу кажут...
Строгий возглас гувернантки:
«Злые дети, вас накажут!..»

Вечер. Дом, газон, кусточек
тонут в полосах тумана.
«Стонет сизый голубочек» —
льется звонкое сопрано.

И субтильные девицы,
подобрав жеманно юбки,
как нахохленные птицы,
в дом идут, надувши губки.

Апрель 1903
Москва

27. ЗАБРОШЕННЫЙ ДОМ

Заброшенный дом.
Кустарник колючий, но редкий.
Грущу о былом:
«Ах, где вы — любезные предки?»

Из каменных трещин торчат
проросшие мхи, как полипы.
Дуплистые липы
над домом шумят.

И лист за листом,
тоскуя о неге вчерашней,
кружится под тусклым окном
разрушенной башни.

Как стерся изогнутый серп
средь нежно белеющих лилий —
облупленный герб
дворянских фамилий.

Былое, как дым...
И жалко.
Охрипшая галка
глумится над горем моим.

Посмотришь в окно —
часы из фарфора с китайцем.
В углу полотно
с углем нарисованным зайцем.

Старинная мебель в пыли,
да люстры в чехлах, да гардины...
И вдаль отойдешь... А вдали —
Равнины, равнины.

Среди многоверстных равнин
скирды золотистого хлеба.
И небо...
Один.

Внимаешь с тоской,
обвеянный жизнию давней,
как шепчется ветер с листвой,
как хлопает сорванной ставней.

Июнь 1903
Серебряный Колодезь

28. СЕЛЬСКАЯ КАРТИНА

М. А. Эртелю

Сквозь зелень воздушность одела
их пологом солнечных пятен.
Старушка несмело
шепнула: «День зноен, приятен...»

Девица
клубнику варила средь летнего жара.
Их лица
омыло струею душистого пара.

В морщинах у старой змеилась
как будто усмешка...

В жаровне искрилась,
дымя, головешка.

Зефир пролетел тиховейный...
Кудрявенький мальчик
в пикейной
матроске к лазури протягивал пальчик:
«Куда полетела со стен, ты,
зеленая мушка?»

Чепца серебристого ленты,
вспотев, распускала старушка.

Чирикнула птица.

В порыве бескрылом
девица
грустила о милом.
Тяжелые косы,
томясь, через плечи она перекинула разом.

Звенящие, желтые осы
кружились над стынущим тазом.

Девица за ласточкой вольной
следила завистливым оком,
грустила невольно
о том, что разлу́чены роком.
Вдруг что-то ей щечку ужалило больно —
она зарыдала,
сорвавши передник...
и щечка распухла.

Варенье убрали на ледник,
жаровня потухла.

Диск солнца пропал над лесною опушкой,
ребенка лучом искрометным целуя.

Ребенок гонялся
за мушкой
средь кашек.
Метался,
танцуя,
над ним столб букашек.

И вот дуновенье
струило прохладу
волною.
Тоскливое пенье
звучало из тихого саду.

С распухшей щекою
бродила мечтательно дева.
Вдали над ложбиной —
печальный, печальный —
туман поднимался к нам призраком длинным.

Из птичьего зева
забил над куртиной
фонтанчик хрустальный,
пронизанный златом рубинным.

Средь розовых шапок левкоя
старушка тонула забытым мечтаньем.
И липы былое
почтили вздыханьем.
Шептала
старушка: «Как вечер приятен!»

И вот одевала
заря ее пологом огненных пятен.

1904
Москва

29. ВОСПОМИНАНИЕ

Посвящается Л. Д. Блок

Задумчивый вид:
Сквозь ветви сирени
сухая известка блестит
запущенных барских строений.

Всё те же стоят у ворот
чугунные тумбы.
И нынешний год
всё так же разбитые клумбы.

На старом балкончике хмель
по ветру качается сонный,
да шмель
жужжит у колонны.

Весна.
На кресле протертом из ситца
старушка глядит из окна.
Ей молодость снится.

Всё помнит себя молодой —
как цветиком ясным, лилейным
гуляла весной
вся в белом, в кисейном.

Он шел позади,
шепча комплименты.
Пылали в груди
ее сантименты.

Садилась, стыдясь,
она вон за те клавикорды.
Ей в очи, смеясь,
глядел он, счастливый и гордый.

Зарей потянуло в окно.
Вздохнула старушка:
«Всё это уж было давно! . .»
Стенная кукушка,

хрипя,
кричала.
А время, грустя,
над домом бежало, бежало...

Задумчивый хмель
качался, как сонный,
да бархатный шмель
жужжал у колонны.

1903
Москва

80. ОТСТАВНОЙ ВОЕННЫЙ

Вот к дому, катя по аллеям,
с нахмуренным Яшкой —
с лакеем,
подъехал старик, отставной генерал с деревяшкой.

Семейство,
чтя русский
обычай, вело генерала для винного действа
к закуске.

Претолстый помещик, куривший сигару,
напяливший в полдень поддевку,
средь жару
пил с гостем вишневку.

Опять вдохновенный,
рассказывал, в скатерть рассеянно тыча окурок,
военный
про турок:
«Приехали в Яссы...
Приблизились к Турции...»
Вились вкруг террасы
цветы золотые настурции.

Взирая
на девку блондинку,

на хлеб полагая
сардинку,
кричал
генерал:
«И под хохот громовый
проснувшейся пушки
ложились костьми батальоны...»

В кленовой
аллее носились унылые стоны
кукушки.

Про душную страду
в полях где-то пели
так звонко.
Мальчишки из саду
сквозь ели,
крича, выгоняли теленка.

«Не тот, так другой
погибал,
умножались
могилы», —
кричал,
от вина огневой...
Наливались
на лбу его синие жилы.

«Нам страх был неведом...
Еще на Кавказе сжигали аул за аулом...»

С коричневым пледом
и стулом
в аллее стоял,
дожидаясь,
надутый лакей его, Яшка.

Спускаясь
с террасы, военный по ветхим ступеням стучал
деревяшкой.

1904
Москва

31. НЕЗНАКОМЫЙ ДРУГ

Посвящается П. Н. Батюшкову

1

Мелькают прохожие, санки...
Идет обыватель из лавки,
весь бритый, старинной осанки...
Должно быть, военный в отставке.
Калошей стучит по панели,
мальчишкам мигает со смехом,
в своей необъятной шинели,
отделанной выцветшим мехом.

2

Он всюду, где жизнь, — и намедни
Я встретил его у обедни.
По церкви ходил он с тарелкой...
Деньгою позвякивал мелкой...
Все знают: про замысел вражий
он мастер рассказывать страсти...
Дьячки с ним дружатся — и даже
квартальные Пресненской части.
В мясной ему всё без прибавки —
Не то, что другим — отпускают...
И с ним о войне рассуждают
хозяева ситцевой лавки...

Приходит, садится у окон
с улыбкой, приветливо ясный...
В огромный фулярово-красный
сморкается громко платок он.
«Китаец дерется с японцем...
В газетах об этом писали...
Ох, что не творится под солнцем...
Недавно... купца обокрали...»

3

Холодная, зимняя вьюга.
Безрадостно-темные дали.
Ищу незнакомого друга,
исполненный вечной печали...
Вот яростно с крыши железной
рукав серебристый взметнулся,
как будто для жалобы слезной
незримый в хаосе проснулся, —
как будто далекие трубы...

Оставленный всеми, как инок,
стоит он средь бледных снежинок,
подняв воротник своей шубы...

4

Как часто средь белой метели,
детей провожая со смехом,
бродил он в старинной шинели,
отделанной выцветшим мехом...

1903
Москва

32. ВЕСНА

Всё подсохло. И почки уж есть.
Зацветут скоро ландыши, кашки.
Вот плывут облачка, как барашки.
Громче, громче весенняя весть.

Я встревожен назойливым писком:
Подоткнувшись, ворчливая Фекла,
нависая над улицей с риском,
протирает оконные стекла.

Тут известку счищают ножом...
Тут стаканчики с ядом... Тут вата...
Грудь апрельским восторгом объята.
Ветер пылью крутит за окном.

Окна настежь — и крик, разговоры,
и цветочный качается стебель,
и выходят на двор полотеры
босиком выколачивать мебель.

Выполз кот и сидит у корытца,
умывается бархатной лапкой.

Вот мальчишка в рубашке из ситца,
пробежав, запустил в него бабкой.

В небе свет предвечерних огней.
Чувства снова, как прежде, огнисты.
Небеса всё синей и синей,
Облачка, как барашки, волнисты.

В синих далях блуждает мой взор.
Все земные стремленья так жалки...
Мужичонка в опорках на двор
с громом ввозит тяжелые балки.

1903
Москва

83. ИЗ ОКНА

Гляжу из окна я вдоль окон:
здесь — голос мне слышится пылкий,
и вижу распущенный локон...
Там вижу в окне я бутылки...

В бутылках натыкана верба.
Торчат ее голые прутья.
На дворике сохнут лоскутья...
И голос болгара иль серба

гортанный протяжно рыдает...
И слышится: «Шум на Марица...»
Сбежались. А сверху девица
с деньгою бумажку бросает.

Утешены очень ребята
прыжками цепной обезьянки.
Из вечно плаксивой Травьяты
мучительный скрежет шарманки.

Посмотришь на даль — огороды
мелькнут перед взором рядами,
заводы, заводы, заводы! . .
Заводы блестят уж огнями.

Собравшись пред старым забором,
портные расселись в воротах.
Забыв о тяжелых работах,
орут под гармонику хором.

1903

34. СВИДАНИЕ

На мотив из Брюсова

Время плетется лениво.
Всё тебя нету да нет.

Час простоял терпеливо.
Или больна ты, мой свет?

День-то весь спину мы гнули,
а к девяти я был здесь. . .

Иль про меня что шепнули? . .
Тоже не пил праздник весь. . .

Трубы гремят на бульваре.
Пыль золотая летит.

Франтик в истрепанной паре,
знать, на гулянье бежит.

Там престарелый извозчик
парня в участок везет.

Здесь оборванец разносчик
дули и квас продает.

Как я устал, поджидая! ..
Злая, опять не пришла...

Тучи бледнеют, сгорая.
Стелется пыльная мгла.

Вечер. Бреду одиноко.
Тускло горят фонари.

Там... над домами... далеко
узкая лента зари.

Сердце сжимается больно.
Конка протяжно звенит.

Там... вдалеке... колокольня
образом темным торчит.

1902

35. КОШМАР СРЕДИ БЕЛА ДНЯ

Солнце жжет. Вдоль тротуара
под эскортом пепиньерок
вот идет за парой пара
бледных, хмурых пансионерок.

Цепью вытянулись длинной,
идут медленно и чинно —
в скромных, черненьких ботинках,
в снежнобелых пелеринках...

Шляпки круглые, простые,
заплетенные косицы —
точно всё не молодые,
точно старые девицы.

Глазки вылупили глупо,
спины вытянули прямо.

Взглядом мертвым, как у трупа,
смотрит классная их дама.

«Mademoiselle Nadine, tenez vous
Droit. . .» [1] И хмурит брови строже.
Внемлет скучному напеву
обернувшийся прохожий. . .

Покачает головою,
удивленно улыбаясь. . .
Пансион ползет, змеею
между улиц извиваясь.

1903
Москва

36. НА ОКРАИНЕ ГОРОДА

Был праздник: из мглы
неслись крики пьяниц.
Домов огибая углы,
бесшумно скользил оборванец.

Зловещий и черный,
таская короткую лесенку,
забéгал фонарщик проворный,
мурлыча веселую песенку.

Багрец золотых вечеров
закрыли фабричные трубы
да пепельно-черных дымов
застывшие клубы.

<1904>

---

[1] Мадмуазель Надин, держитесь прямо (франц.). — *Ред.*

ОБРАЗЫ

37—41. *ВЕЛИКАН*

1

«Поздно уж, милая, поздно... усни:
это обман...
Может быть, выпадут лучшие дни.

Мы не увидим их... Поздно... усни...
Это — обман».

Ветер холодный призывно шумит,
холодно нам...
Кто-то, огромный, в тумане бежит...

Тихо смеется. Рукою манит.
Кто это там?

Сел за рекою. Седой бородой
нам закивал
и запахнулся в туман голубой.

Ах, это, верно, был призрак ночной...
Вот он пропал.

Сонные волны бегут на реке.
Месяц встает.
Ветер холодный шумит в тростнике.

Кто-то, бездомный, поет вдалеке,
сонный поет.

«Всё это бредни... Мы в поле одни.
Влажный туман
нас, как младенцев, укроет в тени...

Поздно уж, милая, поздно. Усни.
Это — обман...»

Март 1901
Москва

2

Сергею Михайловичу Соловьеву

Бедные дети устали:
сладко заснули.
Сонные тополи в дали
горько вздохнули,

мучимы вечным обманом,
скучным и бедным...
Ветер занес их туманом
мертвенно-бледным.

Там великан одинокий,
низко согнувшись,
шествовал к цели далекой,
в плащ запахнувшись.

Как он, блуждая, смеялся
в эти минуты...
Как его плащ развевался,
ветром надутый.

Тополи горько вздохнули...
Абрис могучий,
вдруг набежав, затянули
бледные тучи.

8

Средь туманного дня,
созерцая минувшие грезы,
близ лесного ручья
великан отдыхал у березы.

Над печальной страной
протянулись ненастные тучи.
Бесприютной главой
он прижался к березе плакучей.

Горевал исполин.
На челе были складки кручины.
Он кричал, что один,
что он стар, что немые годины

надоели ему...
Лишь заслышат громовые речи, —
точно встретив чуму,
все бегут и дрожат после встречи.

Он — почтенный старик,
а еще не видал теплой ласки.
Ах, он только велик...
Ах, он видит туманные сказки.

Облака разнесли
этот жалобный крик великана.
Говорили вдали:
«Это ветер шумит средь тумана».

Проходили века.
Разражались ненастные грозы.
На щеках старика
заблистали алмазные слезы.

4

Потянуло грозой.
Горизонт затянулся.
И над знойной страной
его плащ растянулся.

Полетели, клубясь,
грозно вздутые скалы.
Замелькал нам, искрясь,
из-за тучи платок его алый.

Вот плеснул из ведра,
грозно ухнув на нас для потехи:
«Затопить вас пора...
А ужо всем влетит на орехи!»
Вот нога его грузным столбом
где-то близко от нас опустилась,
и потом
вновь лазурь просветилась.

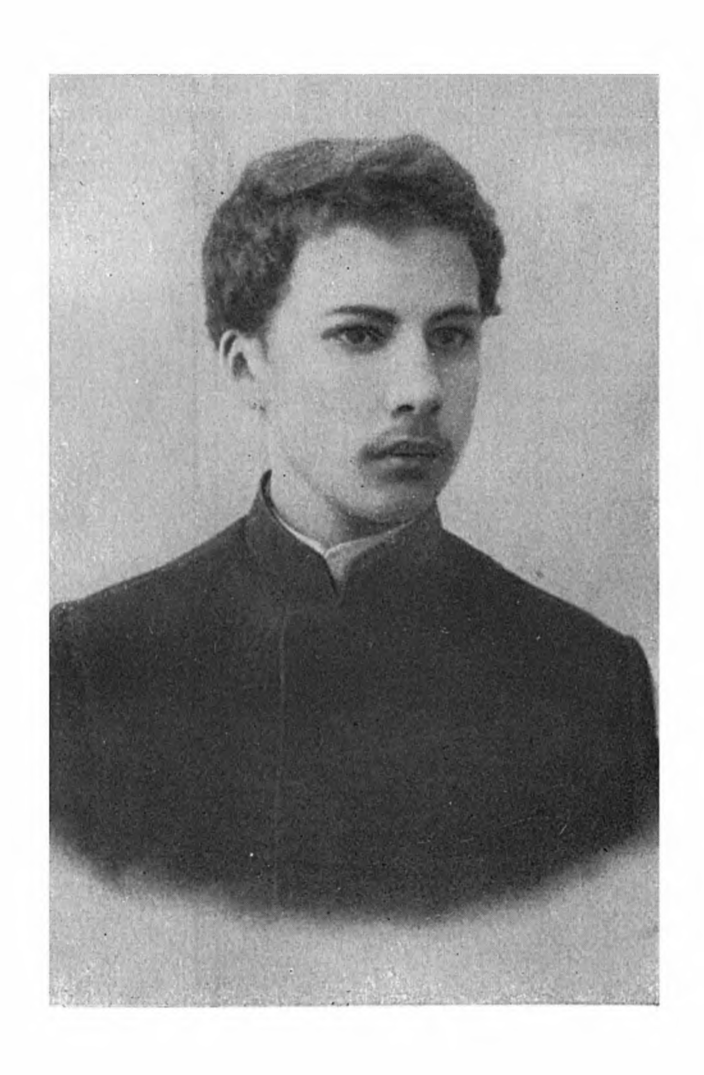
«До свиданья! — кричал, —
мы увидимся летними днями...»
В глубину побежал,
нам махнув своей шляпой с полями.

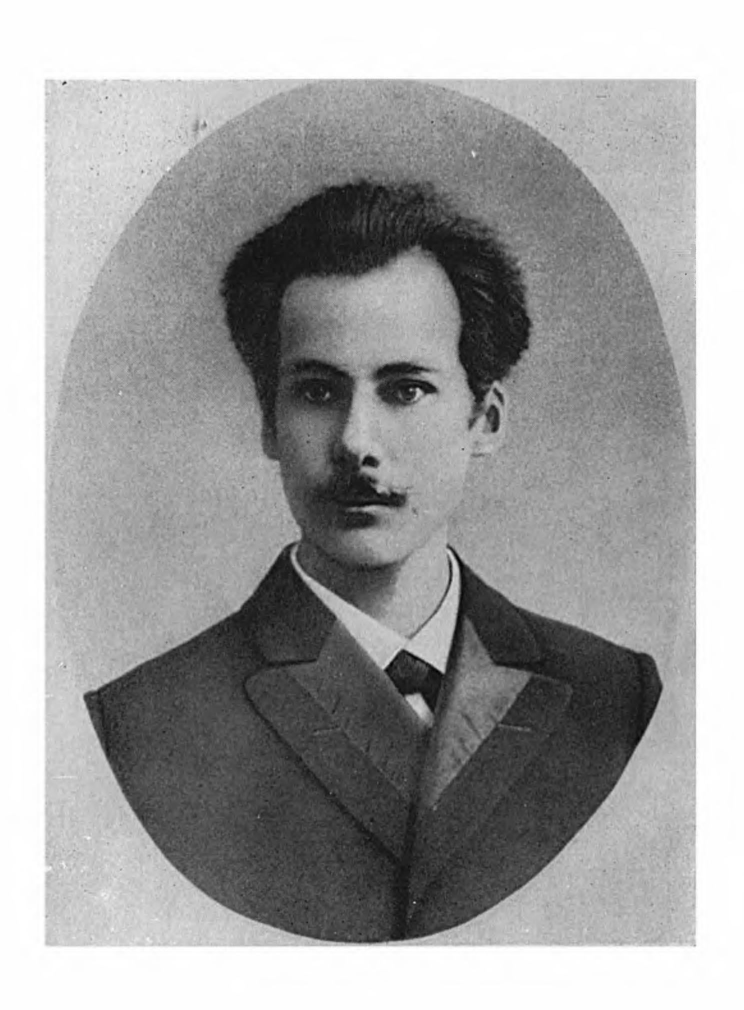
5

В час зари на небосклоне,
скрывши лик хитоном белым,
он стоит в своей короне
замком грозно-онемелым.

Солнце сядет. Всё притихнет.
Он пойдет на нас сердито.
Ветром дунет, гневом вспыхнет,
сетью проволок повитый

изумрудно-золотистых,
фиолетово-пурпурных.
И верхи дубов ветвистых
зашумят в движеньях бурных.





Не успев нас сжечь огнями,
оглушить громовым ревом,
разорвется облаками
в небе темнобирюзовом.

1902

42. НЕ СТРАШНО

Боль сердечных ран,
и тоска растет.
На полях — туман.
Скоро ночь сойдет.

Ты уйдешь, а я
буду вновь один...

И пройдет, грозя,
меж лесных вершин
великан седой:
закачает лес,
склон ночных небес
затенит бедой.

Страшен мрак ночной,
коли нет огня...

Посиди со мной,
не оставь меня!..

Буйный ветер спит.
Ночь летит на нас...

Сквозь туман горит
пара красных глаз —

страшен мрак ночной,
коли нет огня...

Посиди со мной,
Не оставь меня!

Мне не страшно, нет...
Ты как сон... как луч...
Брыжжет ровный свет
из далеких туч...

Надо спать... Всё спит...
Я во сне...

...Вон там
великан стоит
и кивает нам.

Май 1900
Москва

13. ПОЕДИНОК

Посвящается Эллису

1

Из дали грозной Тор воинственный
грохочет в тучах.
Пронес огонь — огонь таинственный
на сизых кручах.

Согбенный викинг встал над скатами,
над темным бором,
горел сияющими латами
и спорил с Тором.

Бродил по облачному городу,
трубил тревогу.
Вцепился в огненную бороду
он Тору-богу.

И ухнул Тор громовым молотом,
по латам медным,
обсыпав шлем пернатый золотом
воздушно-бледным:

«Швырну расплавленные гири я
с туманных башен...»

Вот мчится в пламени валькирия.
Ей бой не страшен.

На бедрах острый меч нащупала.
С протяжным криком
помчалась с облачного купола,
сияя ликом.

2

Ослепший викинг встал над скалами,
спаленный богом.
Трубит печально над провалами
загнутым рогом.

Сердитый Тор за белым глетчером
укрылся в туче.
Леса пылают ясным вечером
на дальней круче.

Извивы лапчатого пламени,
танцуя, блещут:
так клочья палевого знамени
в лазури плещут.

Октябрь 1903
Москва

44. БИТВА

В лазури проходит толпа исполинов на битву.
Ужасен их облик, всклокоченный, каменно-белый.

Сурово поют исполины седые молитву.
Бросают по воздуху красно-пурпурные стрелы.

Порою товарищ, всплеснув мировыми руками,
бессильно шатается, дружеских ищет объятий;
порою, закрывшись от стрел дымовыми плащами,
над телом склоняются медленно гибнущих братий!..

. . . .
Дрожала в испуге земля от тяжелых ударов.
Метались в лазури бород снегоблещущих клоки
— и нет их... пронизанный тканью червонных
пожаров,
плывет многобашенный город, туманно-далекий.

Июль 1903
Серебряный Колодезь

45. НА ГОРАХ

Горы в брачных венцах.
Я в восторге, я молод.
У меня на горах
очистительный холод.

Вот ко мне на утес
притащился горбун седовласый.
Мне в подарок принес
из подземных теплиц ананасы.

Он в малиново-ярком плясал,
прославляя лазурь.
Бородою взметал
вихрь метельно-серебряных бурь.

Голосил
низким басом.
В небеса запустил
ананасом.

И, дугу описав,
озаряя окрестность,
ананас ниспадал, просияв,
в неизвестность,

золотую росу
излучая столбами червонца.
Говорили внизу:
«Это — диск пламезарного солнца...»

Низвергались, звеня,
омывали утесы
золотые фонтаны огня —
хрусталя
заалевшего росы.

Я в бокалы вина нацедил
и, подкравшися боком,
горбуна окатил
светопенным потоком.

1903
Москва

46. МАГ

В. Я. Брюсову

Я в свисте временных потоков,
мой черный плащ мятежно рвущих.
Зову людей, ищу пророков,
о тайне неба вопиющих.

Иду вперед я быстрым шагом.
И вот — утес, и вы стоите
в венце из звезд упорным магом,
с улыбкой вещею глядите.

У ног веков нестройный рокот,
катясь, бунтует в вечном сне.
И голос ваш — орлиный клекот —
растет в холодной вышине.

В венце огня над царством скуки,
над временем вознесены —
застывший маг, сложивший руки,
пророк безвременной весны.

1903

47. КЕНТАВР

Посвящается В. В. Владимирову

Был страшен и холоден сумрак ночной,
когда тебя встретил я, брат дорогой.
В отчаянье грозном я розы срывал
и в чаще сосновой призывно кричал:
«О где ты, кентавр, мой исчезнувший брат —
с тобой, лишь с тобою я встретиться рад! ..
Напрасен призыв одичалой души:
Ведь ты не придешь из сосновой глуши».

И тени сгустились... И тени прошли...
Блеснуло кровавое пламя вдали...
Со светочем кто-то на слезы бежал,
копытами землю сырую взрывал.
Лукаво подмигивал. Взором блеснул
и длинные руки ко мне протянул:
«Здорово, товарищ... Я слышал твой зов...
К тебе я примчался из бездны веков».

Страданье былое, как сон, пронеслось.
Над лесом огнистое солнце зажглось.
Меж старых камней засиял ручеек.
Из красной гвоздики надел я венок.
Веселый кентавр средь лазурного дня
дождем незабудок осыпал меня.

Весь день старый в золоте солнца играл,
зеленые ветви рукой раздвигал,
а ночью туманной простился со мной
и с факелом красным ушел в мир иной.
Я счастья не мог позабыть своего:
всё слышал раскатистый хохот его.

Июль 1901
Серебряный Колодезь

48. ИГРЫ КЕНТАВРОВ

Кентавр бородатый,
мохнатый
и голый

на страже
у леса стоит.
С дубиной тяжелой
от зависти вражьей
жену и детей сторожит.

В пещере кентавриха кормит ребенка
пьянящим
своим молоком.
Шутливо трубят молодые кентавры над звонко
шумящим
ручьем.

Вскочивши один на другого,
копытами стиснувши спину,
кусают друг друга, заржав.
Согретые жаром тепла золотого,
другие глядят на картину,
а третьи валяются, ноги задрав.

Тревожно зафыркал старик, дубиной корнистой
взмахнув.
В лес пасмурно-мглистый
умчался, хвостом поседевшим вильнув.

И вмиг присмирели кентавры, оставив затеи,
и скопом,
испуганно вытянув шеи,
к пещере помчались галопом.

1903

49. БИТВА КЕНТАВРОВ

Холодная буря шумит.
Проносится ревом победным.
Зарница беззвучно дрожит
мерцаньем серебряно-бледным.

И вижу — в молчанье немом
сквозь зелень лепечущих лавров
на выступе мшистом, крутом
немой поединок кентавров.

Один у обрыва упал,
в крови весь, на грунте изрытом.
Над ним победитель заржал
и бьет его мощным копытом.

Не внемлет упорной мольбе,
горит весь огнем неприязни.
Сраженный, покорный судьбе,
зажмурил глаза и ждет казни.

Сам вызвал врага и не мог
осилить стремительный приступ.
Под ними вспененный поток
шумит, разбиваясь о выступ. . .

Воздушно-серебряный блеск
потух. Всё во мраке пропало.
Я слышал лишь крики да всплеск,
как будто что в воду упало.

. . . .

Холодная буря шумит.
Проносится ревом победным.
И снова зарница дрожит
мерцаньем серебряно-бледным.

Смотрю — колыхается лавр. . .
За ним удаленным конту́ром
над пенною бездной кентавр
стоит изваянием хмурым.

Под ним серебрится река.
Он взором блистает орлиным.
Он хлещет крутые бока
и спину хвостом лошадиным.

Он сбросил врага, и в поток
бессильное тело слетело.
И враг больше выплыть не мог,
и пена реки заалела.

Он поднял обломок скалы,
чтоб кинуть в седую пучину.

. . . .
И нет ничего среди мглы,
объявшей немую картину.

Кругом только капли стучат.
Вздыхаешь об утре лазурном.
И слышишь, как лавры шумят
в веселье неслыханно бурном.

Апрель 1902
Москва

50—51. *УТРО*

1

Грядой пурпурной
проходят облачка всё той же сменой.
В них дышит пламень.
Отхлынет прочь волна, разбившись бурной
шипучей пеной
о камень.

Из чащи вышедший погреться, фавн лесной,
смешной
и бородатый,
копытом бьет
на валуне.
Поет
в волынку гимн весне,
наморщив лоб рогатый.

У ног его вздохнет
волна и моется.
Он вдаль бросает взгляды.
То плечи, то рука играющей наяды
меж волн блеснет
и скроется...

2

В небе туча горит янтарем.
Мглой курится.
На туманном утесе забила крылом
белоснежная птица.

Водяная поет.
Волоса распускает.
Скоро солнце взойдет,
и она, будто сказка, растает.

И невольно грустит.
И в алмазах ресницы.
Кто-то, милый, кричит.
Это голос восторженной птицы.

Над морскими сапфирами рыбьим хвостом
старец старый трясет, грозовой и сердитый.
Скоро весь он рассеется призрачным сном,
желторозовой пеной покрытый.

Солнце тучу перстом
огнезарным пронзило.
И опять серебристым крылом
эта птица забила.

1902
Москва

52. ПИР

Поставил вина изумрудного кубки.
Накрыл я приборы. Мой стол разукрашен.

Табачный угар из гигантовой трубки
на небе застыл в виде облачных башен.

Я чую поблизости поступь гиганта.
К себе всех зову я с весельем и злостью.

На пир пригласил горбуна-музыканта.
Он бьет в барабан пожелтевшею костью.

На мшистой лужайке танцуют скелеты,
в могильных покровах неистовый танец.

Деревья листвой золотою одеты.
Меж листьев блистает закатный багрянец.

Пахучей гвоздикой мой стол разукрашен.
Закат догорел среди облачных башен.

Сгущается мрак... Не сидеть нам во мгле ведь?
Поставил на стол я светильников девять.

Пришел, нацепив яркоогненный бант,
мастито присев на какой-то обрубок,

от бремени лет полысевший гигант
и тянет вина изумрудного кубок.

1902
Москва

53. ПРЕДАНЬЕ

Посвящается С. А. Соколову

1

Он был пророк.
Она — сибилла в храме.
Любовь их, как цветок,
горела розами в закатном фимиаме.

Под дугами его бровей
сияли взгляды
пламенносвятые.
Струились завитки кудрей —
вина каскады
пеннозолотые.

Как облачко, закрывшее лазурь,
с пролетами лазури
и с пепельной каймой —
предтеча бурь —

ее лицо, застывшее без бури,
волос омытое волной.

Сквозь грозы
и напасти
стремились, и была в чертах печальных
нега.
Из багряницы роз многострадальных
страсти
творили розы
снега.

К потокам Стикса приближались.
Их ветер нежил, белыми шелками
вея, —
розовые зори просветлялись
жемчугами —
умирали, ласково бледнея.

2

На башнях дальних облаков
ложились мягко аметисты.
У каменистых берегов
челнок качался золотистый.

Диск солнца грузно ниспадал,
меж тем как плакала сибилла.
Средь изумрудов мягко стлал
столбы червонные берилла.

Он ей сказал: «Любовью смерть
и смертью страсти победивший,
я уплыву, и вновь на твердь
сойду, как бог, свой лик явивший».

Сибилла грустно замерла,
откинув пепельный свой локон.
И ей надел поверх чела
из бледных ландышей венок он.

Но что их грусть перед судьбой!
Подул зефир, надулся парус,
помчался челн и за собой
рассыпал огненный стеклярус.

3

Тянулись дни. Он плыл и плыл.
От берегов далеких Стикса,
всплывая тихо, месяц стыл
обломком матовым оникса.

Чертя причудливый узор,
лазурью нежною сквозили
стрекозы бледные. И взор
хрустальным кружевом повили.

Вспенял крылатый, легкий челн
водоворот фонтанно-белый.
То здесь, то там средь ясных волн
качался лебедь онемелый.

И пряди длинные кудрей,
и бледнопепельные складки
его плаща среди зыбей
крутил в пространствах ветер шаткий.

4

И била времени волна.
Прошли года. Под сенью храма
она состарилась одна
в столбах лазурных фимиама.

Порой, украсивши главу
венком из трав благоуханных,
народ к иному божеству
звала в глаголах несказанных.

В закатный час, покинув храм,
навстречу богу шли сибиллы.
По беломраморным щекам
струились крупные бериллы.

И было небо вновь пьяно
улыбкой брачною закатов.
И рдело золотом оно
и темным пурпуром гранатов.

5

Забыт теперь, разрушен храм.
И у дорической колонны,
струя священный фимиам,
блестит росой шиповник сонный.

Забыт алтарь. И заплетен
уж виноградом диким мрамор.
И вот навеки иссечен
старинный лозунг: «Sanctus amor» [1].

И то, что было, не прошло...
Я там стоял оцепенелый.
Глядясь в дрожащее стекло,
качался лебедь сонный, белый.

И солнца диск почил в огнях.
Плясали бешено на влаге, —
на хризолитовых струях
молниеносные зигзаги.

«Вернись, наш бог», — молился я,
и вдалеке белелся парус.
И кто-то, грустный, у руля
рассыпал огненный стеклярус.

Ноябрь 1903
Москва

[1] Святая любовь (лат.). — *Ред.*

54. ГНОМ

1

Вихрь северный злился,
а гном запоздалый
в лесу приютился,
надвинув колпак яркоалый.

Роптал он: «За что же,
убитый ненастьем,
о боже,
умру — не помянут участьем!»

Чредою тягучей
года протекали.
Морщинились тучи.
И ливни хлестали.

Всё ждал, не повеет ли счастьем.
Склонился усталый.
Качался с участьем
колпак яркоалый.

2

Не слышно зловещего грома.
Ненастье прошло — пролетело.
Лицо постаревшего гнома
в слезах заревых огневело.

Сказал он: «Довольно, довольно. . .»
В лучах борода серебрилась.
Сказал — засмеялся невольно,
улыбкой лицо просветилось.

И вот вдоль заросшей дороги
Неслась песнь старинного гнома:
«Несите меня, мои ноги,
домой, заждались меня дома».

Так пел он, смеясь сам с собою.
Лист вспыхнул сияньем червонца.
Блеснуло прощальной каймою
зеркальное золото солнца.

1902

55. СЕРЕНАДА

Посвящается П. Н. Батюшкову

Ты опять у окна, вся доверившись снам, появилась...
Бирюза, бирюза
заливает окрестность...
Дорогая,
луна — заревая слеза —
где-то там в неизвестность
скатилась.

Беспечальных седых жемчугов
поцелуй, о пойми ты!..
Меж кустов, и лугов, и цветов
струй
зеркальных узоры разлиты...

Не тоскуй,
грусть уйми ты!

Дорогая,
о пусть
стая белых, немых лебедей
меж росистых ветвей
на струях серебристых застыла —
одинокая грусть нас туманом покрыла.

От тоски в жажде снов нежно крыльями плещут.
Меж цветов светляки изумрудами блещут.

Очерк белых грудей
на струях точно льдина:

это семь лебедей,
это семь лебедей Лоэнгрина —

лебедеи
Лоэнгрина.

Март 1904
Москва

56. ОДИНОЧЕСТВО

Сирый, убогий в пустыне бреду.
Всё себе кров не найду.
Плачу о дне.
Плачу... Так страшно, так холодно мне.

Годы проходят. Приют не найду.
Сирый иду.

Вот и кладбище... В железном гробу
чью-то я слышу мольбу.
Мимо иду...
Стонут деревья в холодном бреду...

Губы бескровные шепчут мольбу...
Стонут в гробу.

Жизнь отлетела от бедной земли.
Темные тучи прошли.
Ветер ночной
рвет мои кудри рукой ледяной.

Старые образы встали вдали.
В Вечность ушли.

Апрель 1900
Москва

57. ЖИЗНЬ

Посвящается Г. К. Балтрушайтису

1

Сияя перстами, заря рассветала
над морем, как ясный рубин.
Крылатая шхуна вдали утопала.
Мелькали зубцы белых льдин.

Душа молодая просила обмана.
Слеза нам туманила взор.
Бесстрашно отчалил средь хлопьев тумана
от берега с песней помор.

Мы сдвинули чаши, наполнив до краю,
душистым, янтарным вином.
Мы плакали молча, о чем, я не знаю.
Нам весело было вдвоем.

2

Года проходили... Угрозой седою
Полярная ночь шла на нас.
Мы тихо прощались с холодной зарею
в вечерний, тоскующий час.

Крылатая шхуна в туман утопала,
качаясь меж водных равнин.
Знакомым пятном равнодушно сияла
стена наплывающих льдин...

Старушка, ты робко на друга взглянула, —
согбенный, я был пред тобой.
Ты, прошлое вспомнив, тихонько вздохнула,
поникла седой головой.

3

Я глухо промолвил: «Наполним же чаши...
Пусть сердце забьется опять...
Не мы, так другие, так правнуки наши
зарю будут с песней встречать...

Пускай же охватит нас тьмы бесконечность —
сжимается сердце твое?
Не бойся: засветит суровая Вечность
полярное пламя свое! . .»

Знакомую песню вдали затянули.
Снежинки мелькали кругом...
Друг другу в глаза мы с улыбкой взглянули. ..
Наполнили чашу вином.

Июль 1901
Серебряный Колодезь

58. ОДИН

Посвящается
Сергею Львовичу
Кобылинскому

Окна запотели.
На дворе луна.
И стоишь без цели
у окна.

Ветер. Никнет, споря,
ряд седых берез.
Много было горя...
Много слез...

И встает невольно
скучный ряд годин.
Сердцу больно, больно...
Я один.

Декабрь 1900
Москва

59. ОСЕНЬ

Пролетела весна.
Лес багрянцем шумит.
Огневая луна
из тумана глядит.

Или вспомнила вновь
ты весенние дни,
молодую любовь,
заревые огни?

Пролетела весна —
вечно горький обман...
Побледнела луна.
Серебрится туман.

Отвернулась... Глядишь
с бесконечной тоской,
как над быстрой рекой
покачнулся камыш.

<1903>

60. СЕВЕРНЫЙ МАРШ

Ты горем убит,
измучен страданьем —
Медведица в небе горит
бесстрастным сияньем.

Вся жизнь — лишь обман,
а в жизни мы гости...
Метель набросает курган
на старые кости.

Снеговый шатер
протянется скучно...
На небе огнистый костер
заблещет беззвучно.

Алмазом сверкнет
покров твой морозный.
Медведь над могилой пройдет
походкою грозной.

Тоскующий вой
в сугробах утонет.
Под льдистой, холодной броней
вдруг кто-то застонет.

Июль 1901
Серебряный Колодезь

61. РАЗЛУКА

1

Мы шли в полях. Атласом мягким рвало
одежды наши в дуновенье пьяном.
На небесах восторженно пылало
всё в золоте лиловом и багряном.

Я волновался страстно и мятежно.
Ты говорил о счастье бытия.
Твои глаза так радостно, так нежно
из-под очков смотрели на меня.

Ты говорил мне: «Будем мы, как боги,
над миром встанем... Нет, мы не умрем».
Смеялись нам лазурные чертоги,
озарены пурпуровым огнем.

Мы возвращались... Ты за стол садился.
Ты вычислял в восторге мировом.
В твое окно поток червонцев лился,
ложился на́ пол золотым пятном.

2

Вот отчетливо спит в голубом
контур башни застывший и длинный.
Бой часов об одном
неизменно-старинный.

Так недавно бодрил ты меня,
над моею работой вздыхая,
среди яркого дня
раскаленного мая.

Знал ли я, что железный нас рок
разведет через несколько суток...
Над могилой венок
голубых незабудок.

Не замоет поток долгих лет
мое вечное, тихое горе.
Ты не умер — нет, нет!..
Мы увидимся вскоре.

На заре черных ласточек лёт.
Шум деревьев и грустный, и сладкий...
С легким треском мигнет
огонечек лампадки.

Закивает над нами сирень...
Не смутит нас ни зависть, ни злоба...
И приблизится день —
день восстаний из гроба.

8

За опустевший стол я вновь садился.
Тоскуя, думал, думал об одном.
В твое окно поток червонцев лился,
ложился на пол золотым пятном...

Казалось мне, что ты придешь из сада
мне рассказать о счастье бытия...
И я шептал: «Тебя, тебя мне надо...
О, помолись! О, не забудь меня!..

Я вечно жду... Сегодня ты мне снился!..
О жизнь, промчись туманно-грустным сном!»
Я долго ждал... Поток червонцев лился
в твое окно сияющим пятном.

Не ранее 29 июня 1903

62

Незабвенной памяти
М. С. и О. М. Соловьевых

Могилу их украсили венками.
Вокруг без шапок мы в тоске стояли.
Восторг снегов, крутящийся над нами,
в седую Вечность вихри прогоняли.

Последний взмах бряцавшего кадила.
Последний вздох туманно-снежной бури.
Вершину ель мечтательно склонила
в просвете ослепительной лазури.

1903
Москва

63. ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ

Посвящается М. С. Соловьеву

Задохлись мы от пошлости привычной.
Ты на простор нас звал.
Казалось им — твой голос необычный
безумно прозвучал.

И вот, когда, надорванный, угас ты
над подвигом своим,
разнообразные, бессмысленные касты
причли тебя к своим.

В борьбе с рутиною свои потратил силы,
но не разрушил гнет...
Пусть вьюга снежная венок с твоей могилы
с протяжным стоном рвет.

Окончилась метель. Не слышен голос злобы.
Тиха ночная мгла.
Над гробом вьюга белые сугробы
с восторгом намела.

Тебя не поняли... Вон там сквозь сумрак шаткий
пунцовый свет дрожит.
Спокойно почивай: огонь твоей лампадки
мне сумрак озарит.

1903
Москва

64. ОЖИДАНИЕ

Посвящается С. М. Соловьеву

Как невозвратная мечта,
сверкает золото листа.

Душа полна знакомых дум.
Меж облетающих аллей
призывно-грустный, тихий шум
о близости священных дней.

Восток печальный мглой объят.
Над лесом, полные мечты,
благословенные персты
знакомым заревом стоят.

Туманный, краснозолотой,
на нас блеснул вечерний луч
безмирноогненной струей
из-за осенних, низких туч.

Душе опять чего-то жаль.
Сырым туманом сходит ночь.
Багряный клен, кивая вдаль,
с тоской отсюда рвется прочь.

И снова шум среди аллей
о близости священных дней.

Август 1901
Серебряный Колодезь

65. ПРИЗЫВ

Памяти М. С. Соловьева

Призывно грустный шум ветров
звучит, как голос откровений.
От покосившихся крестов
на белый снег ложатся тени.

И облако знакомых грез
летит беззвучно с вестью милой.
Блестя сквозь ряд седых берез,
лампада светит над могилой

пунцово-красным огоньком.
Под ослепительной луною
часовня белая, как днем,
горит серебряной главою.

Там... далеко... среди равнин
старинный дуб в тяжелой муке
стоит затерян и один,
как часовой, подъявший руки.

Там, далеко... в полях шумит
и гонит снег ночная вьюга...
И мнится — в тишине звучит
давно забытый голос друга...

Старинный дуб порой вздохнет
с каким-то тягостным надрывом...
И затрепещет, и заснет
среди полей глухим порывом.

<1903>
Москва

66. ЗНАЮ

Посвящается О. М. Соловьевой

Пусть на рассвете туманно —
знаю — желанное близко...
Видишь, как тает нежданно
Образ вдали василиска?
Пусть всё тревожно и странно...

Пусть на рассвете туманно —
знаю — желанное близко.

Нежен восток побледневший.
Знаешь ли — ночь на исходе?
Слышишь ли — вздох о свободе —
вздох ветерка улетевший —
весть о грядущем восходе?

Спит кипарис онемевший.
Знаешь ли — ночь на исходе?

Белые к сердцу цветы я
вновь прижимаю невольно.

Эти мечты золотые,
эти улыбки святые
в сердце вонзаются больно...

Белые к сердцу цветы я
вновь прижимаю невольно.

Август 1901

67. ВОЗМЕЗДИЕ

Посвящается Эллису

1

Пусть вокруг свищет ветер сердитый,
облака проползают у ног.
Я блуждаю в горах, — позабытый,
в тишине замолчавший пророк.

Горький вздох полусонного кедра.
Грустный шепот: «Неси же свой крест...»
Черный бархат истыкан так щедро
бесконечностью огненных звезд.

Великан, запахнувшийся в тучу,
как утес, мне грозится сквозь мглу.
Я кричу, что осилю все кручи,
не отдам себя в жертву я злу.

2

И всё выше и выше всхожу я.
И всё легче и легче дышать.
Крутизны и провалы минуя,
начинаю протяжно взывать.

Се, кричу вдохновенный и дикий:
«Иммануил грядет! С нами бог!»
Но оттуда, где хаос великий,
раздается озлобленный вздох.

И опять я подкошен кручиной.
Еще радостный день не настал.
Слишком рано я встал над низиной,
слишком рано я к спящим воззвал.

И бегут уж с надеждою жгучей
на безумные крики мои,
но стою я, как идол, над кручей,
раздирая одежды свои.

3

Там... в низинах... ждут с верой денницу.
Жизнь мрачна и печальна, как гроб.
Облеките меня в багряницу!
Пусть вонзаются терния в лоб.

Острым тернием лоб увенчайте!
Обманул я вас песнью своей.
Распинайте меня, распинайте.
Знаю — жаждете крови моей.

На кресте пригвожден. Умираю.
На щеках застывает слеза.
Кто-то, милый, мне шепчет: «Я знаю»,
поцелуем смыкает глаза.

Ах, я знаю — средь образов горных
пропадет сиротливой мечтой,
лишь умру, — стая воронов черных,
что кружилась всю жизнь надо мной.

Пригвожденный к кресту, умираю.
На щеках застывает слеза.
Кто-то, милый, мне шепчет: «Я знаю».
Поцелуем смыкает уста.

4

Черный бархат, усеянный щедро
миллионами огненных звезд.
Сонный вздох одинокого кедра.
Тишина и безлюдье окрест.

Октябрь 1901
Москва

68. БЕЗУМЕЦ

Посвящается А. С. Челищеву

1

«Вы шумите. Табачная гарь
дымносиние стелет волокна.
Золотой мой фонарь
зажигает лучом ваши окна.

Это я в заревое стекло
к вам стучусь в час вечерний.
Снеговое чело
разрывают, вонзясь, иглы терний.

Вот скитался я долгие дни
и тонул в предвечерних туманах.
Изболевшие ноги мои
в тяжких ранах.

Отворяют. Сквозь дымный угар
задают мне вопросы.
Предлагают, открыв портсигар,
папиросы.

Ах, когда я сижу за столом
и, молясь, замираю
в неземном,
предлагают мне чаю...

О, я полон огня,
предо мною виденья сияют. . .
Неужели меня
никогда не узнают? . .»

2

Помним всё. Он молчал,
просиявший, прекрасный.
За столом хохотал
кто-то толстый и красный.

Мы не знали тогда ничего.
От пирушки в восторге мы были.
А его,
как всегда, мы забыли.

Он, потупясь, сидел
с робким взором ребенка.
Кто-то пел
звонко.

Вдруг
он сказал, преисполненный муки,
побеждая испуг,
взявши лампу в дрожащие руки:

«Се дарует нам свет
Искупитель,
я не болен, нет, нет:
я — Спаситель. . .»

Так сказав, наклонил
он свой лик многодумный. . .
Я в тоске возопил:
«Он — безумный».

3

Здесь безумец живет.
Среди белых сиреней.
На террасу ведет
ряд ступеней.

За ограду на весь
прогуляться безумец не волен...
Да, ты здесь!
Да, ты болен!

Втихомолку, смешной,
кто-то вышел в больничном халате,
сам не свой,
говорит на закате.

Грусть везде...
Усмиренный, хороший,
пробираясь к воде,
бьет в ладоши.

Что ты ждешь у реки,
еле слышно колебля
тростники,
горьких песен зеленого стебля?

Что, в зеркальность глядясь,
бьешь в усталую грудь ты тюльпаном?
Всплеск, круги... И, смеясь,
утопает, закрытый туманом.

Лишь тюльпан меж осоки лежит
весь измятый, весь алый...
Из больницы служитель бежит
и кричит, торопясь, запоздалый.

Март 1904
Москва

69. ЖЕРТВА ВЕЧЕРНЯЯ

Стоял я дураком
в венце своем огнистом,
в хитоне золотом,
скрепленном аметистом —
один, один, как столб,
в пустынях удаленных, —

и ждал народных толп
коленопреклоненных...
Я долго, тщетно ждал,
в мечту свою влюбленный...
На западе сиял,
смарагдом окаймленный,
мне палевый привет
потухшей чайной розы.
На мой зажженный свет
пришли степные козы.
На мой призыв завыл
вдали трусливый ша́кал...
Я светоч уронил
и горестно заплакал:
«Будь проклят, Вельзевул —
лукавый соблазнитель —
не ты ли мне шепнул,
что новый я Спаситель?..
О проклят, проклят будь!..
Никто меня не слышит...»
Чахоточная грудь
так судорожно дышит.
На западе горит
смарагд бледнозеленый...
На мраморе ланит
пунцовые пионы...
Как сорванная цепь
жемчужин, льются слезы...

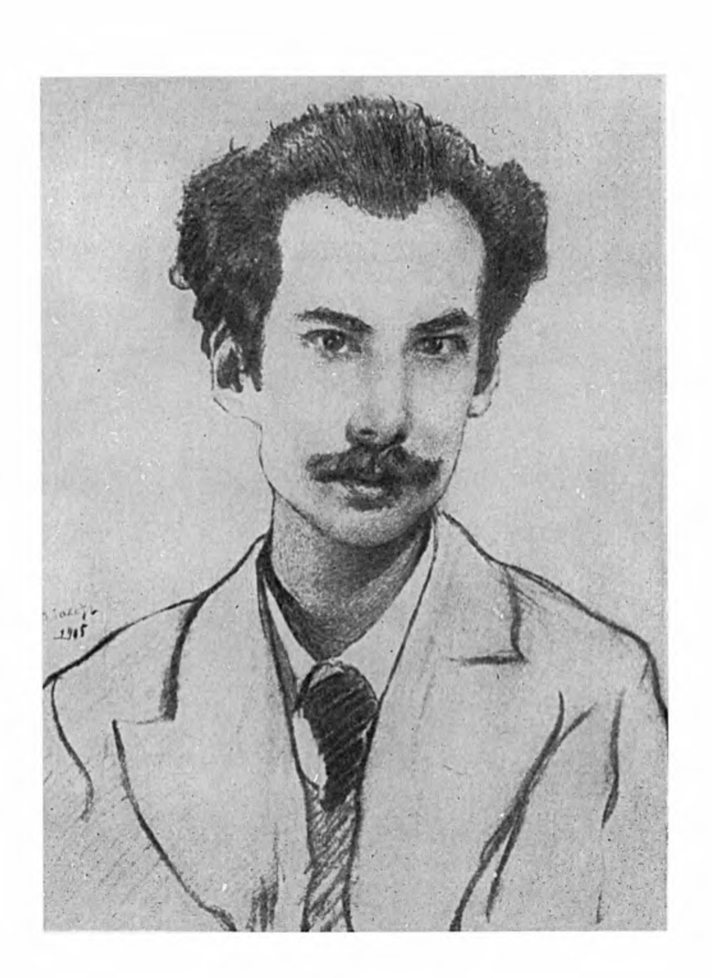
Помчались быстро в степь
испуганные козы.

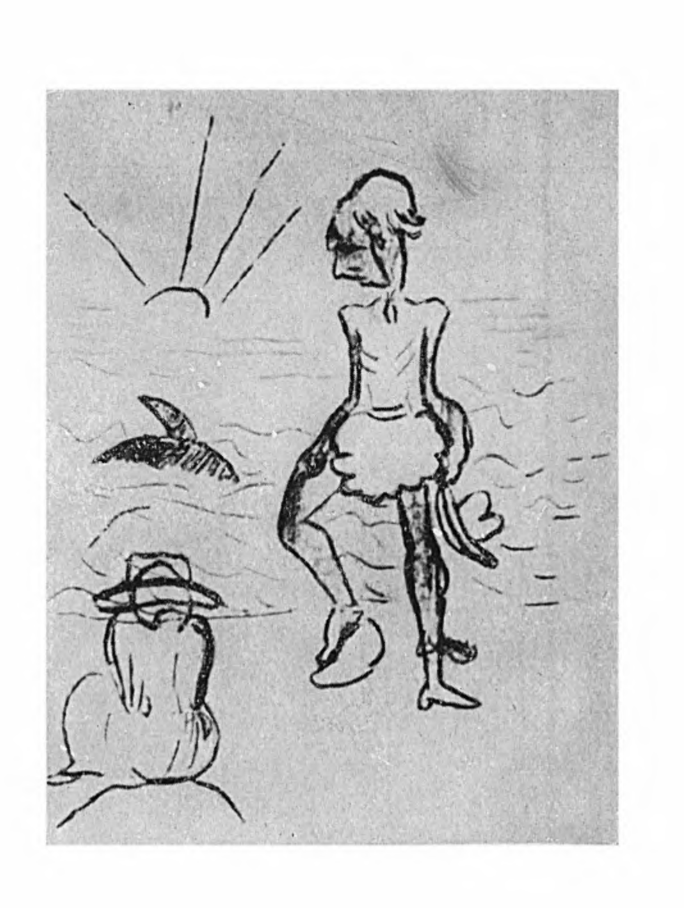
Август 1903
Серебряный Колодезь

70. ЗАБОТА

1

Весь день не стихала работа.
Свозили пшеницу и рожь.
Безумная в сердце забота
бросала то в холод, то в дрожь.





Опять с несказанным волненьем
я ждал появленья Христа.
Всю жизнь меня жгла нетерпеньем
старинная эта мечта.

Недавно мне тайно сказали,
что скоро вернется Христос...
Телеги, скрипя, подъезжали...
Поспешно свозили овес.

С гумна возвращался я к дому,
смотря равнодушно на них,
грызя золотую солому,
духовный цитируя стих.

2

Сегодня раздался вдруг зов,
когда я молился, тоскуя,
средь влажных, вечерних лугов:
«Холодною ночью приду я...»

Всё было в дому зажжено...
Мы в польтах осенних сидели.
Друзья отворили окно...
Поспешно калоши надели.

Смарагдовым светом луна
вдали озаряла избушки.
Призывно раздался с гумна
настойчивый стук колотушки.

«Какие-то люди прошли», —
сказал нам пришедший рабочий.
И вот с фонарями пошли,
воздевши таинственно очи.

Мы вышли на холод ночной.
Луна покраснела над степью.
К нам пес обозленный цепной
кидался, звеня своей цепью.

Бледнели в руках фонари...
Никто нам в ночи не ответил...
Кровавую ленту зари
встречал пробудившийся петел.

1903
Серебряный Колодезь

71—73. *БЛОКУ*

1

Один, один средь гор. Ищу Тебя.
В холодных облаках бреду бесцельно.
Душа моя
скорбит смертельно.

Вонзивши жезл, стою на высоте.
Хоть и смеюсь, а на душе так больно.
Смеюсь мечте
своей невольно.

О, как тяжел венец мой золотой!
Как я устал!.. Но даль пылает.
Во тьме ночной
мой рог взывает.

Я был меж вас. Луч солнца золотил
причудливые тучи в яркой дали.
Я вас будил,
но вы дремали.

Я был меж вас печальнонеземной.
Мои слова повсюду раздавались.
И надо мной
вы все смеялись.

И я ушел. И я среди вершин.
Один, один. Жду знамений нежданных.
Один, один
средь бурь туманных.

Всё как в огне. И жду, и жду Тебя.
И руку простираю вновь бесцельно.
Душа моя
скорбит смертельно.

Сентябрь 1901
Москва

2

Из-за дальних вершин
показался жених озаренный.
И стоял он один,
высоко над землей вознесенный.

Извещалось не раз
о приходе владыки земного.
И в предутренний час
запылали пророчества снова.

И лишь света поток
над горами вознесся сквозь тучи,
он стоял, как пророк,
в багрянице, свободный, могучий.

Вот идет. И венец
отражает зари свет пунцовый.
Се — венчанный телец,
основатель и бог жизни новой.

Май 1901
Москва

3

Суждено мне молчать.
Для чего говорить?
Не забуду страдать.
Не устану любить.

Нас зовут
без конца...
Нам пора...
Багряницу несут
и четыре колючих венца.

Весь в огне
и любви
мой предсмертный, блуждающий взор...
О, приблизься ко мне —
распростертый, в крови,
я лежу у подножия гор.

Зашатался над пропастью я
и в долину упал, где поет ручеек.
Тяжкий камень, свистя,
неожиданно сбил меня с ног —
тяжкий камень, свистя,
разможжил мне висок.

Среди ландышей я —
зазиявший, кровавый цветок.
Не колышется больше от мук
вдруг застывшая грудь.

Не оставь меня, друг,
не забудь! ..

1903
Москва

74. ОДИНОЧЕСТВО

Посвящается В. С. Соловьеву

Я вновь один. Тоскую безнадежно.
Виденья прежних дней,
нас звавшие восторженно и нежно,
рассеялись, лишь стало холодней.

Стою один. Отчетливей, ясней
ловлю полет таинственных годин.
Грядущее мятежно.

Стою один.
Тоскую безнадежно.

Не возродить... Что было, то прошло —
всё время унесло.

Тому, кто пил из кубка огневого,
не избежать безмолвия ночного.

Недолго. Близится. С питьем идет
ко мне. Стучит костями.

Уста мои кровавый огнь сожжет.
Боюсь огня... Вдали, над тополями
двурогий серп вон там горит огнями
средь онемело-мертвенных вершин.
Туман спустился низко.

Один, один,
а смерть так близко.

Сентябрь 1901
Москва

75. ОСЕНЬ

1

Огромное стекло
в оправе изумрудной
разбито вдребезги под силой ветра чудной —

огромное стекло
в оправе изумрудной.

Печальный друг, довольно слез — молчи!
Как в ужасе застывшая зарница,
луны осенней багряница.

Фатою траурной грачи
несутся — затенили наши лица.

Протяжно дальний визг
окрестность опояшет.
Полынь метлой испуганно нам машет.

И красный лунный диск
в разбитом зеркале, чертя рубины, пляшет.

2

В небесное стекло
с размаху свой пустил железный молот...
И молот грянул тяжело.
Казалось мне — небесный свод расколот.

И я стоял,
как вольный сокол.
Беспечно хохотал
среди осыпавшихся стекол.

И что-то страшное мне вдруг
открылось.
И понял я — замкнулся круг,
и сердце билось, билось, билось.

Раздался вздох ветров среди могил: —
«Ведь ты, убийца,
себя убил, —
убийца!»
Себя убил.

За мной пришли. И я стоял,
побитый бурей сокол —
молчал
среди осыпавшихся стекол.

Август 1903
Серебряный Колодезь

76. НА ЗАКАТЕ

Бледнокрасный, весенний закат догорел.
Искрометной росою блистала трава.
На тебя я так грустно смотрел.
Говорил неземные слова.

Замерла ты, уйдя в бесконечный простор.
Я всё понял. Я знал, что расстанемся мы.
Мне казалось — твой тающий взор
видел призрак далекой зимы.

Замолчала... А там степь цвела красотой.
Всё, синея, сливалось с лазурью вдали.
Вдоль заката тоскливой мечтой
догоревшие тучки легли.

Ты, вставая, сказала мне: «Призрак... обман...»
Я поник головой. Навсегда замолчал.
И холодный, вечерний туман
над сырыми лугами вставал.

Ты ушла от меня. Между нами года.
Нас с тобой навсегда разлучили они.
Почему же тебя, как тогда,
я люблю в эти серые дни?

Апрель 1901
Москва

77. ПОДРАЖАНИЕ ВЛ. СОЛОВЬЕВУ

Тучек янтарных гряда золотая
в небе застыла, и дня не вернуть.
Ты настрадалась: усни, дорогая...
Вечер спустился. В тумане наш путь.

Пламенем желтым сквозь ветви магнолий
ярко пылает священный обет.
Тают в душе многолетние боли,
точно звезды пролетающий след.

Горе далекое тучею бурной
к утру надвинется. Ветром пахнёт.
Отблеск зарницы лилово-пурпурной
вспыхнет на небе и грустно заснет.

Здесь отдохнем мы. Луна огневая
не озарит наш затерянный путь.
Ты настрадалась, моя дорогая,
Вечер спускается. Время уснуть.

1902
Москва

78. ЛЮБОВЬ

Был тихий час. У ног шумел прибой.
Ты улыбнулась, молвив на прощанье.
«Мы встретимся... До нового свиданья...»
То был обман. И знали мы с тобой,

что навсегда в тот вечер мы прощались.
Пунцовым пламенем зарделись небеса.
На корабле надулись паруса.
Над морем крики чаек раздавались.

Я вдаль смотрел, щемящей грусти полн.
Мелькал корабль, с зарею уплывавший
средь нежных, изумрудно-пенных волн,
как лебедь белый, крылья распластавший.

И вот его в безбрежность унесло.
На фоне неба бледнозолотистом
вдруг облако туманное взошло
и запылало ярким аметистом.

1901 или 1902
Москва

79. ЯСНОВИДЕНИЕ

Милая, — знаешь ли — вновь
видел тебя я во сне?..
В сердце проснулась любовь.
Ты улыбалася мне.

Где-то в далеких лугах
ветер вздохнул обо мне.
Степь почивала в слезах.
Ты замечталась во сне.

Ты улыбалась, любя,
помня о нашей весне.
Благословляя тебя,
был я весь день, как во сне.

Май 1902
Москва

80. МОИ СЛОВА

Мои слова — жемчужный водомет,
средь лунных снов, бесцельный,
но вспененный, —
капризной птицы лёт,
туманом занесенный.

Мои мечты — вздыхающий обман,
ледник застывших слез, зарей горящий, —
безумный великан,
на карликов свистящий.

Моя любовь — призывно-грустный звон,
что зазвучит и улетит куда-то, —
неясно-милый сон,
уж виданный когда-то.

Май 1901
Серебряный Колодезь

81. С. М. СОЛОВЬЕВУ

Сердце вещее радостно чует
призрак близкой, священной войны.
Пусть холодная вьюга бунтует —
Мы храним наши *белые* сны.
Нам не страшно зловещее око
великана из туч буревых.
Ах, восстанут из тьмы два пророка.
Дрогнет мир от речей огневых.
И на северных бедных равнинах
разлетится их клич боевой
о грядущих, священных годинах,
о последней борьбе мировой.
Сердце вещее радостно чует
признак близкой, священной войны.
Пусть февральская вьюга бунтует —
мы храним наши *белые* сны.

Февраль 1901
Москва

82. РАЗДУМЬЕ

Посвящается памяти
Вл. С. Соловьева

Ночь темна. Мы одни.
Холод. Ветер ночной
деревами шумит. Гасит в поле огни.
Слышен зов: «Не смущайтесь... я с вами...
за мной! ..»

И не знаешь, кто там.
И стоишь, одинок.
И боишься довериться радостным снам.
И с надеждой следишь, как алеет восток.

В поле зов: «Близок день.
В смелых грезах сгори!»
Убегает на запад неверная тень.
И всё ближе, всё ярче сиянье зари.

Дерева шелестят:
«То не сон, не обман. . .»
Потухая, вверху робко звезды блестят. . .
И взывает пророк, проходя сквозь туман.

Февраль 1901

ПЕПЕЛ



Посвящаю эту книгу
памяти Некрасова.

Что ни год — уменьшаются силы,
Ум ленивее, кровь холодней...
Мать-отчизна! Дойду до могилы,
Не дождавшись свободы твоей!
Но желал бы я знать, умирая,
Что стоишь ты на верном пути,
Что твой пахарь, поля засевая,
Видит ведренный день впереди;
Чтобы ветер родного селенья
Звук единый до слуха донес,
Под которым не слышно кипенья
Человеческой крови и слез.

Н. А. Некрасов



РОССИЯ

83. ОТЧАЯНЬЕ

З. Н. Гиппиус

Довольно: не жди, не надейся —
Рассейся, мой бедный народ!
В пространство пади и разбейся
За годом мучительный год!

Века нищеты и безволья.
Позволь же, о родина мать,
В сырое, в пустое раздолье,
В раздолье твое прорыдать: —

Туда, на равнине горбатой, —
Где стая зеленых дубов
Волнуется купой подъятой,
В косматый свинец облаков,

Где по полю Оторопь рыщет,
Восстав сухоруким кустом,
И в ветер пронзительно свищет
Ветвистым своим лоскутом,

Где в душу мне смотрят из ночи,
Поднявшись над сетью бугров,
Жестокие, желтые очи
Безумных твоих кабаков, —

Туда, — где смертей и болезней
Лихая прошла колея, —
Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя!

Июль 1908
Серебряный Колодезь

84. ДЕРЕВНЯ

Г. А. Рачинскому

Снова в поле, обвеваем
Легким ветерком.
Злое поле жутким лаем
Всхлипнет за селом.

Плещут облаком косматым
По полям седым
Избы, роем суковатым
Изрыгая дым.

Ощетинились их спины,
Как сухая шерсть.
День и ночь струят равнины
В них седую персть.

Огоньками злых поверий
Там глядят в простор,
Как растрепанные звери
Пав на лыс-бугор.

Придавила их неволя,
Вы — глухие дни.
За бугром с пустого поля
Мечут головни,

И над дальним перелеском
Просверкает пыл:
Будто змей взлетает блеском
Искрометных крыл.

Журавель кривой подъемлет,
Словно палец, шест.
Сердце оторопь объемлет,
Очи темень ест.

При дороге в темень сухо
Чиркает сверчок.
За деревней тукнет глухо
Дальний колоток.

С огородов над полями
Взмоется лоскут.
Здесь встречают дни за днями:
Ничего не ждут.

Дни за днями, год за годом:
Вновь за годом год.
Недород за недородом.
Здесь — немой народ.

Пожирают их болезни,
Иссушает глаз...
Промерцает в синей бездне —
Продрожит — алмаз,

Да заря багровым краем
Над бугром стоит.
Злое поле жутким лаем
Всхлипнет; и молчит.

1908
Серебряный Колодезь

85. ШОССЕ

Д. В. Философову

За мною грохочущий город
На склоне палящего дня.
Уж ветер в расстегнутый ворот
Прохладой целует меня.

В пространство бежит — убегает
Далекая лента шоссе.
Лишь перепел серый мелькает,
Взлетая, ныряя в овсе.

Рассыпались по полю галки.
В деревне блеснул огонек.
Иду. За плечами на палке
Дорожный висит узелок.

Слагаются темные тени
В узоры промчавшихся дней.
Сижу. Обнимаю колени
На груде дорожных камней.

Сплетается сумрак крылатый
В одно роковое кольцо.
Уставился столб полосатый
Мне цифрой упорной в лицо.

Август 1904
Ефремов

86. НА ВОЛЬНОМ ПРОСТОРЕ

Муни

Здравствуй, —
Желанная
Воля —
Свободная,
Воля
Победная,
Даль осиянная, —
Холодная,
Бледная.

Ветер проносится, желтые травы колебля, —
Цветики поздние, белые.
Пал на холодную землю.

Странны размахи упругого стебля,
Вольные, смелые.

Шелесту внемлю.
Тише...
Довольно:
Цветики
Поздние, бледные, белые,
Цветики,
Тише...
Я плачу: мне больно.

Август 1904
Серебряный Колодезь

87. НА РЕЛЬСАХ

Кублицкой-Пиоттух

Вот ночь своей грудью прильнула
К семье облетевших кустов.
Во мраке ночном утонула
Там сеть телеграфных столбов.

Застыла холодная лужа
В размытых краях колеи.
Целует октябрьская стужа
Обмерзшие пальцы мои.

Привязанность, молодость, дружба
Промчались: развеялись сном.
Один. Многолетняя служба
Мне душу сдавила ярмом.

Ужели я в жалобах слезных
Ненужный свой век провлачу?
Улегся на рельсах железных,
Затих: притаился — молчу.

Зажмурил глаза, но слезою —
Слезой овлажнился мой взор.
И вижу: зеленой иглою
Пространство сечет семафор.

Блеснул огонек, еле зримый,
Протяжно гудит паровоз.
Взлетают косматые дымы
Над купами чахлых берез.

1908
Москва

88. ИЗ ОКНА ВАГОНА

Эллису

Поезд плачется. В дали родные
Телеграфная тянется сеть.
Пролетают поля росяные.
Пролетаю в поля: умереть.

Пролетаю: так пусто, так голо...
Пролетают — вон там и вон здесь —
Пролетают — за селами села,
Пролетает — за весями весь; —

И кабак, и погост, и ребенок,
Засыпающий там у грудей: —
Там — убогие стаи избенок,
Там — убогие стаи людей.

Мать Россия! Тебе мои песни, —
О немая, суровая мать! —
Здесь и глуше мне дай, и безвестней
Непутевую жизнь отрыдать.

Поезд плачется. Дали родные.
Телеграфная тянется сеть —
Там — в пространства твои ледяные
С буреломом осенним гудеть.

Август 1908
Суйда

89. ТЕЛЕГРАФИСТ

С. Н. Величкину

Окрестность леденеет
Туманным октябрем.
Прокружится, провеет
И ляжет под окном, —

И вновь взметнуться хочет
Большой кленовый лист.
Депешами стрекочет
В окне телеграфист.

Служебный лист исчертит.
Руками колесо
Докучливое вертит,
А в мыслях — то и се.

Жена болеет боком,
А тут — не спишь, не ешь,
Прикованный потоком
Летающих депеш.

В окне кустарник малый.
Окинет беглый взгляд —
Протянутые шпалы
В один тоскливый ряд,

Вагон, тюки, брезенты
Да гаснущий закат...
Выкидывает ленты,
Стрекочет аппарат.

В лесу сыром, далеком
Теряются пески,
И еле видным оком
Мерцают огоньки.

Там путь пространства чертит...
Руками колесо
Докучливое вертит;
А в мыслях — то и се.

Детишки бьются в школе
Без книжек (где их взять!):
С семьей прожить легко ли
Рублей на двадцать пять: —

На двадцать пять целковых —
Одежа, стол, жилье.
В краях сырых, суровых
Тянись, житье мое! —

Вновь дали мерит взором: —
Сырой, осенний дым
Над гаснущим простором
Пылит дождем седым.

У рельс лениво всхлипнул
Дугою коренник,
И что-то в ветер крикнул
Испуганный ямщик.

Поставил в ночь над склоном
Шлагбаум пестрый шест:
Ямщик ударил звоном
В простор окрестных мест.

Багрянцем клен промоет —
Промоет у окна.
Домой бы! Дома ноет,
Без дел сидит жена, —

В который раз, в который,
С надутым животом!..
Домой бы! Поезд скорый
В полях вопит свистком;

Клокочут светом окна —
И искр мгновенный сноп
Сквозь дымные волокна
Ударил блеском в лоб.

Гремя, прошли вагоны.
И им пропел рожок.

Зеленый там, зеленый,
На рельсах огонек... —

Стоит он на платформе,
Склонясь во мрак ночной, —
Один, в потертой форме,
Под стужей ледяной.

Слезою взор туманит.
В костях озябших — лом.
А дождик барабанит
Над мокрым козырьком.

Идет (приподнял ворот)
К дежурству — изнемочь.
Вдали уездный город
Кидает светом в ночь.

Всю ночь над аппаратом
Он пальцем в клавиш бьет.
Картонным циферблатом
Стенник ему кивнет.

С речного косогора
В густой, в холодный мрак —
Он видит — семафора
Взлетает красный знак.

Вздыхая, спину клонит;
Зевая над листом,
В небытие утонет,
Затянет вечным сном

Пространство, время, бога
И жизнь, и жизни цель —
Железная дорога,
Холодная постель.

Бессмыслица дневная
Сменяется иной —
Бессмыслица дневная
Бессмыслицей ночной.

Листвою желтой, блеклой,
Слезливой, мертвой мглой
Постукивает в стекла
Октябрьский дождик злой.

Лишь там на водокачке
Моргает фонарек.
Лишь там в сосновой дачке
Рыдает голосок.

В кисейно нежной шали
Девица средних лет
Выводит на рояли
Чувствительный куплет.

1906—1908
Серебряный Колодезь

90. В ВАГОНЕ

Т. Н. Гиппиус

Жандарма потертая форма,
Носильщики, слезы. Свисток —
И тронулась плавно платформа;
Пропел в отдаленье рожок.

В пустое, в раздольное поле
Лечу, свою жизнь загубя:
Прости, не увижу я боле —
Прости, не увижу тебя!

На дальних обрывах откоса
Прошли — промерцали огни;
Мостом прогремели колеса...
Усни, мое сердце, усни!

Несется за местностью местность —
Летит: и летит — и летит.
Упорно в лицо неизвестность
Под дымной вуалью глядит.

Склонилась и шепчет: и слышит
Душа непонятную речь.
Пусть огненным золотом дышит
В поля паровозная печь.

Пусть в окнах шмели искряные
Проносятся в красных роях,
Знакомые лица, дневные,
Померкли в суровых тенях.

Упала оконная рама.
Очнулся — в окне суетня:
Платформа — и толстая дама
Картонками душит меня.

Котомки, солдатские ранцы
Мелькнули и скрылись. . . Ясней
Блесни, пролетающих станций
Зеленая россыпь огней!

Август 1905
Ефремов

91. СТАНЦИЯ

Г. А. Рачинскому

Вокзал: в огнях буфета
Старик почтенных лет
Над жареной котлетой
Колышет эполет.

С ним дама мило шутит,
Обдернув свой корсаж, —
Кокетливо закрутит
Изящный сак-вояж.

А там: — сквозь кустик мелкий
Бредет он большаком [1].
Мигают злые стрелки
Зелененьким глазком.

---

[1] Большая дорога

Отбило грудь морозом,
А некуда идти: —
Склонись над паровозом
На рельсовом пути!

Никто ему не внемлет.
Нигде не сыщет корм.
Вон: — станция подъемлет
Огни своих платформ.

Выходят из столовой
На волю погулять.
Прильни из мглы свинцовой
Им в окна продрожать!

Дождливая окрестность,
Секи-секи их мглой!
Прилипни, неизвестность,
К их окнам ночью злой!

Туда, туда — далеко,
Уходит полотно,
Где в ночь сверкнуло око,
Где пусто и темно.

Один. . . Стоит у стрелки.
Свободен переезд.
Сечет кустарник мелкий
Рубин летящих звезд.

И он на шпалы прянул
К расплавленным огням:
Железный поезд грянул
По хряснувшим костям —

Туда, туда — далеко
Уходит полотно:
Там в ночь сверкнуло око,
Там пусто и темно.

А всё: — в огнях буфета
Старик почтенных лет
Над жареной котлетой
Колышет эполет.

А всё: — среди лакеев,
С сигары армянин
Пуховый пепел свеяв, —
Глотает гренадин.

Дождливая окрестность,
Секи, секи их мглой!
Прилипни, неизвестность,
К их окнам ночью злой!

1908
Серебряный Колодезь

92. КАТОРЖНИК

Н. Н. Русову

Бежал. Распростился с конвоем.
В лесу обагрилась земля.
Он крался над вечным покоем,
Жестокую месть утоля.

Он крался, безжизненный посох
Сжимая холодной рукой.
Он стал на приволжских откосах —
Поник над родною рекой.

На камень упал бел-горючий.
Закутался в серый халат.
Глядел на косматые тучи.
Глядел на багровый закат.

В пространствах, где вспыхивал пламень,
Повис сиротливый дымок.
Он гладил и землю, и камень,
И ржавые обручи ног.

Железные обручи звоном
Упали над склоном речным:
Пропели над склоном зеленым —
Гремели рыданьем родным.

Навек распростился с Сибирью:
Прости ты, родимый острог,
Где годы над водною ширью
В железных цепях изнемог.

Где годы на каменном, голом
Полу он валяться привык:
Внизу — за слепым частоколом —
Качался, поблескивал штык;

Где годы встречал он со страхом
Едва прозябающий день,
И годы тяжелым размахом
Он молот кидал на кремень;

Где годы так странно зияла
Улыбка мертвеющих уст,
А буря плескала-кидала
Дрожащий, безлиственный куст;

Бросали бренчавшие бревна,
Ругаясь, они на баржи,
И берегом — берегом, ровно
Влекли их, упав на гужи;

Где жизнь он кидал, проклиная,
Лихой, клокотавшей пурге,
И едко там стужа стальная
Сжигала ветрами в тайге,

Одежду в клочки изрывая,
Треща и плеща по кустам; —
Визжа и виясь — обвивая, —
Прощелкав по бритым щекам,

Где до крови в холоде мглистом,
Под жалобой плачущий клич,
Из воздуха падая свистом,
Кусал его бешеный бич,

К спине прилипая и кожи
Срывая сырые куски...
И тучи нахмурились строже.
И строже запели пески.

Разбитые плечи доселе
Изъел ты, свинцовый рубец.
Раздвиньтесь же, хмурые ели!
Погасни, вечерний багрец!

Вот гнезда, как черные очи,
Зияя в откосе крутом,
В туман ниспадающей ночи
Визгливо стрельнули стрижом.

Порывисто знаменьем крестным
Широкий свой лоб осенил.
Промчался по кручам отвесным,
Свинцовые воды вспенил.

А к телу струя ледяная
Прижалась колючим стеклом.
Лишь глыба над ним земляная
Осыпалась желтым песком.

Огни показались. И долго
Горели с далеких плотов;
Сурово их темная Волга
Дробила на гребнях валов.

Там искры, провеяв устало,
Взлетали, чтоб в ночь утонуть;
Да горькая песнь прорыдала
Там в синюю, синюю муть.

Там темень протопала скоком,
Да с рябью играл ветерок.
И кто-то стреляющим оком
Из тучи моргнул на восток.

Теперь над волной молчаливо
Качался он желтым лицом.
Плаксивые чайки лениво
Его задевали крылом.

1906—1908
Серебряный Колодезь

93. ВЕЧЕРКОМ

Взвизгнет, свистнет, прыснет, хряснет,
Хворостом шуршит.
Солнце меркнет, виснет, гаснет,
Пав в семью ракит.

Иссыхают в зыбь лохмотьев
Сухо льющих нив
Меж соломы, меж хоботьев,
Меж зыбучих ив —

Иссыхают избы зноем,
Смотрят злым глазком
В незнакомое, в немое
Поле вечерком, —

В небо смотрят смутным смыслом,
Спины гневно гнут;
Да крестьянки с коромыслом
Вниз из изб идут;

Да у старого амбара
Старый дед сидит.
Старый ветер нивой старой
Исстари летит.

Тенью бархатной и черной
Размывает рожь,
Вытрясает треском зерна;
Шукнет — не поймешь:

Взвизгнет, свистнет, прыснет, хряснет,
Хворостом шуршит.
Солнце: — меркнет, виснет, гаснет,
Пав в семью ракит.

Протопорщился избенок
Кривобокий строй,
Будто серых старушонок
Полоумный рой.

1908
Ефремов

94. БУРЬЯН

Г. Г. Шпету

Вчера завернул он в харчевню,
Свой месячный пропил расчет.
А нынче в родную деревню,
Пространствами стертый, бредет.

Клянет он, рыдая, свой жребий.
Друзья и жена далеки.
И видит, как облаки в небе
Влекут ледяные клоки.

Туманится в сырости — тонет
Окрестностей никнущих вид.
Худые былинки наклонит,
Дождями простор запылит —

Порыв разгулявшейся стужи,
В полях разорвется, как плач.
Вон там: — из серебряной лужи
Пьет воду взлохмаченный грач.

Вон там: — его возгласам внемлет
Жилец просыревших полян —
Вон: — колкие руки подъемлет
Обсвистанный ветром бурьян.

Ликует, танцует: «Скитальцы,
Ища свой приют, припадут
Ко мне: мои цепкие пальцы
Их кудри навек оплетут.

Вонзаю им в сердце иглу я...
На мертвых верхах искони.
Целю я, целуя-милуя,
Их раны и ночи, и дни.

Здесь падают иглы лихие
На рыхлый, рассыпчатый лесс;
И шелестом комья сухие
Летят, рассыпаясь в откос.

Здесь буду тебя я царапать, —
Томить, поцелуем клонясь...»
Но топчет истрепанный лапоть
Упорнее жидкую грязь.

Но путник, лихую сторонку
Кляня, убирается прочь.
Бурьян многолетний вдогонку
Кидает свинцовую ночь.

Задушит — затопит туманом:
Стрельнул там летучей иглой...
Прокурит над дальним курганом
Тяжелого олова слой.

Как желтые, грозные бивни,
Размытые в россыпь полей,
С откосов оскалились в ливни
Слои вековых мергелей.

Метется за ним до деревни,
Ликует — танцует репье:
Пропьет, прогуляет в харчевне
Растертое грязью тряпье.

Ждут: голод да холод — ужотко;
Тюрьма да сума — впереди.
Свирепая, крепкая водка,
Огнем разливайся в груди!

1905—1908
Ефремов

95. АРЕСТАНТЫ

В. П. Поливанову

Много, брат, перенесли
На веку с тобою бурь мы.
Помнишь — в город нас свезли.
Под конвоем гнали в тюрьмы.

Била ливнем нас гроза:
И одежда перемокла.
Шел ты, в даль вперив глаза,
Неподвижные, как стекла.

Заковали ноги нам
В цепи.
Вспоминали по утрам
Степи.

За решеткой в голубом
Быстро ласточки скользили.
Коротал я время сном
В желтых клубах душной пыли.

Ты не раз меня будил.
Приносил нам сторож водки.
Тихий вечер золотил
Окон ржавые решетки.

Как с убийцей, с босяком,
С вором,
Распевали вечерком
Хором.

Здесь, на воле, меж степей
Вспомним душные палаты,
Неумолчный лязг цепей,
Наши серые халаты.

Не кручинься, брат, о том,
Что морщины лоб изрыли.
Всё забудем: отдохнем —
Здесь, в волнах седой ковыли.

1904
Серебряный Колодезь

96. ВЕСЕЛЬЕ НА РУСИ

Как несли за флягой флягу —
Пили огненную влагу.

Д'накачался —
Я.
Д'наплясался —
Я.

Дьякон, писарь, поп, дьячок
Повалили на лужок.

Эх —
Людям грех!
Эх — курам смех!

Трепаком-паком размашисто пошли: —
Трепаком, душа, ходи-валяй-вали:

Трепака да на лугах,
Да на межах, да во лесах —

Да обрабатывай!

По дороге ноги-ноженьки туды-сюды пошли,
Да по дороженьке вали-вали-вали —

Да притопатывай!

Что там думать, что там ждать:
Дунуть, плюнуть — наплевать:
Наплевать да растоптать:
Веселиться, пить да жрать.

Гомилетика, каноника —
Раздувай-дува-дувай, моя гармоника!

Дьякон пляшет —
                                        — Дьякон, дьякон —
Рясой машет —
                                    — Дьякон, дьякон —
Что такое, дьякон, смерть?

— «Что такое? То и это:
Носом — в лужу, пяткой — в твердь. . .»

. . . .

Раскидалась в ветре, — пляшет —
Полевая жердь: —

Веткой хлюпающей машет
Прямо в твердь.

Бирюзовою волною
Нежит твердь.

Над страной моей родною
Встала Смерть.

1906
Серебряный Колодезь

97. ОСИНКА

А. М. Ремизову

1

По полям, по кустам,
По крутым горам,
По лихим ветрам,
По звериным тропам
Спешит бобыль-сиротинка
Ко святым местам —

Бежит в пространство
Излечиться от пьянства.

Присел под осинкой
Бобыль-сиротинка.
«Сломи меня в корне», —

Осинка лепечет листвяная —
Лепечет
Ветром пьяная —

Над откосами
В ветре виснет;
Слезными росами
Праздно прыснет —
— «Сломи меня в корне», —

Осинка лепечет.
Осинка — кружев узорней —
Лепечет
В лес, в холод небес,
В холод горний —
— «Сломи меня в корне», —

Осинка лепечет.
Листики пламенные
Мечет
В провалы каменные, —
Всё злей, всё упорней
— «Сломи меня в корне», —

Лепечет:
Бормочет
В сердитой сырости,
Листами трескочет:

«Свой посох
Скорей —
Багрецом перевитый,
Свой посох —

Скорее
Сломи ты: —

Твой посох
В серебре
Да в серебряных росах.

Твой посох
Тебе не изменит: —
Врагов подорожных в пространство
Размечет —
От пьянства
Излечит».

Молчит сиротинка
Да чинит
Свой лапоть
Над склоном зеленым.

Согнется поклоном, —
И хочет
Его молодая осинка
Слезами своими окапать.

2

И срезал осинку
Да с ней и пошел в путь-дороженьку —

По полям, по кустам,
По крутым горам,
По лихим ветрам,

По звериным тропам
Ко святым местам —

Славит господа-боженьку:

«Господи-боженька,
Мой посох
Во слезах —
Во серебряных росах.

Ныне, убоженький,
С откосов
В пустыни
Воздвигаю свой посох.

Господи-боженька,
Ныне сим посохом
Окропляю пространства:
Одеваю пространства
В золотые убранства —

Излечи меня от пьянства!

В путь-дороженьку
Уносите меня, ноженьки, —
По полям, по кустам
Ко святым местам».

8

Привели сиротинку кривые
Ноги
Под склон пологий.

Привели сиротинку сухие
Ветви
В места лихие.

— «Замолю здесь грехи я».

Зашел в кабачишко —
Увязали бутыль
С огневицею —
С прелюбезной сестрицею.

Курил табачишко.
Под вышкой песчаной
Склонил нос багряный
В пыль.

Бобыль —
Пьяница!
У бобыля нос —
Румянится!

— «Ты скажи мне, былиночка,
Как величают места сии?»

Отвечала былиночка:

«Места сии —
Места лихие,
Песчаные:
Здесь шатаются пьяные —

Места лихие
Зеленого Змия».

— «Замолю здесь грехи я!»

4

Плыла из оврага
Вечерняя мгла;
И, булькая, влага
Его обожгла.

Картуз на затылок надвинул,
Лаптями взвевая ленивую пыль.
Лицо запрокинул,
К губам прижимая бутыль.

Шатался детина —
Шатался дорогой кривой;
Вскипела равнина
И взвеяла прах над его головой;

Кивала кручина
Полынной метлой; —

Подсвистнула ей хворостина
В руках багряневшей листвой:
«Ты — мой, сиротина,
Ты — мой!»

Рванулась,
Метнулась,
Помчалась в поля —

Кружится,
Пляшет
Вокруг бобыля:

«Бобыль —
Пьяница:
У бобыля —
Нос румянится» —

Кружится,
Пляшет, —

Рукавами своими
Сухими,
Колючими машет.

На́ смех тучам —
Шутам полевым и шутихам —
Пляшет
По кручам!

Гой еси, широкие поля!
Гой еси, всея Руси поля! —

Не поминайте лихом
Бобыля!

1906
Дедово

98. ПЕСЕНКА КОМАРИНСКАЯ

Шел калика, шел неведомой дороженькой: —
Тень ползучую бросал своею ноженькой.

Протянулись страны хмурые, мордовские —
Нападали силы-прелести бесовские.

Приключилось тут с каликою мудреное:
Уж и кипнем закипала степь зеленая.

Тень возговорит калике гласом велием:
«Отпусти меня, калика, со веселием.

Опостылело житье мне мое скромное,
Я пройдусь себе повадочкою темною».

Да и втапоры калику опрокидывала;
Кафтанишко свой по воздуху раскидывала.

Кулаками-тумаками бьет лежачего —
Вырастает выше облака ходячего.

Над рассейскими широкими раздольями
Как пошла кидаться в люд хрестьянский кольями.

Мужикам, дьякам, попам она поповичам
Из-под ног встает лихим Сморчом-Сморчовичем.

А и речи ее дерзкие, бесовские:
«Заведу у вас порядки не таковские;

Буду водочкой опаивать-угащивать:
Свое брюхо на напастиях отращивать.

Мужичище-кулачище я почтеннейший:
Подпираюсь я дубиной здоровеннейшей»!

Темным вихорем уносит подорожного
Со пути его прямого да не ложного.

Засигает он в кабак кривой дорожкою;
Загуторит, засвистит своей гармошкою:

«Ты такой-сякой комаринский дурак:
Ты ходи-ходи с дороженьки в кабак.

Ай люли-люли люли-люли-люли:
Кабаки-то по всея Руси пошли! . .»

А и жизнь случилась втапоры дурацкая:
Только ругань непристойная, кабацкая.

Кабаки огнем моргают ночкой долгою
Над Сибирью, да над Доном, да над Волгою.

То и свет, родимый, видеть нам прохожего —
Видеть старого калику перехожего.

Всё-то он гуторит, всё-то сказы сказывает,
Всё-то посохом, сердешный, вдаль указывает:

На житье-бытье-де горькое да о́ховое
Нападало тенью чучело гороховое.

Июнь 1907
Петровское

99. НА СКАТЕ

Я всё узнал. На скате ждал.
Внимал: и всхлипнула осинка.
Под мертвым верхом пробежал
Он подовражною тропинкой.

Над головой седой простер
Кремня зубчатого осколок.
Но, побледнев, поймав мой взор,
Он задрожал: пропал меж елок.

Песок колючий и сухой —
Взвивается волной и стонет.
На грудь бурьян, кривой, лихой,
Свой поздний пух — на грудь уронит.

Тоску любви, любовных дней —
Тоску рассей: рассейся, ревность!
Здесь меж камней, меж зеленей
Пространств тысячелетних древность.

Прозябли чахлою травой
Многогребенчатые скаты.
Над ними облак дымовой,
Ворча, встает, как дед косматый.

В полях плывет, тенит, кропит
И под собою даль означит.
На бледной тверди продымит.
Уходит вдаль — дымит и плачет.

Август 1906
Серебряный Колодезь

100. ПУСТЫНЯ

В. Ф. Эрну

Укройся
В пустыне:
Ни зноя,
Ни стужи зимней
Не бойся
Отныне.

О, ток холодный,
Скажи,
Скажи мне —
Куда уносишь?

О брег межи
Пучок
Бесплодный
Колосьев бросишь.

Туда ль, в безмерный
Покой пустынь?
Душа, от скверны, —
Душа — остынь!

И смерти зерна
Покорно
Из сердца вынь.

— А ток холодный
Ковыль уносит.
У ног бесплодный
Пучок
Колосьев бросит...

Эфир; в эфир —
Эфирная дорога.
И вот —
Зари порфирная стезя
Сечет
Сафир сафирного
Чертога.

В пустыне —
Мгла. И ныне
Славит бога
Душа моя!

Остынь —
Страстей рабыня, —
Остынь,
Душа моя!

Струи эфир,
Эфирная пустыня!
Влеки меня,
Сафирная стезя!

— А ток холодный
Ковыль уносит.
У ног бесплодный
Пучок
Колосьев бросит... —

1907
Серебряный Колодезь

101. ГОРЕ

Солнце тонет.
Ветер: — стонет,
Веет, гонит
Мглу.

У околицы,
Пробираясь к селу,
Паренек вздыхает, молится
На мглу.

Паренек уходит во скитаньице;
Белы-руки сложит на груди:

«Мое горе, —
Горе-гореваньице:
Ты за мною,
Горе,
Не ходи!»

Красное садится, злое око.
Горе гложет
Грудь,
И путь —
Далекий.

Белы-руки сложит
На груди:
И не может
Никуда идти:

«Ты за мною,
Горе,
Не ходи».

Солнце тонет.
Ветер стонет,
Ветер мглу
Гонит.

За избеночкой избеночка.
Парень бродит
По селу.
Речь заводит
Криворотый мужичоночка:

«К нам —
В хаты наши!
Дам —
Щей да каши...»

— «Оставь:
Я в Воронеж».
— «Не ходи:
В реке утонешь».

— «Оставь:
Я в Киев».
— «Заходи —
В хату мою:
До зеленых змиев
Напою».

— «Оставь:
Я в столицу».
— «Придешь в столицу:
Попадешь на виселицу...»

Цифрами оскалились версты полосатые,
Жалят ноги путника камни гребенчатые.
Ходят тучи по небу, старые-косматые.
Порют тело белое палки суковатые.

Дорога далека: —
Бежит века.

За ним горе
Гонится топотом.

«Пропади ты, горе,
Пропадом».

Бежит на воле:
Холмы, избенки,
Кустарник тонкий
Да поле.

Распылалось в небе зарево.

Как из сырости
Да из марева
Горю горькому не вырасти!

Январь 1906
Москва

102. РУСЬ

Поля моей скудной земли
Вон там преисполнены скорби.
Холмами пространства вдали
Изгорби, равнина, изгорби!

Косматый, далекий дымок.
Косматые в далях деревни.
Туманов косматый поток.
Просторы голодных губерний.

Просторов простертая рать:
В пространствах таятся пространства.
Россия, куда мне бежать
От голода, мора и пьянства?

От голода, холода тут
И мерли, и мрут миллионы.
Покойников ждали и ждут
Пологие скорбные склоны.

Там Смерть протрубила вдали
В леса, города и деревни,
В поля моей скудной земли,
В просторы голодных губерний.

1908
Серебряный Колодезь

103. РОДИНА

В. П. Свентицкому

Те же росы, откосы, туманы,
Над бурьянами рдяный восход,
Холодеющий шелест поляны,
Голодающий, бедный народ;

И в раздолье, на воле — неволя;
И суровый свинцовый наш край
Нам бросает с холодного поля —
Посылает нам крик: «Умирай —

Как и все умирают. . .» Не дышишь,
Смертоносных не слышишь угроз: —
Безысходные возгласы слышишь
И рыданий, и жалоб, и слез.

Те же возгласы ветер доносит;
Те же стаи несытых смертей
Над откосами косами косят,
Над откосами косят людей.

Роковая страна, ледяная,
Проклята́я железной судьбой —
Мать Россия, о родина злая,
Кто же так подшутил над тобой?

1908
Москва

ДЕРЕВНЯ

104. КУПЕЦ

Прогуляй со мною лето:
Я тебе, дружок,
Канареечного цвета
Заколю платок.

Коль отдашь тугие косы
Мне на ночь одну, —
Сапожки на ноги босы
Сам я натяну.

Коли нонче за целковый
Груди заголишь, —
Под завесою шелкóвой
Ночь со мной поспишь, —

Так ужо из крепких бревен
Сколочу наш дом,
Так ужо с села поповен
В гости призовем.

Ты сумей меня растрогать:
Я — купец богат —
Сею лен, скупаю деготь
И смолю канат.

Борода моя — лопата,
Волосата грудь.
Не гоняюсь за богатой:
Ты моею будь.

Плачет девка, ручки сложит:
«Не томи меня».
Без него прожить не может
Ни едина дня.

Он — высокий, чернобровый,
Статный паренек,
За целковый ей ковровый
Подарил платок.

1908
Серебряный Колодезь

105. СВИДАНИЕ

Сергею Соловьеву

Ряд соломой крытых хижин
Встал со всех сторон.
Под одною, неподвижен,
Притаился он.

Над сквозным зеленым роем
Лепет льющих лоз.
Вьет и моет дымным зноем
Рой сквозных стрекоз.

Средь горшков, помой корытец
Роет землю хряк [1].
Уж алеет алый ситец
Там в дверной косяк.

Рдеет россыпь кос размытых,
Позументов блеск,
Бирюзовых глаз, несытых,
Бирюзовый всплеск.

Средь развешанных лохмотьев
Топчут ноги грязь.
Горсть провеянных хоботьев
Сыплет в коновязь.

---

[1] Боров.

Груди матовым опалом
Дышат из монист.
Под плетнем — навесцем малым —
Молодецкий свист.

Тает трепет слов медовых
В трепетных устах —
В бледнорозовых, в вишневых,
В сладких лепестках.

Под соломенный навесец
Листья льет лоза;
И подъемлет тонкий месяц
Неба бирюза...

1908
Серебряный Колодезь

106. СТАР

Выглянут лихие очи
Из-под камня; вновь
Выглянет грозней, жесточе
Сдвинутая бровь.

И целует, и милует
Девку паренек.
На лужок летит и дует, —
Дышит: ветерок,

Стелет травные атласы.
Не отходит прочь
Старичище седовласый:
«Сердце, не морочь!»

Парень девичий упругий
Обнимает стан.
Перешукнется в испуге
С лебедой бурьян.

Выглянут лихие очи
Из-под камня; вновь

Выглянет грозней, жесточе
Сдвинутая бровь.

Задымят сырые росы
Над сырой травой.
Заплетает девка в косы
Цветик полевой.

Парень девичий упругий
Оплетает стан.
Перешукнется в испуге
С лебедой бурьян.

Отуманен, в сердце ранен,
Стар отходит прочь,
Пал на камень бездыханен:
«Ты пролейся, ночь!

Борода моя — лопата;
Стар купчина я.
Всё — мое: сребро и злато.
Люба — не моя!

И богатство мне — порука ль?»
Ветр летит с реки;
А вокруг танцует куколь,
Плещут васильки.

Тяжело дыша от зноя,
Сел в густую рожь:
«Отточу-точу ужо я, —
Отточу я нож».

Задымят сырые росы
Над сырой травой.
Заплетает девка в косы
Цветик полевой: —

Улыбнется, рассмеется.
Жаворонок — там —
Как взовьется, изольется
Песнью к небесам.

Знойный ток и жжет, и жарит.
Парит: быть грозе.
Тучей встав, она ударит
Молньей в бирюзе.

Светоч бешено багровый
Грохнет, тучи взрыв: —
С кручи куст многовенцовый
Хряснет под обрыв.

1908
Серебряный Колодезь

107. НА ОТКОСЕ

Вот прошел леса и долы.
Подо мной откос.
На реке огонь веселый
Блещет с дальних кос.

В зеленях меж гнезд и норок
Протоптал я стезь.
Берегись ты, лютый ворог,
Берегись, я — здесь.

Близок час: падешь в крови ты
На груди земли,
Здесь падешь, ножом пробитый.
(Ай, люли-люли!)

Ты не бейся, сердце-знахарь.
(Ай, люли-люли!)
За сохой плетется пахарь
Там вдали, вдали.

Отнесу тебя, сердешный,
В прибережный ров.
Будут дни: смиренный, грешный,
Поплетусь в Саров.

День пройдет: вечор на воле!
Лягу под лопух.
Не усну от горькой боли
Да от черных мух.

1906
Москва

108. ПРЕДЧУВСТВИЕ

Паренек плетется в волость
На исходе дня.
На лице его веселость.
Перед ним — поля.

Он надвинул разудало
Шапку набекрень.
На дорогу тень упала: —
Встал корявый пень.

Паренек, сверни с дороги, —
Паренек, сверни!
Ближе черные отроги,
Буераки, пни.

Где-то там тоскливый чибис
Пролетает в высь.
Миловались вы, любились
С девкою надысь —

В колокольчиках, в лиловых,
Грудь к груди прижав,
Средь медвяных, средь медовых,
Средь шелко́вых трав.

Что ж ты вдруг поник тоскливо,
Будто чуя смерть?
Одиноко плещет ива
В голубую твердь.

Вечер ближе. Солнце ниже.
В облаках — огни.
Паренек, сверни — сверни же,
Паренек, сверни!

1908
Суйда

109. УБИЙСТВО

Здравствуй, брат! За око око.
Вспомни: кровь за кровь.
Мы одни. Жилье далеко.
Ей, не прекословь!

Как над этой над лужайкой
Кровь пролью твою. . .
Забавляюсь балалайкой,
Песенки пою.

Веселей ходите, ноги,
Лейся, говор струн!
Где-то там — в пологом логе —
Фыркает табун.

Где-то там — на скате — тройка
В отходящий день
Колокольцем всхлипнет бойко:
Тень-терень-терень! . .

Протеренькай, протереиькай
Прямо на закат!
Покалякаем маленько
Мы с тобою, брат.

Отстегни-ка ворот пестрый:
К делу — что там ждать!
И всадил я ножик вострый
В грудь по рукоять.

Красною струею прыснул
Красной крови ток.
Ножик хряснул, ножик свистнул —
В грудь, в живот и в бок.

Покрывая хрип проклятий,
В бархатную новь
Из-под красной рукояти
Пеной свищет кровь.

Осыпаясь прахом, склоны
Тихо шелестят;
Галки, во́роны, вороны
Стаей налетят.

Неподвижные, как стекла,
Очи расклюют.
Там — вдали, над нивой блеклой,
Там — вдали: поют.

С богом, в путь! Прости навеки!
Ну, не обессудь.
Я бегу, смеживши веки.
Ветер свищет в грудь.

К ясным девкам, к верным любам
Не придет авось, —
Как его стальным я зубом
Просадил насквозь.

1908
Серебряный Колодезь

110. БЕГСТВО

Ноет грудь в тоске неясной.
Путь далек, далек.
Я приду с зарею красной
В тихий уголок.

Девкам в платьицах узорных
Песнь сыграю я.

Вот на соснах — соснах черных —
Пляшет тень моя.

Как ты бьешься, как ты стонешь —
Вижу, слышу я.
Скоро, друг сердечный, сгонишь
Стаю воронья.

Веют ветры. Никнут травки.
Петухи кричат.
Через лес, через канавки —
Прямо на закат.

Ей, быстрей! И в душном дыме
Вижу — городок.
Переулками кривыми
Прямо в кабачок.

1906
Москва

111. В ГОРОДКЕ

Руки в боки: ей, лебедки,
Вам плясать пора.
Наливай в стакан мне водки —
Приголубь, сестра!

Где-то там рыдает звуком,
Где-то там — орган.
Подавай селедку с луком,
Расшнуруй свой стан.

Ты не бойся — не израню:
Дай себя обнять.
Мы пойдем с тобою в баню
Малость поиграть.

За целковым я целковый
В час один спущу,
Как в семейный, как в рублевый
Номер затащу.

Ты, чтоб не было обмана,
Оголись, дружок.
В шайку медную из крана
Брызнет кипяток.

За мое сребро и злато
Мне не прекословь: —
На груди моей косматой
Смой мочалом кровь.

Растрепи ты веник колок,
Кипяток размыль.
Искусает едкий щелок,
Смоет кровь и пыль.

Обливай кипящим пылом.
На́чисто скреби
Спину, грудь казанским мылом:
Полюби — люби!

Я девчоночку другую —
Не тебя — люблю,
Но обновку дорогую
Для тебя куплю.

Хошь я черный вор-мерзавец, —
Об заклад побьюсь,
Что на вас, моих красавиц,
В ночь раскошелюсь.

Ей, откуда, ей — узнай-ка,
Заявился я?
Трынды-трынды балалайка,
Трыкалка моя!

По крутым речным излукам
Пролетит туман...
Где-то там рыдает звуком —
Где-то там — орган.

1908
Серебряный Колодезь

112. В ДЕРЕВНЕ

Ходят плечи, ходят трясом,
Стонет в ночь она, —
Прошушукнет поздним класом
Стебель у окна.

«Ты померкни, свет постылый, —
В вечный темень сгинь!
Нет, не встанет из могилы
Сокол мой: аминь!

Как проходят дни за днями.
Палец жжет кольцо».
Мухи черными роями
Плещут ей в лицо..

Прошушукнет поздним класом
Стебель у окна.
Ходят плечи, ходят трясом, —
Стонет в ночь она.

Стар садится под оконцем
Любу обнимать:
«Задарю тебя червонцем, —
Дай с тобой поспать!»

Но в оправе серебрёной
Стукнул грозен перст.
«Сгинь», — и молоньей зеленой
Небосвод отверст.

«Ты, обитель, богомольца
В скит принять сумей!»
Но, взвивая блеском кольца,
Прыщет в небо змей.

1907
Москва

113. ВИСЕЛИЦА

Жизнь свою вином расслабил
Я на склоне лет.
Скольких бил и что я грабил,
Не упомню — нет.

Под железной под решеткой
Вовсе не уснуть.
Как придут они ужотко
Узел затянуть.

Как там столб дубовый нонче
Врыли в лыс бугор.
Заливайся, песня, звонче!
Вдаль лети же, взор!

Всё не верю — не поверю...
Поздно: срок истек;
И шаги, — шаги у двери;
Заскрипел замок.

Офицер кричит конвойным.
«Сабли наголо!»
И полдневным солнцем, знойным,
Темя обожгло.

Привели. Сухою пылью
Ветер в выси взвил.
Золотой епитрахилью
Поп меня накрыл.

Вот сурово мне холодный
Под нос тычут крест.
Сколько раз я шел, свободный,
Ширью этих мест.

Сколько раз встречал, как зверь, я
В логе белый день,
Прошибал со свистом перья
Меткий мой кремень —

Скольким, скольким певчим птицам.
Вкруг окрестных сел
Скольким, скольким молодицам
Вскидывал подол.

Закрутили петлю ловко.
Леденеет кровь.
Перекинулась веревка.
«Ей, не прекословь!»

Под ногой — сухие корни,
А под носом — смерть.
Выше, виселица, вздерни
В голубую твердь!

Подвели: зажмурюсь, нет ли —
Думать поотвык.
Вот и высунул из петли
Красный свой язык.

1908
Серебряный Колодезь

114. С ВЫСОТЫ

Руки рвут раскрытый ворот.
Через строй солдат
Что глядишь в полдневный город,
Отходящий брат?

В высь стреляют бриллиантом
Там церквей кресты.
Там кутил когда-то франтом
С ней в трахтире ты.

Черные, густые клубы
К вольным небесам
Фабрик каменные трубы
Изрыгают там.

Там несется издалека,
Как в былые дни —

«Распрямись ты, рожь высока,
Тайну сохрани».

Вольный ветр гудит с востока.
Ты и нем, и глух.
Изумрудом плещут в око
Злые горсти мух.

1908
Серебряный Колодезь

ПАУТИНА

115. КАЛЕКА

Там мне кричат издалека,
Что нос мой — длинный, взор — суровый,
Что я похож на паука
И страшен мой костыль дубовый,
Что мне не избежать судьбы,
Что злость в моем потухшем взгляде,
Что безобразные горбы
Торчат и спереди, и сзади...
Так глухо надо мной в дупло
Постукивает дятел пестрый...
Глаза — как ночь; как воск — чело;
На сердце — яд отравы острый;
Угрозою кривится рот;
В ресницах стекленеют слезы...

С зарей проносится и гнет
Едва зеленые березы
Едва запевший ветерок
И кружится на перекрестках,
И плещется там мотылек
На кружевных, сребристых блестках
В косматых лапах паука;
Моя дрожащая рука
Протянется и рвет тенета...
В душе — весенняя тоска:
Душа припоминает что-то.

Подглядываю в мягких мхах,
Весь в лиственном, в прозрачном пухе,

Ребенок в голубых цветах
Там крылья обрывает мухе, —
И тянется к нему костыль,
И вскрикивает он невольно,
И в зацветающую пыль
Спасается — мне стыдно, больно: —
Спасается, в кулак свистя,
И забирается в валежник.

Я вновь один. Срываю я
Мой нежный, голубой подснежник, —

А вслед летят издалека
Трусливые и злые речи,
Что я похож на паука
И что костыль мне вздернул плечи,
Что тихая моя жена,
Потупившись, им рассказала,
Когда над цветником она,
Безропотная, умирала,
Как в мраке неживом, ночном
Над старым мужем — пауком —
Там плакала в опочивальне,
Как изнывала день за днем,
Как становилась всё печальней; —
Как безобразные горбы
С ней на постель ложились рядом,
Как, не снеся своей судьбы,
Утаивала склянку с ядом,
И вот...

Так медленно бреду.
Трещат и цикают стрекозы
Хрустальные — там, на пруду.
В ресницах стекленеют слезы;
Душа потрясена моя.
Похрустывает в ночь валежник.

Я вновь один. Срываю я
Цветок единственный, подснежник.

1908
Москва

116. ВЕСЕННЯЯ ГРУСТЬ

Одна сижу меж вешних верб.
Грустна, бледна: сижу в кручине.
Над головой снеговый серп
Повис, грустя, в пустыне синей.

А были дни: далекий друг,
В заросшем парке мы бродили.
Молчал: но пальцы нежных рук,
Дрожа, сжимали стебли лилий.

Молчали мы. На склоне дня
Рыдал рояль в старинном доме.
На склоне дня ты вел меня,
Отдавшись ласковой истоме,

В зеленоватый полусвет
Прозрачно зыблемых акаций,
Где на дорожке силуэт
Обозначался белых граций.

Теней неверная игра
Под ним пестрила цоколь твердый.
В бассейны ленты серебра
Бросали мраморные морды.

Как снег бледна, меж тонких верб.
Одна сижу. Брожу в кручине.
Одна гляжу, как вешний серп
Летит, блестит в пустыне синей.

Март 1905
Москва

117. ПРЕДЧУВСТВИЕ

Чего мне, одинокой, ждать?
От радостей душа отвыкла...
И бледная старушка мать
В воздушном капоре поникла, —

У вырезанных в синь листов
Завившегося винограда...
Поскрипывающих шагов
Из глубины немого сада

Шуршание: в тени аллей
Урод на костылях, с горбами,
У задрожавших тополей,
Переливающих листами,

Подсматривает всё за мной,
Хихикает там незаметно...
Я руки к выси ледяной
Заламываю безответно.

1906
Москва

118. ПАУК

Нет, буду жить — и буду пить
Весны благоуханный запах.
Пусть надо мной, где блещет нить,
Звенит комар в паучьих лапах.
Пусть на войне и стон, и крик,
И дым пороховой — пусть едок: —
Зажгу позеленевший лик
В лучах, блеснувших напоследок.
Пусть веточка росой блеснет;
Из-под нее, горя невнятно,
Пусть на меня заря прольет
Жемчужно-розовые пятна...
Один. Склонился на костыль.
И страстного лобзанья просит
Душа моя...

И ветер пыль
В холодное пространство бросит, —
В лазуревых просторах носит.

И вижу: —
Ты бежишь в цветах
Под мраморною, старой аркой

В пурпуровых своих шелках
И в шляпе с кисеею яркой.
Ты вот: застенчиво мила,
Склоняешься в мой лед и холод;
Ты не невестой мне цвела:
Жених твой и красив, и молод.
Дитя, о улыбнись, — дитя!
Вот рук — благоуханных лилий —
Браслеты бледные, — блестя,
Снопы лучей озолотили.
Но урони, смеясь сквозь боль,
Туда, где облака-скитальцы, —
Ну, урони желтофиоль
В мои трясущиеся пальцы!
Ты вскрикиваешь, шепчешь мне:
«Там, где ветвей скрестились дуги,
Смотри, — крестовик в вышине
Повис на серебристом круге...»
Смеешься, убегаешь вдаль;
Там улыбнулась в дали вольной.

Бежишь — а мне чего-то жаль.
Ушла — а мне так больно, больно...

Так в бирюзовую эмаль
Над старой, озлащенной башней
Касатка малая взлетит —
И заюлит, и завижжит,
Не помня о грозе вчерашней;
За ней другая — и смотри:
За ней, повизгивая окол,
В лучах пурпуровой зари
Над глянцем колокольных стекол —
Вся черная ее семья...

Грызет меня тоска моя.
И мне кричат издалека, —
Из зарослей сырой осоки,
Что я похож на паука:
Прислушиваюсь... Смех далекий,
Потрескиванье огонька...

Приглядываюсь... Спит река...
В туманах — берегов излучья...

Туда грозит моя рука,
Сухая, мертвая... паучья...

Иду я в поле за плетень.
Рожь тюкает перепелами;
Пред изумленными очами
Свивается дневная сень.
И разольется над лугами
В ночь умножаемая тень —
Там отверзаемыми мглами,
Испепеляющими день.

И над обрывами откоса,
И над прибрежною косой
Попыхивает папироса,
Гремит и плачет колесо.
И зеленеющее просо
Разволновалось полосой...
Невыразимого вопроса —
Проникновение во всё...

Не мирового ль там хаоса
Забормотало колесо?

1908
Москва

119. МАТЬ

Она и мать. Молчат — сидят
Среди алеющих азалий.
В небес темнеющих глядят
Мглу ниспадающей эмали.

«Ты милого, — склонив чепец,
Прошамкала ей мать, — забудешь,
А этот будет, как отец:
Не с костылями век пробудешь».

Над ними мраморный амур.
У ног — ручной, пуховый кролик.
Льет яркордяный абажур
Свой яркордяный свет на столик.

Пьет чай и разрезает торт,
Закутываясь в мех свой лисий;
Взор над верандою простер
В зари порфировые выси.

Там тяжкий месяца коралл
Зловещий вечер к долам клонит.
Там в озера литой металл
Темноты тусклые уронит; —

Тускнеющая дымом ночь
Там тусклые колеблет воды: —
Там — сумерками кроет дочь,
Лишенную навек свободы.

1908
Серебряный Колодезь

120. СУДЬБА

Меж вешних камышей и верб
Отражена ее кручина.
Чуть прозиявший, белый серп
Летит лазурною пустыней —
В просветах заревых огней
Сквозь полосы далеких ливней.

Урод склоняется над ней.
И всё видней ей и противней
Напудренный, прыщавый нос,
Подтянутые, злые губы,
Угарный запах папирос,
И голос шамкающий, грубый,
И лоб недобрый, восковой,

И галстух ярко огневой;
И видит: —

где зеленый сук
Цветами розовыми машет
Под ветром, — лапами паук
На паутинных нитях пляшет;
Слетает с легкой быстротой,
Качается, — и вновь слетает,
И нитью бледно золотой
Качается, а нить блистает:
Слетел, и на цветок с цветка
Ползет по росянистым кочкам.
И падает ее рука
С атласным кружевным платочком:
Платочек кружевной дрожит
На розовых ее коленях;
Беспомощно она сидит
В лиловых, в ласковых сиренях.

Качается над нею нос,
Чернеются гнилые зубы;
Угарной гарью папирос
Растянутые дышат губы;
Взгляд оскорбительный и злой
Впивается холодной мглой,
И голос раздается грубый:
«Любовницей моею будь!»
Горбатится в вечернем свете
В крахмал затянутая грудь
В тяжелом, клетчатом жилете.

Вот над сафьянным башмачком
В лиловые кусты сирени
Горбатым клетчатым комком
Срывается он на колени.
Она сбегает под откос;
Безумие в стеклянном взгляде...
Стеклянные рои стрекоз
Летят в лазуревые глади.

На умирающей заре
Упала (тяжко ей и дурно)

В сырой росе, как серебре,
Над беломраморною урной.

Уж в черной, лаковой карете
Уехал он...
                    В чепце зеленом,
В колеблемом, в неверном свете,
Держа флакон с одеколоном,
Старушка мать над ней сидит,
Вся в кружевах, — молчит и плачет.

То канет в дым, то заблестит
Снеговый серп; и задымит
Туманами ночная даль;
Извечная висит печаль;

И чибис в полунощи плачет...

1906
Москва

121. СВАДЬБА

Мы ждем. Ее всё нет, всё нет...
Уставившись на паперть храма
В свой черепаховый лорнет,
Какая-то сказала дама.

Завистливо: «Si jeune... Quelle ange...»[1]
Гляжу — туманится в вуалях:
Расправила свой флер д'оранж, —
И взором затерялась в далях.

Уж регент, руки вверх воздев,
К мерцающим, златым иконам,
Над клиросом оцепенев,
Стоит с запевшим камертоном.

Уже златит иконостас
Вечеровая багряница.

---

[1] Такая молодая... Какой ангел... (франц.). — *Ред.*

Вокруг уставились на нас
Соболезнующие лица.

Блеск золотых ее колец...
Рыдание сдавило горло
Ее, лишь свадебный венец
Рука холодная простерла.

Соединив нам руки, поп
Вкруг аналоя грустно водит,
А шафер, обтирая лоб,
Почтительно за шлейфом ходит.

Стою я, умилен, склонен,
Обмахиваясь «chapeau-claque'ом»[1].
Осыпала толпа княжон
Нас лилиями, мятой, маком.

Я принял, разгасясь в углу,
Хоть и не без предубежденья,
Напечатленный поцелуй —
Холодный поцелуй презренья.

Между подругами прошла
Со снисходительным поклоном.
Пусть в вышине колокола
Нерадостным вещают звоном, —

Она моя, моя, моя...
Она сквозь слезы улыбнулась.
Мы вышли... Ласточек семья
Над папертью, визжа, метнулась.

Мальчишки, убегая вдаль,
Со смеху прыснули невольно.
Смеюсь, — а мне чего-то жаль.
Молчит, — а ей так больно, больно.

А колокольные кресты
Сквозь зеленеющие ели

---

[1] Складная шляпа, цилиндр на пружинах (франц.). — *Ред.*

С непобедимой высоты
На небесах заогневели.

Слепительно в мои глаза
Кидается сухое лето;
И собирается гроза,
Лениво громыхая где-то.

1905—1908
Серебряный Колодезь

122. ПОСЛЕ ВЕНЦА

Глядят — невеста и жених
Из подвенечной паутины,
Прохаживаясь вдоль куртины,
Колеблемой зефиром; их —

Большой серебряный дельфин,
Плюющийся зеркальным блеском,
Из пурпуро́вых георгин
Окуривает водным блеском.

Медлительно струит фонтан
Шушукающий в выси лепет...
Жених, охватывая стан,
Венчальную вуаль отцепит;

В дом простучали костыли;
Слетела штора, прокачавшись.
Он — в кружевной ее пыли,
К губам губами присосавшись.

Свой купол нежно снеговой
Хаосом пепельным обрушит —
Тот облак, что над головой
Взлетающим зигзагом душит;

И вспучилась его зола
В лучей вечеровые стрелы;
И пепел серый сеет мгла,
Развеивая в воздух белый;

Чтоб неба темная эмаль
В ночи туманами окрепла, —
Там водопадом топит даль
Беззвучно рушимого пепла.

1908
Москва

ГОРОД

123. СТАРИННЫЙ ДОМ

В. Ф. Ходасевичу

Всё спит в молчанье гулком.
За фонарем фонарь
Над Мертвым [1] переулком
Колеблет свой янтарь.

Лишь со свечою дама
Покажется в окне: —
И световая рама
Проходит на стене;

Лишь дворник встрепенется, —
И снова головой
Над тумбою уткнется
В тулуп бараний свой.

Железная ограда;
Старинный барский дом;
Белеет колоннада
Над каменным крыльцом.

Листвой своей поблеклой
Шушукнут тополя.
Луна алмазит стекла,
Прохладный свет лия.

---

[1] Переулок в Москве.

Проходят в окнах светы: —
И выступят из мглы
Кенкэты и портреты,
И белые чехлы.

Мечтательно Полина
В ночном дезабилье
Разбитое пьянино
Терзает в полумгле.

Припоминает младость
Над нотами: «Любовь,
Мечта, весна и сладость —
Не возвратитесь вновь.

Вы где, условны встречи
И вздох: Je t'aime, Poline. . .»[1]
Потрескивают свечи,
Стекает стеарин.

Старинные куранты
Зовут в ночной угар.
Развеивает банты
Атласный пеньюар.

В полуослепшем взоре
Воспоминаний дым,
Гардемарин, и море,
И невозвратный Крым,

Поездки в Дэрикоэ,
Поездки к Учан-Су. . .
Пенснэ лишь золотое
Трясется на носу.

Трясутся папильотки,
Колышется браслет
Напудренной красотки
Семидесяти лет.

---

[1] Я люблю тебя, Полина. . . (франц.). — *Ред.*

Серебряные косы
Рассыпались в луне.
Вот тенью длинноносой
Взлетает на стене.

Рыдает сонатина
Потоком томных гамм.
Разбитое пьянино
Оскалилось — вон там.

Красы свои нагие
Закрыла на груди,
Как шелесты сухие
Прильнули к ней: «Приди, —

Я млею, фея, млею...»
Ей под ноги луна
Атласную лилею
Бросает из окна.

А он, зефира тише,
Наводит свой лорнет:
С ней в затененной нише
Танцует менуэт.

И нынче, как намедни,
У каменных перил
Проходит вдоль передней,
Ища ночных громил.

Как на дворе собаки
Там дружною гурьбой
Пролаяли, — Акакий —
Лакей ее седой,

В потертом, сером фраке,
С отвислою губой: —
В растрепанные баки
Бормочет сам с собой.

Шушукнет за портретом,
Покажется в окне: —

И рама бледным светом
Проходит на стене,

Лишь к стеклам в мраке гулком
Прильнет его свеча...
Над Мертвым переулком
Немая каланча.

Людей оповещает,
Что где-то — там — пожар, —
Медлительно взвивает
В туманы красный шар.

Август 1908
Суйда

124. МАСКАРАД

М. Ф. Ликиардопуло

Огневой крюшон с поклоном
Капуцину черт несет.
Над крюшоном капюшоном
Капуцин шуршит и пьет.

Стройный черт, — атласный, красный, —
За напиток взыщет дань,
Пролетая в нежный, страстный,
Грациозный па д'эспань, —

Пролетает, колобродит,
Интригует наугад.
Там хозяйка гостя вводит.
Здесь хозяин гостье рад.

Звякнет в пол железной злостью
Там косы сухая жердь: —
Входит гостья, щелкнет костью,
Взвеет саван: гостья — смерть.

Гость: — немое, роковое,
Огневое домино —
Неживою головою
Над хозяйкой склонено.

И хозяйка гостя вводит.
И хозяин гостье рад.
Гости бродят, колобродят,
Интригуют наугад.

Невтерпеж седому турке:
Смотрит маске за корсаж.
Обжигается в мазурке
Знойной полькой юный паж.

Закрутив седые баки,
Надушен и умилен,
Сам хозяин в черном фраке
Открывает котильон.

Вея веером пуховым,
С ним жена плывет вдоль стен;
И муаром бирюзовым
Развернулся пышный трэн.

Чей-то голос раздается:
«Вам погибнуть суждено», —
И уж в дальних залах вьется, —
Вьется в вальсе домино

С милой гостьей: желтой костью
Щелкнет гостья: гостья — смерть.
Прогрозит и лязгнет злостью
Там косы сухая жердь.

Пляшут дети в ярком свете.
Обернулся — никого.
Лишь, виясь, пучок конфéтти
С легким треском бьет в него.

«Злые шутки, злые маски», —
Шепчет он, остановясь.
Злые маски строят глазки,
В легкой пляске вдаль несясь.

Ждет. И боком, легким скоком, —
«Вам погибнуть суждено», —

Над хозяйкой ненароком
Прошуршало домино.

Задрожал над бледным бантом
Серебристый позумент;
Но она с атласным франтом
Пролетает в вихре лент.

В бирюзу немую взоров
Ей пылит атласный шарф.
Прорыдав, несутся с хоров, —
Рвутся струны страстных арф.

Подгибает ноги выше,
В такт выстукивает па, —
Ловит бэби в темной нише —
Ловит бэби — grand papa [1].

Плещет бэби дымным тюлем,
Выгибая стройный торс.
И проносят вестибюлем
Ледяной, отрадный морс.

Та и эта в ночь из света
Выбегает на подъезд.
За каретою карета
Тонет в снежной пене звезд.

Спит: и бэби строит куры
Престарелый grand papa.
Легконогие амуры
Вкруг него рисуют па.

Только там по гулким залам —
Там, где пусто и темно —
С окровавленным кинжалом
Пробежало домино.

Июль 1908
Серебряный Колодезь

---

[1] Дедушка (франц.). — *Ред.*

125. МЕЛАНХОЛИЯ

М. Я. Шику

Пустеет к утру ресторан.
Атласами своими феи
Шушукают. Ревет орган.
Тарелками гремят лакеи —

Меж кабинетами. Как тень,
Брожу в дымнотекущей сети.
Уж скоро золотистый день
Ударится об окна эти,

Пересечет перстами гарь,
На зеркале блеснет алмазом...
Там: — газовый в окне фонарь
Огнистым дозирает глазом.

Над городом встают с земли, —
Над улицами клубы гари.
Вдали — над головой — вдали
Обрывки безответных арий.

И жил, и умирал в тоске,
Рыдание не обнаружив.
Там: — отблески на потолке
Гирляндою воздушных кружев

Протянутся. И всё на миг
Зажжется желтоватым светом.
Там — в зеркале — стоит двойник;
Там вырезанным силуэтом —

Приблизится, кивает мне,
Ломает в безысходной муке
В зеркальной, в ясной глубине
Свои протянутые руки.

1904
Москва

126. ОТЧАЯНЬЕ

Е. П. Безобразовой

Веселый, искрометный лед.
Но сердце — ледянистый слиток.
Пусть вьюга белоцвет метет, —
Взревет; и развернет свой свиток.

Срывается: кипит сугроб,
Пурговым кружевом клокочет,
Пургой окуривает лоб,
Завьется в ночь и прохохочет.

Двойник мой гонится за мной;
Он на заборе промелькает,
Скользнет вдоль хладной мостовой
И, удлинившись, вдруг истает.

Душа, остановись — замри!
Слепите, снеговые хлопья!
Вонзайте в небо, фонари,
Лучей наточенные копья!

Отцветших, отгоревших дней
Осталась песня недопета.
Пляшите, уличных огней
На скользких плитах иглы света!

1904
Москва

127. ПРАЗДНИК

В. В. Гофману

Слепнут взоры: а джиорно
Освещен двухсветный зал.
Гость придворный непритворно
Шепчет даме мадригал, —

Контредансом, контредансом
Завиваясь в «chinoise» [1].

[1] Китайский (франц.). — *Ред.*

Искры прыщут по фаянсам,
По краям хрустальных ваз.

Там — вдали — проходит полный
Седовласый кавалер.
У окна вскипают волны
Разлетевшихся портьер.

Обернулся: из-за пальмы
Маска черная глядит.
Плещут струи красной тальмы
В ясный блеск паркетных плит.

«Кто вы, кто вы, гость суровый —
Что вам нужно, домино?»
Но, закрывшись в плащ багровый,
Удаляется оно.

Прислонился к гобелэнам,
Он белее полотна...
А в дверях шуршит уж трэном
Гри-де-перлевым жена.

Искры прыщут по фаянсам,
По краям хрустальных ваз.
Контредансом, контредансом
Вьются гости в «chinoise».

Июль 1908
Серебряный Колодезь

128. ПИР

С. А. Полякову

Проходят толпы с фабрик прочь.
Отхлынули в пустые дали.
Над толпами знамена в ночь
Кровавою волной взлетали.

Мы ехали. Юна, свежа,
Плеснула перьями красотка.
А пуля плакала, визжа,
Над одинокою пролеткой.

Нас обжигал златистый хмель
Отравленной своей усладой.
И сыпалась — вон там — шрапнель
Над рухнувшею баррикадой.

В «Aquarium'e» с ней шутил
Я легкомысленно и метко.
Свой профиль теневой склонил
Над сумасшедшею рулеткой,

Меж пальцев задрожавших взяв
Благоуханную сигару,
Взволнованно к груди прижав
Вдруг зарыдавшую гитару.

Вокруг широкого стола,
Где бражничали в тесной куче,
Венгерка юная плыла,
Отдавшись огненной качуче.

Из-под атласных, темных вежд
Очей метался пламень жгучий;
Плыла: — и легкий шелк одежд
За ней летел багряной тучей.

Не дрогнул юный офицер,
Сердито в пол палаш ударив,
Как из раздернутых портьер
Лизнул нас сноп кровавых зарев.

К столу припав, заплакал я,
Провидя перст судьбы железной:
«Ликуйте, пьяные друзья,
Над распахнувшеюся бездной.

Луч солнечный ужо взойдет;
Со знаменем пройдет рабочий:
Безумие нас заметет —
В тяжелой, в безысходной ночи.

Заутра брызнет пулемет
Там в сотни возмущенных грудей;
Чугунный грохот изольет,
Рыдая, злая пасть орудий.

Метелицы же рев глухой
Нас мертвенною пляской свяжет, —
Заутра саван ледяной,
Виясь, над мертвецами ляжет,
Друзья мои...»

И банк метал
В разгаре пьяного азарта;
И сторублевики бросал;
И сыпалась за картой карта.

И, проигравшийся игрок,
Я встал: неуязвимо строгий,
Плясал безумный кэк-уок,
Под потолок кидая ноги.

Суровым отблеском покрыв,
Печалью мертвенной и блеклой
На лицах гаснущих застыв,
Влилось сквозь матовые стекла —

Рассвета мертвое пятно.
День мертвенно глядел и робко.
И гуще пенилось вино,
И щелкало взлетевшей пробкой.

1905
Москва

129. УКОР

Кротко крадешься креповым трэном,
Растянувшись, как дым, вдоль паркета;
Снеговым, неживым манекеном,
Вся в муар серебристый одета.

Там народ мой — без крова; суровый
Мой народ в униженье и плене.
Тяжелит тебя взор мой свинцовый.
Тонешь ты в дорогом валансьене.

Я в полях надышался свинцами.
Ты — кисейным, заоблачным мифом
Пропылишь мне на грудь кружевами,
Изгибаясь стеклярусным лифом.

Или душу убил этот грохот?
Ты молчишь, легкий локон свивая.
Как фонтан, прорыдает твой хохот,
Жемчуговую грудь изрывая.

Ручек матовый мрамор муаром
Задымишь, запылишь. Ты не слышишь?
Мне в лицо ароматным угаром
Ветер бледнопуховый всколышешь.

<1909>
Серебряный Колодезь

130. ПОДЖОГ

Заснувший дом. Один, во мгле
Прошел с зажженною лучиною.
На бледном, мертвенном челе
Глухая скорбь легла морщиною.

Поджег бумаги. Огонек
Заползал синей, жгучей пчелкою.
Он запер двери на замок,
Объятый тьмой студеной, колкою.

Команда в полночь пролетит
Над мостовой сырой и тряскою; —
И факел странно зачадит
Над золотой, сверкнувшей каскою.

Вот затянуло серп луны.
Хрустальные стрекочут градины.
Из белоструйной седины
Глядят чернеющие впадины.

Седины бьются на челе.
Проходит улицей пустынною...
На каланче в туманной мгле
Взвивается звезда рубинная.

1905
Петербург

131. НА УЛИЦЕ

Сквозь пыльные, желтые клубы
Бегу, распустивши свой зонт.
И дымом фабричные трубы
Плюют в огневой горизонт.

Вам отдал свои я напевы —
Грохочущий рокот машин,
Печей раскаленные зевы!
Всё отдал; и вот — я один.

Пронзительный хохот пролетки
На мерзлой гремит мостовой.
Прижался к железной решетке —
Прижался: поник головой...

А вихри в нахмуренной тверди
Волокна ненастные вьют; —
И клены в чугунные жерди
Багряными листьями бьют.

Сгибаются, пляшут, закрыли
Окрестности с воплем мольбы,
Холодной отравленной пыли —
Взлетают сухие столбы.

1904
Москва

132. ВАКХАНАЛИЯ

И огненный хитон принес,
И маску черную в кардонке.
За столиками гроздья роз
Свой стебель изогнули тонкий.

Бокалы осушал, молчал,
Камелию в петлицу фрака
Воткнул, и в окна хохотал
Из душного, ночного мрака —

Туда, — где каменный карниз
Светился предрассветной лаской, —
И в рдяность шелковистых риз
Обвился и закрылся маской,

Прикидываясь мертвецом...
И пенились — шипели вина.
Возясь, перетащили в дом
Кровавый гроб два арлекина.

Над восковым его челом
Крестились, наклонились оба —
И полумаску молотком
Приколотили к крышке гроба,

Один — заголосил, завыл
Над мертвым на своей свирели;
Другой — цветами перевил
Его мечтательных камелий.

В подставленный сосуд вином
Струились огненные росы,
Как прободал ему жезлом
Грудь жезлоносец длинноносый.

1906
Мюнхен

133. АРЛЕКИНАДА

Посвящается
современным арлекинам

Мы шли его похоронить
Ватагою беспутно сонной.
И в бубен похоронный бить
Какой-то танец похоронный

Вдруг начали. Мы в колпаках
За гробом огненным вопили
И фимиам в сквозных лучах
Кадильницами воскурили.

Мы колыхали красный гроб;
Мы траурные гнали дроги,
Надвинув колпаки на лоб...
Какой-то арлекин убогий —

Седой, полуслепой старик, —
Язвительным, немым вопросом
Морщинистый воскинул лик
С наклеенным картонным носом,

Горбатился в сухой пыли.
Там в одеянии убогом
Надменно выступал вдали
С трескучим, с вытянутым рогом —

Герольд, предвозвещавший смерть;
Там лентою вилась дорога;
Рыдало и гремело в твердь
Отверстие глухого рога.

Так улиц полумертвых строй
Процессия пересекала;
Рисуясь роковой игрой,
Паяц коснулся бледноалой —

Камелии: и встал мертвец,
В туман протягивая длани;
Цветов пылающий венец
Надевши, отошел в тумане: —

Показывался здесь и там;
Заглядывал — стучался в окна;
Заглядывал — врывался в храм,
Сквозь ладанные шел волокна.

Предвозвещая рогом смерть,
О мщении молил он бога:
Гремело и рыдало в твердь
Отверстие глухого рога.

«Вы думали, что умер я —
Вы думали? Я снова с вами.
Иду на вас, кляня, грозя
Моими мертвыми руками.

Вы думали — я был шутом?..
Молю, да облак семиглавый
Тяжелый опрокинет гром
На род кощунственный, лукавый!»

Ноябрь 1906
Мюнхен

134. ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

Опять над нею залучился
Сияньем свадебный венец.
За нею в дрогах я тащился,
Неуспокоенный мертвец.

Сияла грешным метеором
Ее святая красота.
Из впадин ей зияла взором
Моя немая пустота.

Ее венчальные вуали
Проколебались мне в ответ.
Ее глаза запеленали
Воспоминанья прежних лет.

На череп шляпу я надвинул.
На костяные плечи — плед.

Жених бледнел и брови сдвинул,
Как в дом за ними шел я вслед.

И понял он, что обвенчалась
Она не с ним, а с мертвецом.
И молча ярость занималась
Над бледно бешеным лицом.

Над ней склоняюсь с прежней лаской;
И ей опять видны, слышны:
Кровавый саван, полумаска,
Роптанья страстные струны,

Когда из шелестящих складок
Над ней клонюсь я, прежний друг.
И ей невыразимо гадок
С ней почивающий супруг.

1906
Серебряный Колодезь

135. ПОХОРОНЫ

Толпы рабочих в волнах золотого заката.
Яркие стяги свиваются, плещутся, пляшут.

На фонарях, над железной решеткой,
С крыш над домами
Платками
Машут.

Смеркается.
Месяц серебряный, юный
Поднимается.

Темною лентой толпа извивается.
Скачут драгуны.

Вдоль оград, тротуаров, — вдоль скверов,
Над железной решеткой, —
Частый, короткий

Треск
Револьверов.

Свищут пули, кося...
Ясный блеск
Там по взвизгнувшим саблям взвился.

Глуше напев похорон.
Пули и плачут, и косят.
Новые тучи кровавых знамен —
Там, в отдаленье — проносят.

1906
Москва

136

Пока над мертвыми людьми
Один ты не уснул, дотоле
Цепями ржавыми греми
Из башни каменной о воле.

Да покрывается чело, —
Твое чело, кровавым потом.
Глаза сквозь мутное стекло —
Глаза — воздетые к высотам.

Нальется в окна бирюза,
Воздушное нальется злато.
День — жемчуг матовый — слеза —
Течет с восхода до заката.

То серый сеется там дождь,
То — небо голубеет степью.
Но здесь ты, заключенный вождь,
Греми заржавленною цепью.

Пусть утро, вечер, день и ночь —
Сойдут — лучи в окно протянут:
Сойдут — глядят: несутся прочь.
Прильнут к окну — и в вечность канут.

Июнь 1907
Петровское

137. В ЛЕТНЕМ САДУ

Над рестораном сноп ракет
Взвивается струею тонкой.
Старик в отдельный кабинет
Вон тащит за собой ребенка.

Над лошадиною спиной
Оголена, в кисейной пене, —
Проносится — ко мне, за мной!
Проносится по летней сцене.

Прощелкает над ней жокей —
Прощелкает бичом свистящим.
Смотрю... Осанистый лакей
С шампанским пробежал пьянящим.

И пенистый бокал поднес...
Вдруг крылья яркокрасной тоги
Так кто-то над толпой вознес —
Бежать бы: неподвижны ноги.

Тяжелый камень стекла бьет —
Позором купленные стекла.
И кто-то в маске восстает
Над мертвенною жизнью, блеклой.

Волнуются: смятенье, крик.
Огни погасли в кабинете; —
Оттуда пробежал старик
В полузастегнутом жилете, —

И падает, — и пал в тоске
С бокалом пенистым рейнвейна
В протянутой, сухой руке
У тиховейного бассейна; —

Хрипит, проколотый насквозь
Сверкающим, стальным кинжалом:
Над ним склонилось, пролилось
Атласами в сиянье алом —

Немое домино: и вновь,
Плеща крылом атласной маски,
С кинжала отирая кровь,
По саду закружилось в пляске.

1906
Серебряный Колодезь

138. ПРОХОЖДЕНИЕ

Я фонарь
Отдаю изнемогшему брату.

Улыбаюсь в закатный янтарь,
Собираю душистую мяту.

Золотым огоньком
Скорбный путь озаряю.

За убогим столом
С бедняком вечеряю.

Вы мечи
На меня обнажали.

Палачи,
Вы меня затерзали.

Кровь чернела, как смоль,
Запекаясь на язве.

Но старинная боль
Забывается разве?

Чадный блеск, смоляной,
Пробежал по карнизам.

Вы идете за мной,
Прикасаясь к разодранным ризам.

— «Исцели, исцели
Наши темные души...»

Ветер листья с земли
Взвеет шелестом в уши...,

Край пустынен и нем.
Нерассветная твердь.

О, зачем
Не берет меня смерть!

1906
Мюнхен

БЕЗУМИЕ

139. В ПОЛЯХ

Я забыл. Я бежал. Я на воле.
Бледным ливнем туманится даль.
Одинокое, бедное поле,
Сиротливо простертое вдаль.

Не страшна ни печаль, ни тоска мне:
Как терзали — я падал в крови:
Многодробные, тяжкие камни
Разбивали о кости мои.

Восхожу в непогоде недоброй
Я лицом, просиявшим как день.
Пусть дробят приовражные ребра
Мою черную, легкую тень!

Пусть в колючих, бичующих прутьях
Изодрались одежды мои.
Почивают на жалких лоскутьях
Поцелуи холодной зари.

Над простором плету, неподвижен,
Из колючей крапивы венок.
От далеких поникнувших хижин
Подымается тусклый дымок.

Ветер, плачущий брат мой, — здесь тихо.
Ты пролей на меня свою сонь.
Исступленно сухая гречиха
Мечет под ноги яркий огонь.

1907
Париж

140. МАТЕРИ

Я вышел из бедной могилы.
Никто меня не встречал —
Никто: только кустик хилый
Облетевшей веткой кивал.

Я сел на могильный камень...
Куда мне теперь идти?
Куда свой потухший пламень —
Потухший пламень... — нести.

Собрала их ко мне — могила.
Забыли все с того дня.
И та, что — быть может — любила,
Не узнает теперь меня.

Испугаю их темью впадин;
Постучусь — они дверь замкнут.
А здесь — от дождя и градин
Не укроет истлевший лоскут.

Нет. — Спрячусь под душные плиты...
Могила, родная мать,
Ты одна венком разбитым
Не устанешь над сыном вздыхать.

Январь 1907
Париж

141. ПОЛЕВОЙ ПРОРОК

В. В. Владимирову

Средь каменьев меня затерзали:
Затерзали пророка полей.
Я на кость — полевые скрижали —
Проливаю цветочный елей.

Облечен в лошадиную кожу,
Песью челюсть воздев на чело,
Ликованьем окрестность встревожу, —
Как прошло: всё прошло — отошло.

Разразитесь, призывные трубы,
Над раздольем осенних полей!
В хмурый сумрак оскалены зубы
Величавой короны моей.

Поле — дом мой. Песок — мое ложе.
Полог — дым росянистых полян.
Загорбатится с палкой прохожий —
Приседаю покорно в бурьян.

Ныне, странники, с вами я: скоро ж
Дымным дымом от вас пронесусь —
Я — просторов рыдающих сторож,
Исходивший великую Русь.

Январь 1907
Париж

142. УСПОКОЕНИЕ

Ушел я раннею весной.
В руках протрепетали свечи.
Покров линючей пеленой
Обвил мне сгорбленные плечи,

И стан — оборванный платок.
В надорванной груди — ни вздоха.
Вот приложил к челу пучок
Колючего чертополоха;

На леденистое стекло
Ногою наступил и замер...
Там — время медленно текло
Средь одиночных, буйных камер.

Сложивши руки, без борьбы,
Судьбы я ожидал развязки.
Безумства мертвые рабы
Там мертвые свершали пляски:

В своих дурацких колпаках,
В своих ободранных халатах,
Они кричали в желтый прах,
Они рыдали на закатах.

Там вечером, — и нем, и строг —
Вставал над крышами пустыми
Коралловый, кровавый рог
В лазуревом, но душном дыме.

И как повеяло весной,
Я убежал из душных камер;
Упился юною луной;
И средь полей блаженно замер;

Мне проблистала бледность дня;
Пушистой вербой кто-то двигал;
Но вихрь танцующий меня
Обсыпал тучей льдяных игол.

Мне крова душного не жаль.
Не укрываю головы я.
Смеюсь — засматриваюсь вдаль:
Затеплил свечи восковые,

Склоняясь в отсыревший мох;
Кидается на грудь, на плечи —
Чертополох, чертополох:
Кусается, — и гасит свечи.

И вот свеча моя, свеча,
Упала — в слякоти дымится;
С чела, с кровавого плеча
Кровавая струя струится.

Лежу... Засыпан в забытье
И тающим, и нежным снегом,
Слетающим — на грудь ко мне,
К чуть прозябающим побегам.

1904—1906
Москва

143. В ТЕМНИЦЕ

Пришли и видят — я брожу
Средь иглистых чертополохов.
И вот опять в стенах сижу.
В очах — нет слез, в груди — нет вздохов.

Мне жить в застенке суждено.
О да — застенок мой прекрасен.
Я понял всё. Мне всё равно.
Я не боюсь. Мой разум ясен.

Да, — я проклятие изрек
Безумству ввысь взлетевших зданий.
Вам не лишить меня вовек
Зари текучих лобызаний.

Моей мольбой, моим псалмом
Встречаю облак семиглавый,
Да оборвет взрыдавший гром
Дух празднословия лукавый.

Мне говорят, что я — умру,
Что худ я и смертельно болен,
Но я внимаю серебру
Заклокотавших колоколен.

Уйду я раннею весной
В линючей, в пламенной порфире
Воздвигнуть в дали ледяной
Двузвездный, блещущий дикирий.

1907
Москва

144. УТРО

Рой отблесков. Утро: опять я свободен и волен.
Открой занавески: в алмазах, в огне, в янтаре
Кресты колоколен. Я болен? О нет — я не болен.
Воздетые руки горе́ на одре — в серебре.

Там в пурпуре зори, там бури — и в пурпуре бури.
Внемлите, ловите: воскрес я — глядите: воскрес.
Мой гроб уплывет — золотой в золотые лазури.

Поймали, свалили; на лоб положили компресс.

1907
Москва

145. ОТПЕВАНИЕ

Лежу в цветах онемелых,
Пунцовых, —
В гиацинтах розовых и лиловых,
И белых.

Без слов
Вознес мой друг —

Меж искристых блесток
Парчи —

Малиновый пук
Цветов —

В жестокий блеск
Свечи.

Приходите, гостьи и гости, —
Прошепчите «О боже»,
Оставляя в прихожей

Зонты и трости:

Вот — мои кости...

Чтоб услышать мне смех истерический, —
Возложите венок металлический!

Отпевание, рыдания
В сквозных, в янтарных лучах:

До свидания —
В местах,
Где нет ни болезни, ни воздыхания!

Дьякон крякнул,
Кадилом звякнул:

«Упокой, господи, душу усопшего раба
твоего. . .»

Вокруг —
Невеста, любовница, друг
И цветов малиновый пук,

А со мной — никого,
Ничего.

Сквозь горсти цветов онемелых,
Пунцовых —
Савана лопасти —
Из гиацинтов лиловых
И белых —
Плещут в загробные пропасти.

1906
Серебряный Колодезь

146. У ГРОБА

Со мной она —
Она одна.

В окнах весна.
Свод неба синь.
Облака летят.

А в церквах звонят;
«Дилинь динь-динь. . .»

В черном лежу сюртуке,
С желтым —

С желтым
Лицом;
Образок в костяной руке.

Дилинь бим-бом!

Нашел в гробу
Свою судьбу.

Сверкнула лампадка.
Тонуть в неземных
Далях —
Мне сладко.

Невеста моя зарыдала,
Крестя мне бледный лоб.
В креповых, сквозных
Вуалях
Головка ее упала —

В гроб...

Ко мне прильнула:
Я обжег ее льдом.
Кольцо блеснуло
На пальце моем.

Дилинь бимбом!

1906
Серебряный Колодезь

147. ВЫНОС

Венки снимут. —
Гроб поднимут —

Знаю,
Не спросят.

Над головами
Проплываю
За венками —

Выносят —

В дымных столбах,
В желтых свечах,
В красных цветах —

Ах!..

Там колкой
Елкой, —
Там можжевельником
Бросят
На радость прохожим
бездельникам —

Из дому
Выносят.

Прижался
Ко лбу костяному
Венчик.

Его испугался
Прохожий младенчик.

Плыву мимо толп,
Мимо дворни
Лицом —
В телеграфный столб,
В холод горний.

Толпа отступает.
Служитель бюро
Там с иконой шагает,

И плывет серебро
Катафалка.

Поют,
Но не внемлю.

И жалко,

И жалко,
И жалко
Мне землю.

Поют, поют:
В последний
Приют
Снесут
С обедни —

Меня несут
На страшный суд.

Кто-то там шепчет невнятно:
«Твердь — необъятна».

Прильнула и шепчет невнятно
Мне бледная, бледная смерть.

Мне приятно.

На желтом лице моем выпали
Пятна.

Цветами —
Засыпали.
Устами —
Прославили.
Свечами —
Уставили.

1906
Серебряный Колодезь

148. ДРУЗЬЯМ

Н. И. Петровской

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел.

Не смейтесь над мертвым поэтом:
Снесите ему цветок.
На кресте и зимой и летом
Мой фарфоровый бьется венок.

Цветы на нем побиты.
Образок полинял.
Тяжелые плиты.
Жду, чтоб их кто-нибудь снял.

Любил только звон колокольный
И закат.
Отчего мне так больно, больно!
Я не виноват.

Пожалейте, придите;
Навстречу венком метнусь.
О, любите меня, полюбите —
Я, быть может, не умер, быть может,
проснусь —
Вернусь!

Январь 1907
Париж

ПРОСВЕТЫ

149. ПОПОВНА

З. Н. Гиппиус

Свежеет. Час условный.
С полей прошел народ.
Вся в розовом поповна
Идет на огород.

В руке ромашек связка.
Под шалью узел кос.
Букетиками баска —
Букетиками роз.

Как пава, величава.
Опущен шелк ресниц.
Налево и направо
Всё пугала для птиц.

Жеманница срывает
То злак, то василек.
Идет. Над ней порхает
Капустный мотылек.

Над пыльною листвою,
Наряден, вымыт, чист, —
Коломенской верстою
Торчит семинарист.

Лукаво и жестоко
Блестят в лучах зари —
Его младое око
И красные угри.

Прекрасная поповна, —
Прекрасная, как сон,
Молчит, — зарделась, словно
Весенний цвет пион.

Молчит. Под трель лягушек
Ей сладко, сладко млеть.
На лик златых веснушек
Загар рассыпал сеть.

Кругом моркови, репы.
Выходят на лужок.
Танцуют курослепы.
Играет ветерок.

Вдали над косарями
Огни зари горят.
А косы лезвиями —
Горят, поют, свистят.

Там ряд избенок вьется
В косматую синель.
Поскрипывая, гнется
Там длинный журавель [1].

И там, где крест железный, —
Все ветры на закат
Касаток стаи в бездны
Лазуревые мчат.

Не терпится кокетке
(Семь бед — один ответ).
Пришпилила к жилетке
Ему ромашкин цвет.

---

[1] Колодезь.

А он: «Домой бы, Маша,
Чтоб не хватились нас
Папаша и мамаша.
Домой бы: поздний час».

Но розовые юбки
Расправила. В ответ
Он ей целует губки,
Сжимает ей корсет.

Предавшись сладким мукам
Прохладным вечерком,
В лицо ей дышит луком
И крепким табаком.

На баске безотчетно
Раскалывает брошь
Своей рукою потной, —
Влечет в густую рожь.

Молчит. Под трель лягушек
Ей сладко, сладко млеть.
На лик златых веснушек
Загар рассыпал сеть.

Прохлада нежно дышит
В напевах косарей.
Не видит их, не слышит
Отец протоиерей.

В подряснике холщовом
Прижался он к окну:
Корит жестоким словом
Покорную жену.

«Опять ушла от дела
Гулять родная дочь.
Опять не доглядела!»
И смотрит — смотрит в ночь.

И видит сквозь орешник
В вечерней чистоте
Лишь небо, да скворечник
На согнутом шесте.

С дебелой попадьею
Всю ночь бранится он,
Летучею струею
Зарницы осветлен.

Всю ночь кладет поклоны
Седая попадья,
И темные иконы
Златит уже заря.

А там в игре любовной,
Клоня косматый лист,
Над бледною поповной
Склонен семинарист.

Колышется над ними
Крапива да лопух.
Кричит в рассветном дыме
Докучливый петух.

Близ речки ставят верши
В туманных камышах.
Да меркнет серп умерший,
Висящий в облачках.

1906
Москва

150. ТРОЙКА

Ей, помчались! Кони бойко
Бьют копытом в звонкий лед;
Разукрашенная тройка
Закружит и унесет.

Солнце, над равниной кроясь,
Зарумянится слегка.
В крупных искрах блещет пояс
Молодого ямщика.

Будет вечер: опояшет
Небо яркий багрянец.
Захохочет и запляшет
Твой валдайский бубенец.

Ляжет скатерть огневая
На холодные снега.
Загорится расписная
Золотистая дуга.

Кони встанут. Ветер стихнет.
Кто там встретит на крыльце?
Чей румянец ярче вспыхнет
На обветренном лице?

Сядет в тройку. Улыбнется.
Скажет: «Здравствуй, молодец. . .»
И опять в полях зальется
Вольным смехом бубенец.

Июнь 1904
Серебряный Колодезь

151. ЖИЗНЬ

В. И. Иванову

Всю-то жизнь вперед иду покорно я.
Обернуться, вспять идти — нельзя.
Вот она — протоптанная, торная,
Жаром пропыленная стезя!

Кто зовет благоуханной клятвою,
Вздохом сладко вдаль зовет идти,
Чтобы в день безветренный над жатвою
Жертвенною кровью изойти?

Лучевые копья, предзакатные.
Изорвали грудь своим огнем.
Напоили волны перекатные
Ароматно веющим вином.

Как зарей вечернею, зеленою, —
Как поет восторг, поет в груди!
Обрывутся полосой студеною
Надо мной хрустальные дожди.

Всё поля — кругом поля горбатые,
В них найду покой себе — найду:
На сухие стебли, узловатые,
Как на копья острые, паду.

Август 1906
Серебряный Колодезь

152. ВЕЧЕР

Вечер. Коса золотистая,
Видишь, — в лесу замелькала осиновом.

Ветка далекая,
Росистая,
Наклоняется
В небе малиновом.

И сорока качается
На ней белобокая.

Слежу за малюткою:
С видом рассеянным
То постоит
Над незабудкою,
То побежит
За одуванчика пухом развеянным.

Милая, ясная,
Синеокая, —
Засмотрелась, как белочка красная
Проскакала по веточке, цокая.

Ласковый, розовоматовый
Вечер.
В небо вознесся агатовый
Блещущий глетчер.

1906
Дедово

153. РАБОТА

П. И. Астрову

На дворе с недавних пор
В услуженье ты у прачки.
День-деньской свожу на двор
Кирпичи для стройки в тачке.

День-деньской колю дрова,
Отогнав тревогу.
Все мудреные слова
Позабыл, ей богу!

От зари до поздних рос
Труд мой легок и налажен.
Вот согнулся я, и тес
Под рубанком срезан, сглажен.

Вдоль бревна скользит рубанок,
Завивая стружки.
Там в окне я из-за банок
Вижу взгляд подружки.

Там глядишь ты из угла
На зеленые березки. . .
С легким присвистом пила,
Накалясь, вопьется в доски.

Растяжелым утюгом
Обжигаешься и гладишь.
Жарким, летним вечерком
Песенку наладишь: —

Подхвачу... Так четко бьет
Молоток мой по стамеске:
То взлетит, то упадет,
Проблистав в вечернем блеске.

1904
Ефремов

154. ВСЁ ЗАБЫЛ

Г. Гюнтеру

Я без слов: я не могу.
Слов не надо мне.

На пустынном берегу
Я почил во сне.

Не словам, — молчанью, брат,
О, внемли, внемли.

Мы — сияющий закат,
Взвеянный с земли.

Легких воздухов крутят
Легкие моря.

Днем и сумраком объят, —
Я, как ты, — заря.

Это я плесну волной
Ветра в голубом.

Говорю тебе одно,
Но смеюсь — в другом.

Пью закатную печаль —
Красное вино.

Знал: забыл — забыть не жаль —
Всё забыл давно.

Март 1906
Москва

155. КРОТКИЙ ОТДЫХ

Я изранен в неравном бою.
День мой труден и горек.
День пройдет: я тебя узнаю
В ласке тающих зорек.

От докучных вопросов толпы
Я в поля ухожу без ответа:
А в полях — золотые снопы
Беззакатного света.

Дробный дождик в лазурь
Нежным золотом сеет над нами:
Бирюзовые взоры не хмурь —
Процелуй, зацелуй ветерками.

И опять никого. Я склонен, —
Я молюсь пролетающим часом.
Только лен
Провевает атласом.

Только луг
Чуть сверкает в сырой паутине,
Только бледно сияющий круг
В безответности синей.

Февраль 1905
Москва

156. ТЫ

Меж сиреней, меж решеток
Бронзовых притих.
Не сжимают черных четок
Пальцы рук твоих.

Блещут темные одежды.
Плещет темный плат.
Сквозь опущенные вежды
Искрится закат.

У могил, дрожа, из келий
Зажигать огни
Ты пройдешь — пройдешь сквозь ели:
Прошумят они.

На меня усталым ликом
Глянешь, промолчишь.
Золотое небо криком
Остро взрежет стриж.

И, нарвав сирени сладкой,
Вновь уйдешь ты прочь.
Над пунцовою лампадкой
Поднимаюсь в ночь.

Саван крест росою кропит,
Щелкнет черный дрозд,
Да сырой туман затопит
На заре погост.

1906
Дедово

157. ОБЕТ

Ты шепчешь вновь: «Зачем, зачем он
Тревожит память мертвых дней?»
В порфире легкой, легкий демон,
Я набегаю из теней.

Ты видишь — мантия ночная
Пространством ниспадает с плеч.
Рука моя, рука сквозная,
Приподняла кометный меч.

Тебе срываю месяц — чашу,
Холодный блеск устами пей...
Уносимся в обитель нашу
Эфиром плещущих степей.

Не укрывай смущенных взоров.
Смотри — необозримый мир.
Дожди летящих метеоров,
Перерезающих эфир,

Протянут огневые струны
На лире, брошенной в миры.
Коснись ее рукою юной:
И звезды от твоей игры —

Рассыплются дождем симфоний
В пространствах горестных, земных:
Там вспыхнет луч на небосклоне
От тел, летящих в ночь, сквозных.

Июль 1907
Москва

ГОРЕМЫКИ

158. ИЗГНАННИК

М. И. Сизову

Покинув город, мглой объятый,
Пугаюсь шума я и грохота.
Еще вдали гремят раскаты
Насмешливого, злого хохота.

Там я года твердил о вечном —
В меня бросали вы каменьями.
Вы в исступленье скоротечном
Моими тешились мученьями.

Я покидаю вас, изгнанник, —
Моей свободы вы не свяжете.
Бегу — согбенный, бледный странник —
Меж золотистых, хлебных пажитей.

Бегу во ржи, межой, по кочкам —
Необозримыми равнинами.
Перед лазурным василечком
Ударюсь в землю я сединами.

Меня коснись ты, цветик нежный.
Кропи, кропи росой хрустальною!
Я отдохну душой мятежной,
Моей душой многострадальною.

Заката теплятся стыдливо
Жемчужно розовые полосы.
И ветерок взовьет лениво
Мои серебряные волосы.

Июнь 1904
Москва

159. БЕГСТВО

Шоссейная вьется дорога.
По ней я украдкой пошел.
Вон мертвые стены острога,
Высокий, слепой частокол.

А ветер обшарит кустарник.
Просвистнет вдогонку за мной.
Колючий, колючий татарник
Протреплет рукой ледяной,

Тоскливо провьется по полю;
Так сиверко в уши поет.
И сердце прославит неволю
Пространств и холодных высот.

Я помню: поймали, прогнали —
Вдоль улиц прогнали на суд.
Босые мальчишки кричали:
«Ведут — арестанта ведут».

Усталые ноги ослабли,
Запутались в серый халат.
Качались блиставшие сабли
Угрюмо молчавших солдат;

Песчанистой пыли потоки,
Взвивая сухие столбы,
Кидались на бритые щеки,
На мертвые, бледные лбы.

Как шли переулком горбатым,
Глядел, пробегая, в песок
Знакомый лицом виноватым,
Надвинув на лоб котелок.

В тюрьму засадили. Я днями
Лежал и глядел в потолок...
Темнеет. Засыпан огнями
За мной вдалеке городок.

Ночь кинулась птицею черной
На отсветы зорь золотых.
Песчаника круглые зерна
Зияют на нивах пустых.

Я тенью ночной завернулся.
На землю сырую пал ниц.
Безжизненно в небо уткнулся
Церковный серебряный шпиц.

И ветел старинные палки;
И галки, — вот там, и вот здесь;
Подгорные, длинные балки [1]:
Пустынная, торная весь.

Сердитая черная туча.
Тревожная мысль о былом.
Камней придорожная куча,
Покрытая белым крестом:

С цигаркой в зубах среди колец
Табачных в просторе равнин,
Над нею склонил богомолец
Клоки поседевших седин.

Россия, увидишь и любишь
Твой злой полевой небосклон.
«Зачем ты, безумная, губишь» —
Гармоники жалобный стон;

---

[1] Овраги.

Как смотрится в душу сурово
Мне снова багровая даль!
Страна моя хмурая, снова
Тебя ли я вижу, тебя ль?!

Но слышу, бездомный скиталец,
Погони далекую рысь,
Как в далях шлагбаум свой палец
Приподнял в холодную высь.

1906
Малевка

160. В ПОЛЯХ

В далях селенье
Стеклами блещет надгорное.

Рад заведенье
Бросить свое полотерное.

Жизнь свою муча,
Годы плясал над паркетами.

Дымная туча
Вспыхнула душными светами.

Воля ты, воля:
Жизнь подневольная минула.

Мельница с поля
Руки безумные вскинула.

В ветре над логом
Дикие руки кувыркает.

В логе пологом
Лошадь испуганно фыркает.

Нивой он, нивой
Тянется в дальнюю сторону.

Свищет лениво
Старому черному ворону.

1906
Москва

161. ХУЛИГАНСКАЯ ПЕСЕНКА

Жили-были я да он:
Подружились с похорон.

Приходил ко мне скелет
Много зим и много лет.

Костью крепок, сердцем прост —
Обходили мы погост.

Поминал со смехом он
День веселых похорон: —

Как несли за гробом гроб,
Как ходил за гробом поп:

Задымил кадилом нос.
Толстый кучер гроб повез.

«Со святыми упокой!»
Придавили нас доской.

Жили-были я да он.
Тили-тили-тили-дон!

Июль 1906
Серебряный Колодезь

162. ПУТЬ

Измерили верные ноги
Пространств разбежавшихся вид.
По твердой, как камень, дороге
Гремит таратайка, гремит.

Звонит колоколец невнятно.
Я болен — я нищ — я ослаб.
Колеблются яркие пятна
Вон там разоравшихся баб.

Меж копен озимого хлеба
На пыльный, оранжевый клен
Слетела из синего неба
Чета ошалелых ворон.

Под кровлю взойти да поспать бы,
Да сутки поспать бы сподряд.
Но в далях деревни, усадьбы
Стеклом искрометным грозят.

Чтоб бранью сухой не встречали,
Жилье огибаю, как трус, —
И дале — и дале — и дале —
Вдоль пыльной дороги влекусь.

1906
Дедово

163. ВСПОМНИ!

Вспомни: ароматным летом
В сад ко мне, любя,
Шла: восток ковровым светом
Одевал тебя.

Шла стыдливо, — вся в лазурных
В полевых цветах —
В дымовых, едва пурпурных,
В летних облачках.

Вспомни: нежный твой любовник,
У ограды ждал.
Легкий розовый шиповник
В косы заплетал.

Вспомни ласковые встречи —
Вспомни: видит бог, —
Эти губы, эти плечи
Поцелуем жег.

Страсти пыл неутоленной —
Нет, я не предам!..
Вон ромашки пропыленной —
Там — и там: и там —

При дороге ветром взмыло
Мертвые цветы.
Ты не любишь: ты забыла —
Всё забыла ты.

1906
Мюнхен

164. ПОБЕГ

Твои очи, сестра, остеклели:
Остеклели — глядят, не глядят.
Слушай! Ели, ветвистые ели
Непогодой студеной шумят.

Что уставилась в дальнюю просинь
Ты лицом, побелевшим, как снег.
Я спою про холодную осень, —
Про отважный спою я побег.

Как в испуге, схватившись за палку,
Крикнул доктор: «Держи их, держи!»
Как спугнули голодную галку,
Пробегая вдоль дальней межи —

Вдоль пустынных, заброшенных гумен.
Исхлестали нас больно кусты.

Но, сестра: говорят, я безумен;
Говорят, что безумна и ты.

Про осеннюю мертвую скуку
На полях я тебе пропою.
Дай мне бледную, мертвую руку —
Помертвевшую руку свою:

Мы опять убежим; и заплещут
Огневые твои лоскуты.
Закружатся, заплещут, заблещут,
Затрепещут сухие листы.

Я бегу... А ты?

1906
Москва

165. ОСЕНЬ

Мои пальцы из рук твоих выпали.
Ты уходишь — нахмурила брови.

Посмотри, как березки рассыпали
Листья красные дождиком крови.

Осень бледная, осень холодная,
Распростертая в высях над нами.

С горизонтов равнина бесплодная
Дышит в ясную твердь облаками.

1906
Мюнхен

166. ВРЕМЯ

1

Куда ни глянет
Ребенок в детстве,
Кивая, встанет
Прообраз бедствий.

А кто то, древний,
Полночью душной
Окрест в деревни
Зарницы точит —

Струей воздушной
В окно бормочет:

«В моем далеком
Краю истают
Годины.

Кипя, слетают
Потоком
Мои седины:

Несут, бросают
Туда:
Слетают
Года —

Туда, в стремнины. . .»

Слетают весны.
Слетают зимы.
Вскипают сосны.

Ты кто, родимый?

— «Я — время. . .»

2

Много ему, родненькому, лет:
Волосы седые, как у тучек.

Здравствуй, дед!
— Здравствуй, внучек!

— Хочешь, дам тебе цветок:
Заплету лазуревый венок.

Аукается да смеется,
Да за внучком, шамкая, плетется.

Он ли утречком румяным — нам клюкою не грозит?
Он ли ноченькою темной под окошком не стучит.

Хата его кривенькая с краю:
Прохожу — боюсь: чего — не знаю.

3

Как токи бури,
Летят годины.

Подкосит ноги
Старик и сбросит
В овраг глубокий, —
Не спросит.
Власы в лазури —
Как туч седины.

Не серп двурогий —
Коса взлетела
И косит.

Уносит зимы.
Уносит весны.
Уносит лето.

С косой воздетой
Укрылся в дымы:
Летит, покрытый
Туманным мохом.

Коси, коси ты, —
Коси ты,
Старик родимый!

Паду со вздохом
Под куст ракиты.

4

Пусть жизни бремя
(Как тьмой объяты)
Нам путь означит,

А Время,
Старик косматый,
Над нами плачет.

Несутся весны.
Несутся зимы.

Коси, коси ты, —
Коси ты,
Старик родимый!

<1909>
Москва

167. УСПОКОЕНИЕ

Л. Л. Кобылинскому

1

Вижу скорбные дали зимы,
Ветер кружева вьюги плетет.

За решеткой тюрьмы
Вихрей бешеный лёт.

Жизнь распыляется сном —
День за днем.

Мучают тени меня
В безднах и ночи, и дня.

Плачу: мне жалко
Былого.

Времени прялка
Вить
Не устанет нить
Веретена рокового.

Здесь ты терзайся, юдольное племя:
В окнах тюрьмы —
Саван зимы.

Время,
Белые кони несут;
Грива метельная в окна холодные просится;

Скок бесконечных минут
В темные бездны уносится.

Здесь воздеваю бессонные очи, —
Очи,
Полные слез и огня.

Рушусь извечно в провалы я ночи
Здесь с догорающим отсветом дня.

В окнах тюрьмы —
Скорбные дали, —
Вуали
Зимы.

2

Ночь уходит. Луч денницы
Гасит иглы звезд.

Теневой с зарей ложится
Мне на грудь оконный крест.

Пусть к углу сырой палаты
Пригвоздили вновь меня:

Улыбаюсь я, распятый —
Тьмой распятый в блеске дня.

Простираю из могилы
Руки кроткие горé,

Чтоб мой лик нездешней силой
Жег и жег, и жег в заре,

Чтоб извечно в мире сиром,
Вечным мертвецом,

Повисал над вами с миром
Мертвенным челом —

На руках своих пронзенных,
В бледном блеске звезд...

Вот на плитах осветленных
Теневой истаял крест: —

Гуще тени. Ярче звуки.
И потоки тьмы.

Распластал бесцельно руки
На полу моей тюрьмы.

3

Плачу. Мне жалко
Света дневного.

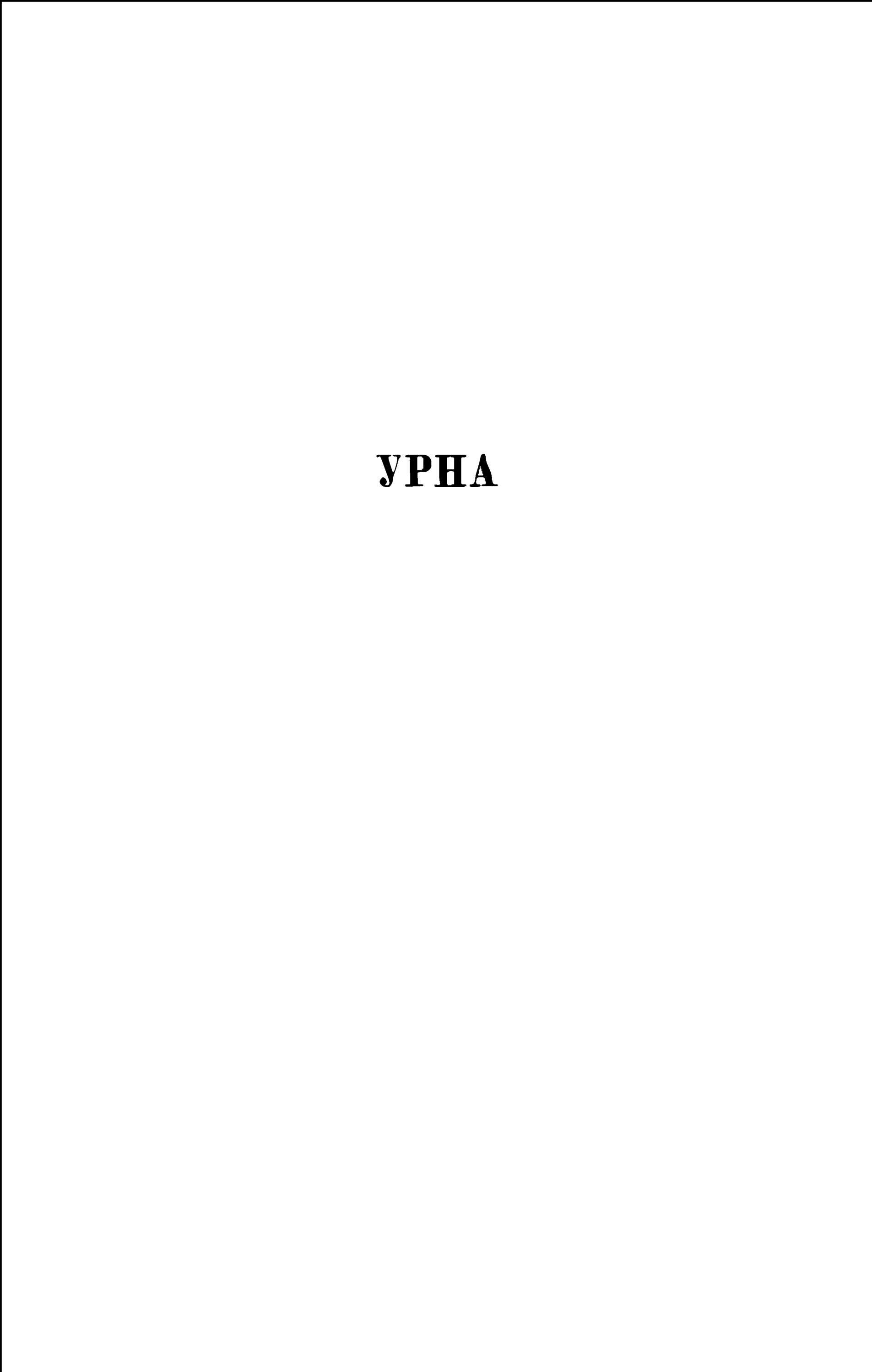
Времени прялка
Вновь начинает вить
Нить
Веретена рокового.

Время белые кони несут:
В окна грива метельная просится;

Скок бесконечных минут
В неизбежность уносится.

Воздеваю бессонные очи —
Очи,
Полные слез, и огня,
Я в провалы зияющей ночи,
В вечереющих отсветах дня.

1905
Москва



УРНА

Посвящаю эту книгу
Валерию Брюсову

Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней...

Баратынский

168. ПОЭТ

Ты одинок. И правишь бег
Лишь ты один — могуч и молод —
В косматый дым, в атласный снег
Приять вершин священный холод.

В горах натянутый ручей
Своей струею серебристой
Поет — тебе: и ты — ничей —
На нас глядишь из тучи мглистой.

Орел вознесся в звездный день
И там парит, оцепенелый.
Твоя распластанная тень
Сечет ледник зеркально-белый.

Закинутый самой судьбой
Над искристым и льдистым пиком,
Ты солнце на старинный бой
Зовешь протяжным, вольным криком.

Полудень: стой — не оборвись,
Когда слетит туманов лопасть,
Когда обрывистая высь
Разверзнет под тобою пропасть.

Но в море золотого льда
Падет бесследно солнце злое.
Промчатся быстрые года
И канут в небо голубое.

1904
Москва

169. СОЗИДАТЕЛЬ

Грустен взор. Сюртук застегнут.
Сух, серьезен, строен, прям —

Ты над грудой книг изогнут,
Труд несешь грядущим дням.

Вот бежишь: легка походка;
Вертишь трость — готов напасть.

Пляшет черная бородка,
В острых взорах власть и страсть.

Пламень уст — багряных маков —
Оттеняет бледность щек.

Неизменен, одинаков,
Режешь времени поток.

Взор опустишь, руки сложишь...
В мыслях — молнийный излом.

Замолчишь и изнеможешь
Пред невеждой, пред глупцом.

Нет, не мысли, — иглы молний
Возжигаешь в мозг врага.

Стройной рифмой преисполни
Вихрей пьяные рога,

Потрясая строгим тоном
Звезды строящий эфир...

СОЗИДАТЕЛЬ.

Грустенъ взоръ. Сюртукъ застегнутъ.
Сухъ, серьезенъ, строенъ, прямъ —
Ты надъ грудой книгъ изогнутъ,
Трудъ несешь грядущимъ днямъ.

Вотъ бѣжишь: летятъ локоны,
Вертишь трость — готовъ напасть.
Пляшутъ черные вопросы,
Въ острыхъ взорахъ власть и страсть.

Плещетъ усъ — багряный пламень —
Отражаетъ блѣдность щекъ.
Неподвиженъ, одинокъ,
Рѣжешь времени потокъ.

Взоръ опустишь, руки сложишь...
Въ мысляхъ — пламенный восторгъ.
Замолчишь и изнеможешь
Предъ невѣждой, предъ глупцомъ.

Нѣтъ, не мысли, — пламя молнiй
Зажигаешь въ мозгъ врага.
Спокойной [illegible] громовой
Вихрей вьющие рога.

Потрясая строгимъ томомъ
Звѣздъ строющiй вихрь...

Гдѣ-то тамъ... за небосклономъ
Засверкаетъ новый мiръ.—

Тамъ за гранью небосклона —
Небо, небо нашихъ душъ:

Ты его въ земное лоно
Рукой алмазной обрушь.

Гдѣ-то новую туманность
Намъ откроетъ астрономъ —

Мiра брачнаго обманность —
Только мысли о [illegible].

Въ строфахъ — ритмы, въ ритмахъ — мысли
Создаютъ новый свѣтъ...

Надъ душой твоей повисли
Новые мiры, поэтъ.

Все лишь символъ... Кто ты? Гдѣ ты?..
Мiръ — Россiя — Петербургъ —

Солнце — дальнiя планеты...
Кто ты? Гдѣ ты, демiургъ?

Ты надъ книгою изогнутъ
Блѣдный оборотень, духъ...

Грустенъ взоръ. Сюртукъ застегнутъ.
Гордъ, серьезенъ, строенъ, сухъ.

1904. Москва.

Где-то там... за небосклоном
Засверкает новый мир; —

Там за гранью небосклона —
Небо, небо наших душ:

Ты его в земное лоно
Рифмой пламенной обрушь.

Где-то новую туманность
Нам откроет астроном: —

Мира бренного обманность —
Только мысль о прожитом.

В строфах — рифмы, в рифмах — мысли
Созидают новый свет....

Над душой твоей повисли
Новые миры, поэт.

Всё лишь символ... Кто ты? Где ты?..
Мир — Россия — Петербург —

Солнце — дальние планеты...
Кто ты? Где ты, демиург?..

Ты над книгою изогнут,
Бледный оборотень, дух...

Грустен взор. Сюртук застегнут.
Горд, серьезен, строен, сух.

Март 1904
Москва

170. МАГ

Упорный маг, постигший числа
И звезд магический узор.
Ты — вот: над взором тьма нависла...
Тяжелый, обожженный взор.

Бегут года. Летят: планеты,
Гонимые пустой волной, —
Пространства, времена... Во сне ты
Повис над бездной ледяной.

Безводны дали. Воздух пылен.
Но в звезд разметанный алмаз
С тобой вперил твой верный филин
Огонь жестоких, желтых глаз.

Ты помнишь: над метою звездной
Из хаоса клонился ты
И над стенающею бездной
Стоял в вуалях темноты.

Читал за жизненным порогом
Ты судьбы мира наизусть...
В изгибе уст безумно строгом
Запечатлелась злая грусть.

Виси, повешенный извечно,
Над темной пляской мировой, —
Одетый в мира хаос млечный,
Как в некий саван гробовой.

Ты шел путем не примиренья —
Люциферическим путем.
Рассейся, бледное виденье,
В круговороте бредовом!

Ты знаешь: мир, судеб развязка,
Теченье быстрое годин —
Лишь снов твоих пустая пляска;
Но в мире — ты, и ты — один,

Всё озаривший, не согретый,
Возникнувший в своем же сне...
Текут года, летят планеты
В твоей несчастной глубине.

1904, 1908
Москва

171. ВСТРЕЧА

Туманы, пропасти и гроты...
Как в воздух, поднимаюсь я
В непобедимые высоты,
Что надо мной и вкруг меня.

Как в воздухе, в луче эфирном
Вознесся белоснежный пик,
И от него хрустальным фирном
Слетает голубой ледник...

У ледяного края бездны
Провеял облак ледяной:
Мгла дымная передо мной...
Ударился о жезл железный
Мой посох бедный, костяной:

И кто-то темный из провала
Выходит, пересекши путь,
И острое вонзилось жало
В мою взволнованную грудь...

Раскатам мстительного смеха,
Раскатам бури снеговой
Ответствует громами эхо...
И катится над головой —

Тяжеловесная лавина,
Но громовой, летящий ком
Оскаленным своим жерлом
Съедает мертвая стремнина.

Глухие стоны урагана
Упали в пасти пропастей,
Скользнули на груди моей,
Свиваясь, лопасти тумана,

Над осветленной крутизной
Истаяв ясными слезами...
И кто же! — брат передо мной
С обезумевшими очами —

Склонился, и железный свой
Он поднял жезл над головой...

Так это — ты?.. Но изумленный,
Безгневный, улыбнулся лик;
И жезл упал окровавленный
На звонкий, голубой ледник.

«Высоких искусов науку
И марева пустынных скал
Мы поняли», — ты мне сказал:
Братоубийственную руку
Я радостно к груди прижал...

Пусть шел ты от одной долины,
Я — от другой (мой путь иной): —
Над этой вечной крутизной
На посох бедный, костяной
Ты обменял свой жезл змеиный.

Нам с высей не идти назад:
Мы смотрим на одни вершины,
Мы смотрим на один закат,
На неба голубые степи; —

И, как безгрешные венцы,
Там ледяных великолепий
Блистают чистые зубцы.

Поэт и брат! В заре порфирной
Теперь идем — скорей, туда —
В зеркальные чертоги льда
Хрустальною дорогой фирна.

1909
Бобровка

ЗИМА

172. ЗИМА

М. А. Волошину

Снега синей, снега туманней;
Вновь освеженней дышим мы.
Люблю деревню, вечер ранний
И грусть серебряной зимы.

Лицо изрежет ветер резкий,
Прохлещет хладом вглубь аллей;
Ломает хрупкие подвески
Леды́ных, звонких хрусталей.

Навеяв синий, синий иней
В стеклянный ток остывших вод,
На снежной, бархатной пустыне
Воздушный водит хоровод.

В темнеющее поле прыснет
Вечерний, первый огонек;
И над деревнею повиснет
В багровом западе дымок;

Багровый холод небосклона;
Багровый отблеск на реке...
Лениво каркнула ворона;
Бубенчик звякнул вдалеке.

Когда же в космах белых тонет
В поля закинутая ель,
Сребро метет, и рвет, и гонит
Над садом дикая метель, —

Пусть грудой золотых каменьев
Вскипит железный мой камин:
Средь пламенистых, легких звеньев
Трескучий прядает рубин.

Вновь упиваюсь, беспечальный,
Я деревенской тишиной;
В моей руке бокал хрустальный
Играет пеной кружевной.

Вдали от зависти и злобы
Мне жизнь окончить суждено.
Одни суровые сугробы
Глядят, как призраки, в окно.

Пусть за стеною, в дымке блеклой,
Сухой, сухой, сухой мороз, —
Слетит веселый рой на стекла
Алмазных, блещущих стрекоз.

1907
Петровское

173–174. *ССОРА*

1

Год минул встрече роковой,
Как мы, любовь лелея, млели,
Внимая вьюге снеговой,
Как в рыхлом пепле угли рдели.

Над углями склонясь, горишь
Ты жарким, ярким, дымным пылом;
Ты не глядишь, не говоришь
В оцепенении унылом.

Взгляни — чуть теплится огонь;
В полях пурга пылит и плачет;
Над крышею пурговый конь,
Железом громыхая, скачет.

Устами жгла давно ли ты
До боли мне уста, давно ли,
Вся опрокинувшись в цветы
Желтофиолей, роз, магнолий.

И отошла... И смотрит зло
В тенях за пламенной чертою.
Омыто бледное чело
Волной волос, волной златою.

Померк воздушный цвет ланит.
Сомкнулись царственные веки.
И всё твердит, и всё твердит:
«Прошла любовь», — мне голос некий.

В душе не воскресила ты
Воспоминанья бурь уснувших...
Но ежели забыла ты
Знаменованья дней минувших, —

И ежели тебя со мной
Любовь не связывает боле, —
Уйду, сокрытый мглой ночной,
В ночное, в ледяное поле:

Пусть ризы снежные в ночи
Вскипят, взлетят, как брошусь в ночь я,
И ветра черные мечи
Прохладным свистом взрежут клочья.

Сложу в могиле снеговой
Любви неразделенной муки...
Вскочила ты, над головой
Свои заламывая руки.

1907
Москва

2

Над крышею пурговый конь
Пронесся в ночь... А из камина
Стреляет шелковый огонь
Струею жалящей рубина.

«Очнись: ты спал, и я спала...»
Не верю ей, сомненьем мучим.
Но подошла, но обожгла
Лобзаньем пламенно текучим.

«Люблю, не уходи же — верь!..»
А два крыла в углу тенистом
Из углей красный, ярый зверь
Развеял в свете шелковистом.

А в окна снежная волна
Атласом вьется над деревней:
И гробовая глубина
Навек разъята скорбью древней...

Сорвав дневной покров, она
Бессонницей ночной повисла —
Без слов, без времени, без дна,
Без примиряющего смысла.

1908
Москва

175. Я ЭТО ЗНАЛ

В окне: там дев сквозных пурга,
Серебряных, — их в воздух бросит;
С них отрясает там снега,
О сучья рвет; взовьет и носит.

Взлетят и дико взвизгнут в ночь,
Заслышав черных ко́ней травлю.
Печальных дум не превозмочь.
Я бурю бешеную славлю.

Когда пойду в ночную ярь,
Чтоб кануть в бархате хрустящем,

Пространство черное, ударь, —
Мне в грудь ударь мечом разящим.

Уснувший дом. И мы вдвоем.
Пришла: «Я клятвы не нарушу! ..»
Глаза: но синим, синим льдом
Твои глаза зеркалят душу.

Давно всё знаю наизусть.
Свершайся, роковая сказка!
Безмерная, немая грусть!
Холодная, немая ласка!

Так это ты (ужель, ужель!),
Моя серебряная дева
(Меня лизнувшая метель
В волнах воздушного напева),

Свивая нежное руно,
Смеясь и плача над поэтом, —
Ты просочилась мне в окно
Снегóвым, хрупким белоцветом?

Пылит кисей кисейный дым.
Как лилия, рука сквозная...
Укрой меня плащом седым,
Приемли, скатерть ледяная.

Заутра твой уснувший друг
Не тронется зеркальным телом.
Повиснет красный, тусклый круг
На облаке осиротелом.

1908
Москва

176. ВЕСНА

Уж оттепельный меркнет день.
Уж синяя на снеге тень.
Как прежде, у окна вдвоем
Попыхиваем огоньком.

Мгла пепельный свой сеет свет.
Уехала она... Но нет —

Не примиренье, не забвенье
В успокоенье чую я.
Из зеркала, грустя, отображенье —
Из зеркала кивает на меня.
И полосы багровые огня,
И отблески далекие селенья, —
Истома улетающего дня...
Рояль... Ревнивое забвенье.

Я говорю себе:
«Друг, взор полуживой закрой:
Печален кругозор сырой,
Печален снеговой простор,
И снеговой сосновый бор,
И каркающий в небе грач,
И крыши отсыревших дач,
И станционный огонек,
И плачущий вдали рожок...»

1908
Москва

177. ВОСПОМИНАНИЕ

Декабрь... Сугробы на дворе...
Я помню вас и ваши речи;
Я помню в снежном серебре
Стыдливо дрогнувшие плечи.

В марсельских белых кружевах
Вы замечтались у портьеры:
Кругом на низеньких софах
Почтительные кавалеры.

Лакей разносит пряный чай...
Играет кто-то на рояли...
Но бросили вы невзначай
Мне взгляд, исполненный печали,

И мягко вытянулись, — вся
Воображенье, вдохновенье, —
В моих мечтаньях воскреся
Невыразимые томленья;

И чистая меж нами связь
Под звуки гайдновских мелодий
Рождалась... Но ваш муж, косясь,
Свой бакен теребил в проходе...

———

Один — в потоке снеговом...
Но реет над душою бедной
Воспоминание о том,
Что пролетело так бесследно.

Сентябрь 1908
Петербург

178. В ПОЛЕ

Чернеют в далях снеговых
Верхушки многолетних елей
Из клокотаний буревых
Сквозных, взлетающих метелей.

Вздыхающих стенаний глас,
Стенающих рыданий мука:
Как в грозный полуночи час
Припоминается разлука!

Непоправимое мое
Припоминается былое...
Припоминается ее
Лицо холодное и злое.

Пусть вечером теперь она
К морозному окну подходит
И видит: мертвая луна...
И волки, голодая, бродят

В серебряных, сквозных полях;
И синие ложатся тени
В заиндевевших тополях;
И желтые огни селений,

Как очи строгие, глядят,
Как дозирающие очи;
И космы бледные летят
В пространства неоглядной ночи.

И ставни закрывать велит...
Как пробудившаяся совесть,
Ей полуночный ветр твердит
Моей глухой судьбины повесть.

Прости же, тихий уголок,
Тебя я покидаю ныне...
О, ледени, морозный ток,
В морозом скованной пустыне!..

1907
Париж

179. СОВЕСТЬ

Я шел один своим путем;
В метель застыл я льдяным комом...
И вот в сугробе ледяном
Они нашли меня под домом.

Им отдал всё, что я принес:
Души расколотой сомненья,
Кристаллы дум, алмазы слез,
И жар любви, и песнопенья,

И утро жизненного дня.
Но стал помехой их досугу.
Они так ласково меня
Из дома выгнали на вьюгу.

Непоправимое мое
Воспоминается былое...
Воспоминается ее
Лицо холодное и злое...

Прости же, тихий уголок,
Где жег я дни в бесцельном гимне!
Над полем стелется дымок.
Синеет в далях сумрак зимний.

Мою печаль, и пыл, и бред
Сложу в пути осиротелом:
И одинокий, робкий след,
Прочерченный на снеге белом, —

Метель со смехом распылит.
Пусть так: немо́тствует их совесть,
Хоть снежным криком ветр твердит
Моей глухой судьбины повесть.

Покоя не найдут они:
Пред ними протекут отныне
Мои засыпанные дни
В холодной, в неживой пустыне...

Всё точно плачет и зовет
Слепые души кто-то давний:
И бледной стужей просечет
Окно под пляшущею ставней.

1907
Париж

180. РАЗДУМЬЕ

Пылит и плачется: расплачется пурга.
Заря багровая восходит на снега.

Ты отошла: ни слова я... Но мгла
Легла суровая, свинцовая — легла.

Ни слова я... И снова я один
Бреду, судьба моя, сквозь ряд твоих годин.

Судьба железная задавит дни мои.
Судьба железная: верни ее — верни!

Лихие шепоты во мгле с лихих полей.
Сухие шелесты слетают с тополей.

Ни слова я... Иду в пустые дни.
Мы в дни погребены: мы искони одни.

Мы искони одни: над нами замкнут круг.
Мой одинокий, мой далекий друг, —

Далек, далек и одинок твой путь:
Нам никогда друг друга не вернуть.

1908
Петербург

181. НОЧЬ

Сергею Кречетову

Хотя бы вздох людских речей,
Хотя бы окрик петушиный:
Глухою тяжестью ночей
Раздавлены лежат равнины.

Разъята надо мною пасть
Небытием слепым, безгрёзным.
Она свою немую власть
Низводит в душу током грозным.

Ее пророческое дно
Мой путь созвездьями означит
Сквозь вихрей бледное пятно.
И зверь испуганный проскачет

Щетинистым своим горбом:
И рвется тень между холмами
Пред ним на снеге голубом
Тревожно легкими скачками:

То опрокинется в откос,
То умаляется под елкой.
Заплачет в зимних далях пес,
К саням прижмется, чуя волка.

Как властны суеверный страх,
И ночь, и грустное пространство,
И зычно вставший льдяный прах —
Небес суровое убранство.

Январь 1907
Париж

182. СМЕРТЬ

Кругом крутые кручи.
Смеется ветром смерть.
Разорванные тучи!
Разорванная твердь!

Лег ризой снег. Зари
Краснеет красный край.
В волнах зари умри!
Умри — гори: сгорай!

Гремя, в скрипящий щебень
Железный жезл впился.
Гряду на острый гребень
Грядущих мигов я.

Броня из крепких льдин.
Их хрупкий, хрупкий хруст.
Гряду, гряду — один.
И крут мой путь, и пуст.

У ног поток мгновений.
Доколь еще — доколь?
Минуют песни, пени,
Восторг, и боль, и боль —

И боль... Но вольно — ах,
Клонюсь над склоном дня,
Клоню свой лик в лучах...
И вот — меня, меня

В край ночи зарубежный,
В разорванную твердь,
Как некий иней снежный,
Сметает смехом смерть.

Ты — вот, ты — юн, ты — молод,
Ты — муж... Тебя уж нет:
Ты — был: и канул в холод,
В немую бездну лет.

Взлетая в сумрак шаткий,
Людская жизнь течет,
Как нежный, снежный, краткий
Сквозной водоворот.

1908
Петербург

РАЗУВЕРЕНЬЯ

183. КОГДА ...

Голос ветра

«Когда сквозных огней
Росы листок зеленый
На мой томящий одр
Нальет и отгорит, —

Когда дневных лучей
Слепящий ток, червленый,
Клоня кленовый лист,
По купам прокипит, —

Когда, багров и чист,
Меня восток приметит,
Когда нальет поток
Своих сквозных огней: —

Твоя душа, твоя,
Мою призывно встретит
(Последних дней моих,
Твоих весенних дней...).

Ну что ж? Тревожишься?
Тревожиться не надо:
Отрада вешняя кругом —
Смотри: зари

Отрада вешняя
Нисходит к нам, отрада.
Теперь склонись, люби,
Лобзай — скажи: «Умри...»

Лобзай меня! Вотще:
И гаснет лик зажженный,
Уже склоненный в сень
Летейской пустоты...

Прости, мой бедный друг!
Прости, мой друг влюбленный!
Тебе я отдал жизнь...
Нет, не любила ты...»

(Голос ветра замирает)

Тогда сквозных огней
Поток дневной, червленый,
Клоня кленовый лист,
По купам прокипел —

Вотще! И, как слезой,
Росой листок зеленый
Так скромно их кропил...
И скорбно отгорел.

Сентябрь 1907
Петербург

184. НОЧЬ

Сергею Соловьеву

Как минул вешний пыл, так минул страстный зной.
Вотще покоя ждал: покой еще не найден.
Из дома загремел гульливою волной,
Волной разымчивой летящий к высям Гайден.

Презрительной судьбой обидно уязвлен,
Надменно затаишь. На тусклой, никлой, блеклой
Траве гуляет ветр; протяжным вздохом он
Ударит в бледных хат мрачнеющие стекла.

Какая тишина! Как просто всё вокруг!
Какие скудные, безогненные зори!
Как все, прейдешь и ты, мой друг, мой бедный
друг.
К чему ж опять в душе кипит волнений море?

Пролейся, лейся, дождь! Мятись, суровый бор!
Древес прельстительных прельстительно вздыханье.
И дольше говорит и ночи скромный взор,
И ветра дальний глас, и тихое страданье.

Июнь 1907
Петровское

185. ПРОСТИ

1

Зарю я зрю — тебя...
Прости меня, прости же:
Немею я, к тебе
Не смею подойти...

Горит заря, горит —
И никнет, никнет ниже.
Бьет час: *«Вперед»*. Ты — вот:
И нет к тебе пути.

И ночь встает: тенит,
И тенью лижет ближе,
Потоком (током лет)
Замоет свет... Прости!

Замоет током лет
В пути тебя... Прости же —
Прости!

2

Покров: угрюмый кров —
Покров угрюмой нощи —
Потоком томной тьмы
Селенья смыл, замыл...

Уныло ропщет даль,
Как в далях взропщут рощи...
Растаял рдяных зорь,
Растаял, — рдяный пыл.

Но мерно моет мрак, —
Но мерно месяц тощий,
Летя в пустую высь
Венцом воздушных крыл —

Покров, угрюмый кров —
Покров угрюмой нощи —
Замыл.

3

Душа. Метет душа, —
Взметает душный полог,
Воздушный (полог дней
Над тайной тайн дневных):

И мир пустых теней,
Ночей и дней — осколок
Видений, снов, миров
Застывших, ледяных —

Осколок месячный: —
Над сетью серых елок
Летит в провал пространств
Иных, пустых, ночных...

Ночей, душа моя,
Сметай же смертный полог, —
И дней!

4

Угрюмая, она
Сошла в угрюмой нощи:
Она, беспомощно
Склонясь на мшистый пень, —

Внемля волненью волн
(Как ропщут, взропщут рощи), —
В приливе тьмы молчит:
Следит, как меркнет день.

А даль вокруг нее
Таинственней и проще;
А гуще сень древес, —
Таинственная сень...

Одень ее, покров —
Покров угрюмой нощи, —
Одень!

Март 1908
Москва

186. «ДА НЕ В СУД ИЛИ ВО ОСУЖДЕНИЕ...»

Как пережить и как оплакать мне
Бесценных дней бесценную потерю?

Но всходит ветр в воздушной вышине.
Я знаю всё. Я промолчу. Я верю.

Душа: в душе — в душе весной весна...
Весной весна, — и чем весну измерю?

Чем отзовусь, когда придет она?
Я промолчу — не отзовусь... Не верю.

Не оскорбляй моих последних лет.
Прейдя, в веках обиду я измерю.

Я промолчу. Я не скажу — нет, нет.
Суров мой суд. Как мне сказать: «Не верю»?

Текут века в воздушной вышине.
Весы твоих судеб вознес, — и верю.

Как пережить и как оплакать мне
Бесценных дней бесценную потерю?

1907
Москва

ФИЛОСОФИЧЕСКАЯ ГРУСТЬ

187. ПРЕМУДРОСТЬ

Внемлю речам, объятый тьмой
Философических собраний,
Неутоленный и немой
В весеннем, мертвенном тумане.

Вон — ряд неутомимых лбов
Склоняется на стол зеленый;
Песчанистою пылью слов
Часами прядает ученый.

Профессор марбургский Когэн,
Творец сухих методологий!
Им отравил меня N. N.,
И увлекательный, и строгий.

Лишь позовет она, как он
Мне подает свой голос кроткий,
Чуть шелковистый, мягкий лен
Своей каштановой бородки

Небрежно закрутив перстом,
И, как рога завьются турьи,
Власы над неживым челом
В очей холодные лазури; —

Заговорит, заворожит
В потоке солнечных пылинок;
И «Критикой» благословит,
Как Библией суровый инок.

Уводит за собой; без слов
Усадит за столом зеленым...
Ряды прославленные лбов...
С ученым спорит вновь ученый.

1908
Москва

188. МОЙ ДРУГ

Уж с год таскается за мной
Повсюду марбургский философ.
Мой ум он топит в мгле ночной
Метафизических вопросов.

Когда над восковым челом
Волос каштановая грива
Волнуется под ветерком,
Взъерошивши ее, игриво

На робкий роковой вопрос
Ответствует философ этот,
Почесывая бледный нос,
Что истина, что правда... — метод.

Средь молодых, весенних чащ,
Омытый предвечерним светом,
Он, кутаясь в свой черный плащ,
Шагает темным силуэтом;

Тряхнет плащом, как нетопырь,
Взмахнувший черными крылами...
Новодевичий монастырь
Блистает ясными крестами: —

Здесь мы встречаемся... Сидим
На лавочке, вперивши взоры
В полей зазеленевший дым,
Глядим на Воробьевы горы.

«Жизнь, — шепчет он, остановясь
Средь зеленеющих могилок, —

Метафизическая связь
Трансцендентальных предпосылок.

Рассеется она, как дым:
Она не жизнь, а тень суждений...»
И клонится лицом своим
В лиловые кусты сирени.

Пред взором неживым меня
Охватывает трепет жуткий. —
И бьются на венках, звеня,
Фарфоровые незабудки.

Как будто из зеленых трав
Покойники, восстав крестами,
Кресты, как руки, ввысь подъяв,
Моргают желтыми очами.

1908

189. К НЕЙ

Травы одеты
Перлами.
Где-то приветы
Грустные
Слышу, — приветы
Милые...

Милая, где ты, —
Милая?..

Вечера светы
Ясные, —
Вечера светы
Красные...
Руки воздеты:
Жду тебя...

Милая, где ты, —
Милая?

Руки воздеты:
Жду тебя
В струях Леты,
Смытую
Бледными Леты
Струями...

Милая, где ты, —
Милая?

Апрель 1908
Москва

190. НОЧЬЮ НА КЛАДБИЩЕ

Кладбищенский убогий сад
И зеленеющие кочки.
Над памятниками дрожат,
Потрескивают огонечки.

Над зарослями из дерев,
Проплакавши колоколами,
Храм яснится, оцепенев
В ночь вырезанными крестами.

Серебряные тополя
Колеблются из-за ограды,
Разметывая на поля
Бушующие листопады.

В колеблющемся серебре
Бесшумное возникновенье
Взлетающих нетопырей, —
Их жалобное шелестенье,

О сердце тихое мое,
Сожженное в полдневном зное, —
Ты погружаешься в родное,
В холодное небытие.

Апрель 1908
Москва

191. ПОД ОКНОМ

Взор убегает вдаль весной:
Лазоревые там высоты...

Но «Критики» передо мной —
Их кожаные переплеты...

Вдали — иного бытия
Звездоочитые убранства...

И, вздрогнув, вспоминаю я
Об иллюзорности пространства.

1908
Москва

192. ИСКУСИТЕЛЬ

Врубелю

О, пусть тревожно разум бродит
И замирает сердце — пусть,
Когда в очах моих восходит
Философическая грусть.

Сажусь за стол... И полдень жуткий,
И пожелтевший фолиант
Заложен бледной незабудкой;
И корешок, и надпись: Кант.

Заткет узорной паутиной
Цветную бабочку паук —
Там, где над взвеянной гардиной
Обвис сиренью спелый сук.

Свет лучезарен. Воздух сладок...
Роняя профиль в яркий день,
Ты по стене из темных складок
Переползаешь, злая тень.

С угла свисает профиль строгий
Неотразимою судьбой.
Недвижно вычерчены ноги
На тонком кружеве обой.

Неуловимый, вечно зыбкий,
Не мучай и подай ответ!
Но сардонической улыбки
Не выдал черный силуэт.

Он тронулся и тень рассыпал.
Он со стены зашелестел;
И со стены бесшумно выпал,
И просквозил, и просерел.

В атласах мрачных легким локтем
Склонясь на мой рабочий стол,
Неотвратимо желтым ногтем
Вдоль желтых строк мой взор повел.

Из серебристых паутинок
Сотка́нный грустью лик кивал,
Как будто рой сквозных пылинок
В полдневном золоте дрожал.

В кудрей волнистых, золотистых
Атласистый и мягкий лен
Из незабудок росянистых
Гирлянды заплетает он.

Из легких трав восходят турьи
Едва приметные рога.
Холодные глаза — лазури, —
Льют матовые жемчуга;

Сковали матовую шею
Браслеты солнечных огней...
Взвивается, подобный змею,
Весь бархатный, в шелку теней.

Несущий мне и вихрь видений,
И бездны изначальной синь,

Мой звездный брат, мой верный гений,
Зачем ты возникаешь? Сгинь!

Ты возникаешь духом нежным,
Клоня венчанную главу.
Тебя в краю ином, безбрежном,
Я зрел во сне и наяву.

Но кто ты, кто? Гудящим взмахом
Разбив лучей сквозных руно,
Вскипел, — и праздно прыснул прахом
В полуоткрытое окно.

С листа на лист в окошке прыснет,
Переливаясь, бриллиант...
В моих руках бессильно виснет
Тяжеловесный фолиант.

Любви не надо мне, не надо:
Любовь над жизнью вознесу...
В окне отрадная прохлада
Струит перловую росу.

Гляжу: — свиваясь вдоль дороги,
Косматый прах тенит народ,
А в небе бледный и двурогий,
Едва замытый синью лед

Серпом и хрупким, и родимым
Глядится в даль иных краев,
Окуреваем хладным дымом
Чуть продышавших облаков.

О, пусть тревожно разум бродит
Над грудою поблеклых книг...
И Люцифера лик восходит,
Как месяца зеркальный лик.

1908
Москва

193. ПРИЗНАНИЕ

И сеет перлы хладная роса.
В аллее темной — слушай! — голоса:

«Да, сударь мой: так дней недели семь
Я погружен в беззвездной ночи темь!

Вы правы: мне едва осьмнадцать лет,
И говорят — я недурной поэт.

Но стыдно мне, с рожденья горбуну,
Над ней вздыхать и плакать на луну...

Нет, сударь мой: иных я мыслей полн...»
Овеян сад плесканьем темных волн;

Сухих акаций щелкают стручки.
«Вот вам пример: на нос одев очки,

Сжимаю жадно желтый фолиант.
Строка несет и в берег бросит: Кант.

Пусть я паук в пыли библиотек:
Я просвещенный, книжный человек,

Людей, как мух, в сплетенья слов ловлю:
Встаю чуть свет: читаю, ем и сплю...

Да, сударь мой: так дней недели семь
Я погружен в беззвездной ночи темь.

Я не монах: как шум пойдет с реки,
Не раз — не раз, на нос надев очки

И затая нескромную мечту,
Младых Харит младую наготу,

К окну припав, рассматриваю я,
Рассеянно стаканом мух давя;

Иль крадусь в сад к развесистой ольхе...»
И крякнет гость, и подмигнет: «Хе-хе...»

Молчат. И ночь. Шлют шелест тростники.
Сухих акаций щелкают стручки.

Огнистый след прочертит неба склон.
Слетит алмаз в беззвездный бездны сон.

Март 1908
Москва

194. ЭПИТАФИЯ

В предсмертном холоде застыло
Мое лицо.

Вокруг сжимается уныло
Теней кольцо.

Давно почил душою юной
В стране теней.

Рыдайте, сорванные струны
Души моей!

1908
Изумрудный Поселок

195. БУРЯ

Безбурный царь! Как встарь, в лазури бури токи:
В лазури бури свист и ветра свист несет,
Несет, метет и вьет свинцовый прах, далекий,
Прогонит, гонит вновь; и вновь метет и вьет.

Воскрес: сквозь сень древес — я зрю —
очес мерцанье:
Твоих, твоих очес сквозь чахлые кусты.
Твой бледный, хладный лик, твое возликованье
Мертвы для них, как мертв для них воскресший: ты.

Ответишь ветру — чем? как в тени туч свинцовых
Вскипят кусты? Ты — там: кругом — ночная ярь.
И ныне, как и встарь, восход лучей багровых.
В пустыне ныне ты: и ныне, как и встарь.

Безбурный царь! Как встарь, в лазури бури токи,
В лазури бури свист и ветра свист несет —
Несет, метет и вьет свинцовый прах, далекий:
Прогонит, гонит вновь. И вновь метет и вьет.

Февраль 1908
Москва

196. ДЕМОН

Из снежных тающих смерчей,
Средь серых каменных строений,
В туманный сумрак, в блеск свечей
Мой безымянный брат, мой гений

Сходил во сне и наяву,
Колеблемый ночными мглами;
Он грустно осенял главу
Мне тихоструйными крылами.

Возникнувши над бегом дней,
Извечные будил сомненья
Он зыбкою игрой теней,
Улыбкою разуверенья.

Бывало: подневольный злу
Незримые будил рыданья, —
Гонимые в глухую мглу
Невыразимые страданья.

Бродя, бывало, в полусне,
В тумане городском, меж зданий, —
Я видел с мукою ко мне
Его протянутые длани,

Мрачнеющие тени вежд,
Безвластные души порывы,
Атласные клоки одежд,
Их веющие в ночь извивы...

С годами в сумрак отошло,
Как вдохновенье, как безумье, —
Безрогое его чело
И строгое его раздумье.

Март 1908
Москва

197. Я

Далек твой путь: далек, суров.
Восходит серп, как острый нож.
Ты видишь — я. Ты слышишь — зов.
Приду: скажу. И ты поймешь.

Бушует рожь. Восходит день.
И ночь, как тень небытия.
С тобой Она. Она, как тень.
Как тень твоя. Твоя, твоя.

С тобой — Твоя. Но вы одни,
Ни жизнь, ни смерть: ни тень, ни свет,
А только вечный бег сквозь дни.
А дни летят, летят: их — нет.

Приди. — Да, да: иду я в ночь.
Докучный рой летящих дней!
Не превозмочь, не превозмочь.
О ночь, покрой кольцом теней!

Уйдешь — уснешь. Не здесь, а — там.
Забудешь мир. Но будет он.
И там, как здесь, отдайся снам:
Ты в повтореньях отражен.

Заснул — проснулся: в сон от сна.
И жил во сне; и тот же сон,
И мировая тишина,
И бледный, бледный неба склон;

И тот же день, и та же ночь;
И прошлого докучный рой...
Не превозмочь, не превозмочь!..
Кольцом теней, о ночь, покрой!

Декабрь 1907
Петербург

ТРИСТИИ

198. АЛМАЗНЫЙ НАПИТОК

Сверкни, звезды алмаз:
Алмазный свет излей! —
Как пьют в прохладный час
Глаза простор полей;

Как пьет душа из глаз
Простор полей моих;
Как пью — в который раз? —
Души душистый стих.

Потоком строф окрест
Душистый стих рассыпь
В покой сих хладных мест!
Стихов эфирных зыбь

Вскипит алмазом звезд, —
Да пьет душа из глаз
Алмазный ток окрест, —
Да пьет... в который раз?

Июль 1908
Серебряный Колодезь

199. ВОЛНА

И. Н. Бороздину

И ночи темь. Как ночи темь взошла,
Так ночи темь свой кубок пролила, —

Свой кубок, кубок кружевом златым,
Свой кубок, звезды сеющий, как дым,

Как млечный дым, как млечный дымный путь,
Как вечный путь: звала к себе — прильнуть.

Прильни, прильни же! Слушай глубину:
В родимую ты кинешься волну,

Что берег дней смывает искони...
Волна бежит: хлебни ее, хлебни.

И темный, темный, темный ток окрест
Омоет грудь, вскипая пеной звезд.

То млечный дым; то млечный дымный путь,
То вечный путь зовет к себе... уснуть.

Апрель 1908
Москва

200. РАЗЛУКА

Ночь, цветы, но ты
В стране иной.

Ночь. Со мною ты...
Да, ты — со мной.

Вздох твоих речей
Горячей —

В глушь моих степей
В ветре взвей!

Будто блеск лучей
В моей глуши, —

Ясный блеск твоей,
Твоей души.

Пусть душа моя —
Твоя

Голубая колыбель:
Спи, усни...

Утра первые огни...
Чу! Свирель...

1908
Дедово

201. ВОЛЬНЫЙ ТОК

Душа, яви безмерней, краше
Нам опрозрачненную твердь!
Тони же в бирюзовой чаше,
Оскудевающая смерть!

Как все, вплетался подневольный
Я в безысходный хоровод.
Душил гробницею юдольный,
Страстей упавший небосвод.

А ныне — воздухами пьяный,
Взмываюсь вольною мечтой,
Где бьет с разбегу ток лиственный
О брег лазурный и пустой.

И там, где, громами растущий,
Яснеет облачный приют, —
Широколиственные кущи
Невнятной сладостью текут.

Туда земную скоротечность,
Как дольний прах, переметет.
Алмазом полуночным вечность
Свой темный бархат изоткет.

Июнь 1907
Петровское

202. НОЧЬ

О ночь, молю, —
Да бледный серп заблещет...
Скорей сойди, скорей!

На грудь мою
Прохладой хладно плещет, —
На грудь мою Борей.

Окован я
Железной цепью рока
Минут, часов, недель.

Душа моя,
Хлебни хмельного тока, —
Пьяни, осенний хмель!

Дыши, дыши
Восторгом суеверий,
Воздушных струй и пьянств.

Души, души
Заоблачные двери
В простор иных пространств.

Березы, вы —
Безропотные дщери
Безропотных пространств:

Да щедро вам
Метнет сверканий зерна
Обломок янтаря, —

Да щедро вам
Метнет златые зерна
Златистая заря, —

Вершиной там,
Вершиной в ночи черной
Вскипайте, как моря...

Кругом, кругом
Зрю отблеск золотистый
Закатных янтарей,

А над ручьем
Полет в туман волнистый
Немых нетопырей...

Небытием
Пади, о полог мглистый, —
Сойди, о ночь, — скорей!

Апрель 1907
Москва

203. КОЛЬЦО

И ночь, и день бежал. Лучистое кольцо
Ушло в небытие.
Ржаной, зеленый вал плеснул в мое лицо —
В лицо мое:

«Как камень, пущенный из роковой пращи,
Браздя юдольный свет,
Покоя ищешь ты. Покоя не ищи.
Покоя нет.

В покое только ночь. И ты ее найдешь.
Там — ночь: иди туда...»
Смотрю: какая скорбь. Внемлю: бушует рожь.
Взошла звезда.

В синеющую ночь прольется жизнь моя,
Как в ночь ведет межа.
Я это знал давно. И ночь звала меня,
Тиха, свежа, —
Туда, туда...

Май 1907
Петровское

204. ПРОШЛОМУ

Сентябрьский, свеженький денек.

И я, как прежде, одинок.
Иду — бреду болотом топким.
Меня обдует ветерок.
Встречаю осень сердцем робким.

В ее сквозистую эмаль
Гляжу порывом несогретым.
Застуденеет светом даль, —
Негреющим, бесстрастным светом.

Там солнце — блещущий фазан —
Слетит, пурпурный хвост развеяв;
Взлетит воздушный караван
Златоголовых облак — змеев.

Душа полна: она ясна.
Ты — и утишен, и возвышен.
Предвестьем дышит тишина.
Всё будто старый окрик слышен, —

Разгульный окрик зимних бу́рь,
И сердцу мнится, что — навеки.
Над жнивою тогда лазурь
Опустит облачные веки.

Тогда слепые небеса
Косматым дымом даль задвинут;
Тогда багрянец древеса,
Вскипая, в сумрак бледный кинут.

Кусты, вскипая, мне на грудь
Хаосом листьев изревутся;
Подъятыми в ночную муть
Вершинами своими рвутся.

Тогда опять тебя люблю.
Остановлюсь и вспоминаю.
Тебя опять благословлю,
Благословлю, за что — не знаю.

Овеиваешь счастьем вновь
Мою измученную душу.
Воздушную твою любовь,
Благословляя, не нарушу.

Холодный, темный вечерок.
Не одинок, и одинок.

Февраль 1907
Париж

205. ЖАЛОБА

Сырое поле, пустота,
И поле незнакомо мне.
Как бьется сердце в тишине!
Какие хладные места!
Куда я приведен судьбой?..
В пустынный берег бьет Коцит;
И пена бисерной каймой
В прибрежных голышах бежит.
Свежеет... Плещется прибой;
В кудрявой пене темных волн,
Направленный самой судьбой,
Ко мне причалил утлый челн.

Меня влекут слепые силы
В покой отрадный хладных стран; —
И различаю сквозь туман
Я закоцитный берег милый.
Рыдают жалобные пени,
Взлетает гребень на волне,
Безгласные, немые тени
Протягивают руки мне.
Багровые лучи Авроры
Сурово озаряют твердь.
Уныло поднимаю взоры,
Уныло призываю смерть...

Февраль 1909
Бобровка

ДУМЫ

206. ЖИЗНЬ

Памяти Ю. А. Сидорова
с любовью посвящаю

Проносится над тайной жизни
Пространств и роковых времен
В небесно-голубой отчизне
Легкотекущий, дымный сон.

Возносятся под небесами,
Летят над высотами дни
Воскуренными облаками, —
Воскуренными искони.

Жизнь — бирюзовою волною
Разбрызганная глубина.
Своею пеною дневною
Нам очи задымит она.

И всё же в суетности бренной
Нас вещие смущают сны,
Когда стоим перед вселенной
Углублены, потрясены, —

И отверзается над нами
Недостижимый край родной
Открытою над облаками
Лазуревою глубиной.

Июль 1908
Дедово

207. НОЧЬ И УТРО

Б. А. Садовскому

Мгновеньями текут века.
Мгновеньями утонут в Лете.
И вызвездилась в ночь тоска
Мятущихся тысячелетий.

Глухобезмолвная земля,
Мне непокорная доныне, —
Отныне принимаю я
Благовестительство пустыни!

Тоскою сжатые уста
Взорвите, словеса святые,
Ты — утренняя красота,
Вы — горние край златые!

Вот там заискрились, восстав, —
Там, над дубровою поющей —
Алмазами летящих глав
В твердь убегающие кущи.

1908
Дедово

208. НОЧЬ-ОТЧИЗНА

Предубежденья мировые
Над жизнию парят младой —
Предубежденья роковые
Неодолимой чередой.

Неодолимо донимают,
Неутолимы и грозны,
В тот час, как хаос отверзают
С отчизны хлынувшие сны.

Слетают бешено в стремнины, —
В тьмы безглагольные краи —
За годом горькие годины.
Оскудевают дни мои.

Свершайся надо мною, тризна!
Оскудевайте, дни мои!
Паду, отверстая отчизна,
В темнот извечные рои.

1908
Дедово

209. ВЕЧЕР

Там золотым зари закатом
Лучится солнечный поток
И темным, огневым гранатом
Окуревается восток.

Грозятся безысходной мглою
Ночные вереницы гроз.
Отторгни глубиною злою
С души слетающий вопрос.

Неутомимой, хоть бесплодной,
Ты волею перегори,
Как отблеском порфирородной,
Порфиропламенной зари!

Там рдей, вечеровое рденье, —
Вечеровая полоса...
Простертые, как сновиденья,
Воскуренные небеса.

Июль 1908
Дедово

210. ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Увы! Не избегу судьбы я,
Как загремят издалека
Там громовые, голубые,
В твердь возлетая, облака, —

Зане взволнованные силы
Их громовой круговорот, —
Над бездной мировой могилы
Молниеблещущий полет.

В поток быстротекущей жизни,
В житейский грозовой туман,
Забыв о неземной отчизне,
Низринулся, и всё — обман.

Увы! Не избегу судьбы я,
И смерть моя недалека.
И громовые, голубые
В дверь возлетают облака.

1908
Дедово

211. РОК

Твердь изрезая молньи жгучей
Копиевидным острием,
Жизнь протуманилась — и тучей
Ползет в эфире голубом.

Всклубились прошлые годины
Там куполами облаков.
А дальше — мертвые стремнины
В ночь утопающих веков.

За жизнь, покрытую обманом,
Ужалит смертью огневой
Повитый ледяным туманом
Тучегонитель роковой.

Восстанет из годин губитель
В тумане дымно грозовом,
Чтоб в поднебесную обитель
Тяжелый опрокинуть гром.

Копиеносец седовласый,
Расплавленное копие,
В миг изрывая туч атласы,
На сердце оборви мое.

Июль 1908
Дедово

212. ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Ты светел в буре мировой,
Пока печаль тебя не жалит.
Она десницей роковой
В темь изначальную провалит.

Веселье хмельное пьяно.
Всё мнится, что восторг пронижет.
Гортань прохладное вино
Огнистою струею лижет.

Испил: — и брызнувший угар
Похмельем пенистым пылится.
И кубок ядовитых чар,
Опорожненный, чуть дымится.

Нет, он меня не обожжет:
Я возлюбил души пустыню.
Извечная, она лиет
Свою святую благостыню,

Извечная, она, как мать,
В темнотах бархатных восстанет.
Слезами звездными рыдать
Над бедным сыном не устанет.

Ты взору матери ответь:
Взгляни в ее пустые очи.
И вечно будешь ты глядеть
В мглу разливающейся ночи.

Вот бездна явлена тоской,
Вот в изначальном мир раздвинут...
Над бездной этой я рукой
Нечеловеческой закинут.

Ее ничем не превозмочь...
И пробегают дни за днями;
За ночью в очи плещет ночь
Своими смертными тенями.

———

Вздохнешь, уснешь — и пепел ты,
Рассеянный в пространствах ночи...
Из подневольной суеты
Взгляни в мои пустые очи, —

И будешь вечно ты глядеть,
Ты, — бледный, пленный, бренный житель —
За гранями летящих дней
В теней прохладную обитель...

1907
Париж

213. ВРЕМЯ

Еще прохладу струй студеных
Не иссушил жестокий круг...
Здесь, в переливах я зеленых —
Твоих, необозримый луг.

Ветров раскатистые гулы.
Всё где-то это видел взор.
Всё тот же топчет дед сутулый
Рассыпчатый цветов ковер.

Проходит дед стопою лютой.
Пройди — но цвет полей не тронь...
Идет: на плуг ложится круто
Шершавая его ладонь.

Необозримых пашней пахарь —
Над зацветающей весной...
Круговоротов грозных знахарь,
Яви же жирный перегной.

Для прозябанья мыслям-зернам!
Воскинь секущим острием
Над луговым, корнистым дерном
Хаоса мрачный чернозем!

Косматые склонил седины.
Прости же, непопранный луг!
Взрезает мягко дерновины
Лениво лязгающий плуг.

Онучею истопчет хворост
И гребни острые кремней.
Над бархатами свежих борозд
Да всходит свежесть зеленей.

Так лет мимотекущих бремя
Несем безропотные мы,
Когда железным зубом время
Нам взрежет бархат вечной тьмы.

Ты скажешь — день; и день обманет.
Он — вот: но голову закинь —
Гляди: и в хмурый сумрак канет
Его сапфировая синь.

1907
Петровское

ПОСВЯЩЕНИЯ

214. ЛЬВУ ТОЛСТОМУ

Ты — великан, годами смятый,
Кого когда-то зрел и я —
Ты вот бредешь от курной хаты,
Клюкою времени грозя.
Тебя стремит на склон горбатый
В поля простертая стезя.
Падешь ты, как мороз косматый,
На мыслей наших зеленя.

Да заклеймит простор громовый
Наш легкомысленный позор!
Старик лихой, старик пурговый
Из грозных косм подъемлет взор, —
Нам произносит свой суровый,
Свой неизбежный приговор.
Упорно ком бремен свинцовый
Рукою ветхою простер.

Ты — молньей лязгнувшее Время —
Как туча градная склонен:
Твое нам заслоняет темя
Златистый, чистый неба склон, —
Да давит каменное бремя
Наш мимолетный жизни сон...
Обрушь его в иное племя,
Во тьму иных, глухих времен.

1908
Серебряный Колодезь

215. СЕРГЕЮ СОЛОВЬЕВУ

Соединил нас рок недаром,
Нас общий враг губил... И нет —
Вверяя заревым пожарам
Мы души юные, поэт,
В отдохновительном Петровском,
И после — улицам московским
Не доверяя в ноябре,
Томились в снежном серебре:
Томились, но не умирали...
Мы ждали...
                    И в иные дали
Манила юная весна,
И наши юные печали
Смывала снежная волна.

Какое грозное виденье
Смущало оробевший дух,
Когда стихийное волненье
Предощущал наш острый слух!..
В грядущих судьбах прочитали
Смятенье близкого конца:
Из тьмы могильной вызывали
Мы дорогого мертвеца —
Ты помнишь? Твой покойный дядя,
Из дали безвреме́нной глядя,
Вставал в метели снеговой
В огромной шапке меховой,
Пророча светопреставленье...
Потом — японская война:
И вот — артурское плененье,
И вот — народное волненье,
Холера, смерть, землетрясенье —
И роковая тишина...
Покой воспоминаний сладок:
Как прежде, говорит без слов
Нам блеск пурпуровых лампадок,
Вздох металлических венков,
И монастырь, и щебет птичий
Над золотым резным крестом:
Там из сиреней лик девичий,

Покрытый черным клобуком,
Склоняется перед могилой,
И слезы на щеках дрожат...

Какою-то нездешней силой
Мы связаны, любимый брат.
Как бы неверная зарница,
Нам озаряя жизни прах,
Друзей минутных вереница
Мелькнула в сумрачных годах;
Ты шел с одними, я — с другими;
Шли вчетвером и впятером...
Но много ли дружили с ними?
А мы с тобой давно идем
Рука с рукой, плечо с плечом.

Годины трудных испытаний
Пошли нам бог перетерпеть, —
И после, как на поле брани,
С улыбкой ясной умереть.
Нас не зальет волной свинцовой
Поток мятущихся времен,
Не попалит стрелой багровой
Грядущий в мир Аполлион...
Мужайся: над душою снова —
Передрассветный небосклон;
Дивеева заветный сон
И сосны грозные Сарова.

Январь 1909
Москва

216. Э. К. МЕТНЕРУ

(Письмо)

Старинный друг, моя судьбина —
Сгореть на медленном огне...
На стогнах шумного Берлина
Ты вспомни, вспомни обо мне.
Любимый друг, прости молчанье —
Мне нечего писать; одно
В душе моей воспоминанье

(Волнует и пьянит оно) —
Тяжелое воспоминанье...
Не спрашивай меня... Молчанье!..
О, если б...
...Помню наши встречи
Я ясным, красным вечерком,
И нескончаемые речи
О несказанно дорогом.
Бывало, церковь золотится
В окне над старою Москвой,
И первая в окне ложится,
Кружась над мерзлой мостовой,
Снежинок кружевная стая...
Уединенный кабинет,
И Гете на стене портрет...
О, где ты, юность золотая?

Над цепью газовых огней
Пурга уныло песнь заводит...
К нам Алексей Сергеич входит,
Лукаво глядя из пенснэ,
И улыбается закату...
Будя в душе напев родной,
Твой брат C-mol'ную сонату
Наигрывает за стеной...
Последние аккорды *коды*
Прольются, оборвутся вдруг...

О, если б нам в былые годы!
Перенестись, старинный друг!
Еще немного — помелькает
Пред нами жизнь: и отлетит —
Не сокрушайся: воскресает
Всё то, что память сохранит.
Дорога от невзгод к невзгодам
Начертана судьбой самой...

Год минул девятьсот восьмой: —
Ну, с девятьсот девятым годом!..

Январь 1909
Москва

КОРОЛЕВНА И РЫЦАРИ

Сказки



217. ПЕРЕД СТАРОЙ КАРТИНОЙ

Кресла,
Чехлы,
Пьянино...
Всё незнакомо мне! ..
Та же
Висит
Картина —
На глухой, теневой стене...

Ожила: —
И с прежним
Приветом,
Закурчавясь у ног, —
Пеной,
Кипеньем,
Светом
Хлынул бурный поток.

Из
Раздвинутых
Рамок
Грустно звали «проснись!» —
Утес,
Забытый
Замок,
Лес, берега и высь.

Просыпался:
Века

Вставали...
Рыцарь, в стальной броне, —
Из безвестных,
Безвестных
Далей
Я летел на косматом коне.

В облаке
Пыли
Бились
Плаща моего края...
Тускло
Мне
Открылись
С башни два огня.

Кричал,
Простирая
Объятья:
«Я вернулся из дальних стран!
Омойте
Мне, —
О братья! —
Язвы старых ран!

Примите
В приют
Укромный!..»
Но упало сердце мое,
Как с башни
Рыцарь
Темный
На меня направил копье.

Уставился
Остро,
Грозно
Злой клювовидный шлем...
Сказал,
Насмехаясь:
«Поздно!..
Путник — куда, зачем?

Мы — умерли,
Мы —
Поверья:
Нас кроют столетий рвы».
Пошел...
(Закачались
Перья
Вкруг его стальной головы)

Глухо
Упали
Ворота...
Угасал — и угас чертог...
Изредка
Плакал
Кто-то
С каменной башни в рог, —

Да порой
Осыпали
Светом
Голубые взрывы зарниц, —
Острие
На копье
Воздетом, —
Бастион, черепицу, шпиц; —

Да порой
Говорила
Уныло
С прежним — с прошлым: вода...
Всё это —
Было,
Было!
Будет —
Всегда,
Всегда!

А
Из
Темных
Бездомных

Далей
На
Косматых,
Черных
Конях —
Рыцари
К замку скакали — в густых,
Густых
Тенях!..

Ночь играла над их головами —
Переливчивым
Блеском
Звезд...
Грохоча
Над сырыми
Рвами, —
Опустился подъемный мост.

Я вернулся:
          — Кресла,
          Пьянино —
Всё незнакомо мне!
Обернулся:
          — Висит
          Картина
На глухой, теневой стене.
          Из
          Раздвинутых
          Рамок —
Опять
Позвали:
«Вернись!»
          Утес,
          Забытый
          Замок —
Лес,
Берега —
          И высь!..

1910
Москва

218. ШУТ

Баллада

1

Есть край, где старый
Замок
В пучину бьющих
Вод
Зубцами серых
Башен
Глядит — который
Год!

Его сжигает
Солнце;
Его дожди
Секут...
Есть королевна
В замке
И есть горбатый
Шут!

Докучно
Вырастая
На выступе
Седом, —
Прищелкивает
Звонко
Трескучим
Бубенцом.

Струею красной
В ветер
Атласный плащ
Летит: —
На каменных
Отвесах
Подолгу шут
Сидит;

И долго, долго
Смотрит

На запад
Огневой;
В вечерние
Туманы
Колпак подкинет
Свой.

Из каменных
Пробоин
Взлетает стая
Сов,
Когда несется
С башни
Трубы далекий
Рев.

2

В тяжелый, знойный полдень,
Таясь
В тени
Аркад, —
Выходит королевна
Послушать
Треск
Цикад.

Из
Блещущих
Травинок,
Из росянистых пней, —
Небесною коронкой
Цветок
Смеется
Ей.

Едва
Она
Сломала
Высокий стебелек, —

«О
Королевна,
Вспомни», —
Пролепетал цветок;

Едва
Она
Сломала
Высокий стебелек, —
Кипучею струею
Ей в очи
Брызнул
Сок.

Блестя, запели воды —
Окрестность,
Луг,
Цветы...
Запел
Старинный
Ветер:
«О, вспомни, вспомни ты!»

Прошел родимый замок,
Как облако над ней:
Зубцами
Старых
Башен
Растаял
В бездне
Дней...

3

За порослью лиловою грозился
Старый
Шут:
Над ней, как адский
Пламень,
Мелькнул
Его
Лоскут...

На солнечные травы
Упала тень горбом:
И
Теневые
Руки —
Качались
Над
Цветком!..

Беззвучно колыхалась
Хохочущая
Грудь;
Бубенчики
Запели:
«Забудь,
Забудь,
Забудь!»

На башенных оконцах
Блеснули
Огоньки;
Как змеи,
Шелестели
В тяжелый
Зной
Листки.

Горбатый,
Серый
Замок
Над лугом в белый день
Крылом — нетопыриным
Развеял
Злую
Тень.
Очнулась королевна:
Всему —
— Конец,
Конец!..
Разбейся же, —
— О сердце! —

Трескучий
Бубенец...

Ты, —
    — Одуванчик —
        Счастье:
      Пушинкой облетай!
Пошла,
    Роняя
        Слезы
      На белый горностай.

Отмахиваясь веткой
От блещущих стрекоз, —
За ней
Седой
Насмешник —
    Тяжелый
    Шлейф
    Понес.

Качались
Стебелечки
Пленительных
Вербен
    Между атласных,
    Черных,
    Обтянутых
    Колен.

4

Поток
Рыдает
Пеной,
    Клокочет
    Бездной
    Дней...
В решетчатые окна
Влетает сноп огней.

Расплачется в воротах
Заржавленный засов:
Пернатый,
Ясный
Рыцарь
Летит
Из тьмы
Веков.

Конем
Кидаясь
В солнце
Над пенистым ручьем, —
Гремит трубою в ветер,
Блистает
Вдаль
Копьем.
Дрожащий
Луч
Играет,
Упав из-за плеча,
Голубоватой сталью
На
Острие
Меча.
И
Бросило
Забрало
Литое серебро
Косматым
Белым
Дымом
Летящее перо.

И
Плещется попона
За
Гривистым конем —
Малиновым,
Тяжелым,
Протянутым
Крылом.

5

Есть край,
Где старый
Замок
В пучину
Бьющих
Вод
Зубцами
Серых
Башен
Глядит —
Который
Год!

Его сжигает
Солнце,
Его дожди
Секут...
Есть
Королевна
В замке
И есть
Горбатый
Шут.

С вершины мшистой
Башни
Гремит в закат
Труба, —
И над мостом
Чугунным
Мелькает тень
Горба:
То за стеной зубчатой
Докучный бег
Минут
Трещоткой деревянной
Отсчитывает
Шут.

О королевна, близко
Спасение твое:

В чугунные ворота
Ударилось копье!

1911
Боголюбовы

219

И опять, и опять, и опять —
Пламенея, гудят небеса...
И опять,
И опять,
И опять —

Меченосцев седых голоса.

Над громадой лесов, городов,
Над провалами облачных гряд —
— Из веков,
Из веков,
Из веков —

Полетел меднобронный отряд.

Выпадают громами из дней...
Разрывается где-то труба:
На коней,
На коней,
На коней!

Разбивают мечами гроба.

Из расколотых старых гробов
Пролетает сквозною струей —
Мертвецов,
Мертвецов,
Мертвецов —

Воскресающий, радостный рой!

1911
Боголюбовы

220. ГОЛОС ПРОШЛОГО

1

В веках я спал... Но я ждал, о Невеста, —
Север моя!

Я встал
Из подземных
Зал:

Спасти —
Тебя,
Тебя!

Мы рыцари дальних стран: я — рог,
Гудящий из тьмы...

В сырой,
В дождевой
Туман —

Несемся
На север —
Мы.

На крутые груди коней кидается
Чахлый куст...

Как ливень,
Потоки
Дней, —

Как буря,
Глаголы
Уст!

Плащ — семицветием звезд слетает
В туман: с плеча...

Тяжелый,
Червонный
Крест —

Рукоять
Моего
Меча.

Его в пустые края вознесла
Стальная рука.

Секли
Мечей
Лезвия —

Не ветер:
Года,
Века!

2

Тебя
С востока
Мы —

Идем
Встречать
В туман:

Верю, —блеснешь из тьмы, рыцарь
Далеких стран:

Слышу
Топот
Коней...

Зарей
Багрянеет
Куст...

Слетает из бледных дней призыв
Гремящих уст.

Тяжел
Железный
Крест...

Тяжела
Рукоять
Меча...

В туман окрестных мест дымись,
Моя свеча!

Верю, —
В года,
В века, —

В пустые
Эти
Края

Твоя стальная рука несет
Удар копья.

1911
Боголюбовы

221. БЛИЗКОЙ

Мне цветы и травы влюбленные
Нашептали не сказку — быль.

1

В окнах месяц млечный.
Дышит тенями тишь.
Однообразно, извечно —
Шепчет
Темная
Тишь.

Золотая свеча дымится
В глухую мглу.
Королевне не спится: —
— Королевна
Берет
Иглу.

Много в лесу далеком,
Много погибло душ!
Рыцарь,
Разбитый
Роком, —
Канул в лесную глушь. . .

Плачут в соснах совы
(Поняла роковую весть) —
Плачут —
В соснах —
Совы:
«Было, будет, есть!»

Встала (дрогнули пяльца) —
Сосчитала
Бег
Облаков —
И расслышала зов скитальца
Из суровых сосновых лесов.

Вспыхнул свет из оконца
                    В звездную,
                    В синюю
                    В ночь, —
Кинулись: струи солнца...
Кинулись тени: прочь!

2

Глянул
Замок
С отвеса,
Рог из замка гремит:
                    Грозные
                    Гребни
                    Леса
Утро пламенит.

Рыцарь
В рассветных
Тéнях

Скачет не в сказку — в быль:
На груди, на медных коленях,
На гребенчатом
Шлеме —
Пыль! ..
Ждет его друг далекий
С глубиной
Голубою
Глаз,
Из которой бежит на щеки
Сквозной
Слезой
Алмаз.
Он нашел тебя, королевна!
Он расслышал светлую весть!
Поет
Глубина
Напевно:
«Будет,
Было,
Есть!».

1911
Боголюбовы

222. РОДИНА

Наскучили
Старые годы...
Измучили:
Сердце,
Скажи им: «Исчезните, старые
Годы!»

И старые
Годы
Исчезнут.

Как тучи, невзгоды
Проплыли.

Над чащей
И чище и слаще
Тяжелый, сверкающий воздух;
И — отдыхи...

В сладкие чащи
Несутся зеленые воды.
И песня знакомого
Гнома
Несется вечерним приветом.

«Вернулись
Ко мне мои дети
Под розовый куст розмарина...
Склоняюсь над вами
Цветами
Из старых столетий...»
Ты, злая година, —
Рассейся!
В уста эти влейся —
— О нектар! —

Тяжелый, сверкающий воздух
Из пьяного сладкого кубка.

Проснулись:
Вернулись!..

Апрель 1909
Москва

223

Вы — зори, зори! Ясно огневые,
Как старое, кровавое вино, —
Пусть за плечами нити роковые
Столетий старых ткет веретено.

Лежу в траве на луге колосистом,
Бьется с трепетом кольцо
Из легких трав:

То змея червонным свистом
Развивается, из легких трав —
В лицо!

Обвейся, жаль!
Восторгом ядовитым
Отравлен я; мне ожерельем будь!
Мою печаль
Восторгом ядовитым
Ты осласти и — ввейся в грудь.

Ты — золотое, злое ожерелье!
Обвей меня: целуй меня —
Кусай меня,
Змея!..
О, странное веселье!
О, заря!

Апрель 1909
Москва

224. ВЕЩИЙ СОН

Струит ручей струи из бирюзы
Через луга и розовые мяты, —

В пустой провал пережитой грозы,
В осеребренные туманом скаты.

Ручей, разговорись — разговорись!
Душа моя, развеселись: воскресни!

И вот — извечно блещущая высь!
И вот — извечно блещущие песни!

Старинный друг, освободи меня
Пылающей, пылающей судьбою.

Пылай во мне, как... языки огня,
Пылай во мне: я полн судьбой — Тобою.

Прими меня: не отвергай! Я — здесь,
Друг сказочный, полузабытый, милый..

Как хорошо! И — блещущая высь!..
И — над душой невидимые силы!..

Апрель 1909
Москва

225. ВЕЧЕР

На небе прордели багрянцы.
Пропели и — нежно немели;
Проглядные, ясные глянцы,
Стеклясь, зеленея, звездели.

Моргнули на туче летучей,
Текуче блеснув, бриллианты...
Попадая палицами в тучи,
Где-то прогоготали гиганты...

Шипучею пеной кипели
Певучие струи: в туманы...
Лохмотясь, лиловые ели
Кидались в лиловые страны.

В просторы сырых перепутий,
Ввиваясь, бежали дороги,
Где тусклые сумерки мутей
Прорезывали... рогороги.

1909
Москва

ЗВЕЗДА



226. ЗВЕЗДА

Упал на землю солнца красный круг.
И над землей, стремительно блистая,
Приподнялась зеркальность золотая
И в пятнах пепла тлела.
Всё вокруг вдруг стало: и — туманисто;
и — серо...

Стеклянно зеленеет бирюза,
И яркая заяснилась слеза —
Алмазная, алмазная Венера.

Май 1914
Арлесгейм

227. САМОСОЗНАНИЕ

Мне снились: и море, и горы...
Мне снились...

Далекие хоры
Созвездий
Кружились
В волне мировой...

Порой метеоры
Из высей катились,
Беззвучно
Развеявши пурпурный хвост надо мной.

Проснулся — и те же: и горы,
И море...

И долгие, долгие взоры
Бросаю вокруг.

Всё то же... Докучно
Внимаю,
Как плачется бездна:

Старинная бездна лазури;
И — огненный, солнечный
Круг.

Мои многолетние боли —
Доколе?..

Чрез жизни, миры, мирозданья
За мной пробегаете вы?

В надмирных твореньях, —
В паденьях —
Течет бытие... Но — о боже! —

Сознанье
Всё строже, всё то же —

Всё то же
Сознанье
Мое.

Февраль 1914
Базель

228. КАРМА

Н. А. Григоровой

1

Мне грустно... Подожди... Рояль,
Как будто торопясь и споря,
Приоткрывает окна в даль
Грозой волнуемого моря.

И мне, мелькая мимо, дни
Напоминают пенной сменой,
Что мы — мгновенные огни —
Летим развеянною пеной.

Воздушно брызжут дишканты
В далекий берег прежней песней...
И над роялем смотришь ты
Неотразимей и чудесней.

Твои огромные глаза!
Твои холодные объятья!
Но — незабытая гроза —
Твое чернеющее платье.

2

Мы — роковые глубины,
Глухонемые ураганы, —
Упали в хлынувшие сны,
В тысячелетние туманы.

И было бешенство огней
В водоворотах белой пены.
И — возникали беги дней,
Существований перемены.

Мы были — сумеречной мглой,
Мы будем — пламенные духи.
Миров испепеленный слой
Живет в моем проросшем слухе.

3

И знаю я; во мгле миров:
Ты — злая, лающая Парка,
В лесу пугающая сов,
Меня лобзающая жарко.

Ты — изливала надо мной
Свои бормочущие были
Под фосфорической луной,
Серея вретищем из пыли.

Ты, возникая из углов,
Тянулась тенью черногогой,
Подняв мышиный шорох слов
Над буквой рукописи строгой.

И я безумствовал в ночи
С тысячелетнею старухой;
И пели лунные лучи
В мое расширенное ухо.

4

Летучим фосфором валы
Нам освещают окна дома.
Я вижу молнии из мглы.
И — морок мраморного грома.

Твое лучистое кольцо
Блеснет над матовою гаммой;
И — ночи веют мне в лицо
Своею черной орифламмой.

И — возникают беги дней,
Существований перемены,
Как брызги бешеных огней
В водоворотах белой пены.

И знаю я: во мгле миров
Ты — злая, лающая Парка,
В лесу пугающая сов,
Меня лобзающая жарко.

5

Приемлю молча жребий свой,
Поняв душою безглагольной
И моря рокот роковой,
И жизни подвиг подневольный.

Июль 1917
Поворовка

229. СОВРЕМЕННИКАМ

Туда, во мглу Небытия,
Ты безвремéнным, мертвым комом
Катилась, мертвая земля,
Над собирающимся громом.

И словно облак обволок
Порядок строя мирового,
И прозирающий зрачок,
И прорастающее слово.

Толчками рухнувших Мессин,
Провалом грешной Мартиники
Среди неузнанных руин
Приподымался смысл великий.

Развили грозные огни
Всё беспокойней, всё нестройней —
Нечеловеческие дни,
Нечеловеческие бойни...

И я к груди земли приник
И понял: в гром землетрясений
Склоняет исполинский лик
Из дней глаголющий нам Гений.

Он — Справедливый Судия, —
Мерцая мрачным приговором,
Давно смятенного меня
Опламенил глухим прозором.

И видел там, за громом битв
Восстанье Светлого Завета
В волне рыданий и молитв,
И набегающего Света.

И ныне знаю: морок злой
Нас обуявших ослеплений
Перегорит, как ветхий слой,
И Солнце спустится, как гений, —

И громовая полоса,
Огнем палящая глазницы, —
Далекий грохот колеса
Золотордяной колесницы.

Январь 1918
Москва

230. ВОЙНА

Разорвало́сь затишье грозовое...
Взлетает ввысь громовый вопль племен.
Закручено всё близкое, родное,
Как столб песков в дали иных времен.

А — я, а — я?.. Былое без ответа...
Но где оно?.. И нет его... Ужель?
Невыразимые, — зовут иных земель
Там волны набегающего света.

Октябрь 1914
Арлесгейм

231. АСЕ

Едва яснеют огоньки.
Мутнеют склоны, долы, дали.
Висят далекие дымки,
Как безглагольные печали.

Из синей тьмы летит порыв...
Полыни плещут при дороге.
На тучах — глыбах грозовых —
Летуче блещут огнероги.

Невыразимое — нежней...
Неотразимое — упорней...
Невыразимы беги дней,
Неотразимы смерти корни.

В горючей радости ночей
Ключи ее упорней бьются:
В кипучей сладости очей
Мерцаньем маревым мятутся.

Благословенны: — жизни ток,
И стылость смерти непреложной,
И — зеленеющий листок,
И — ветхий корень придорожный.

Июнь 1916
Дорнах

232. РАЗВАЛЫ

Есть в лете что-то роковое, злое...
И — в вое злой зимы...
Волнение, кипение мирское!
Плененные умы!

Все грани чувств, все грани правды стерты;
В мирах, в годах, в часах
Одни тела, тела, тела простерты,
И — праздный прах.

В грядущее проходим — строй за строем —
Рабы: без чувств, без душ...
Грядущее, как прошлое, покроем
Лишь грудой туш.

В мятеж миров, — в немаревные муки,
Когда-то спасший нас, —
Простри ж и Ты измученные руки, —
В который раз.

Октябрь 1916
Москва

233. ВЯЧЕСЛАВУ ИВАНОВУ

Случится то, чего не чаешь...

Ты предо мною вырастаешь —
В старинном, черном сюртуке,
Средь старых кресел и диванов,
С тисненым томиком в руке:
«Прозрачность. Вячеслав Иванов».

Моргает мне зеленый глаз, —
Летают фейерверки фраз
Гортанной, плачущею гаммой:
Клонясь рассеянным лицом,
Играешь матовым кольцом
С огромной, ясной пентаграммой.

Нам подают китайский чай,
Мы оба кушаем печенье;
И — вспоминаем невзначай
Людей великих изреченья;
Летают звуки звонких слов,
Во мне рождая умиленье,
Как зов назойливых рогов,
Как тонкое, петушье пенье.

Ты мне давно, давно знаком —
(Знаком, быть может, до рожденья) —
Янтарно-розовым лицом,
Власы колеблющим перстом
И — длиннополым сюртуком
(Добычей, вероятно, моли) —
Знаком до ужаса, до боли!

Знаком большим безбровым лбом
В золотокосмом ореоле.

Сентябрь 1916
Москва

234. АСЕ

В безгневном сне, в гнетуще-грустной неге
Растворена так странно страсть моя...
Пробьет прибой на белопенном бреге,
Плеснет в утес соленая струя.

Вот небеса, наполнясь, как слезами,
Благоуханным блеском вечеров,
Блаженными блистают бирюзами
И — маревом моргающих миров.

И снова в ночь чернеют мне чинары.
Я прошлым сном страданье утолю:
Сицилия... И — страстные гитары...
Палермо, Монреаль... Радес...
Люблю!..

Июнь 1917
Демьяново

235. ШУТКА

В
Долине
Когда-то
Мечтательно

Перед
Вами
Я, —

Старый
Дурак, —

Игрывал
На
Мандолине.

Вы —
Внимали
Старательно.

И —
— Стародавний Зодиак.

Как-то
Избили
И
Выгнали
Меня
Из
Цирка

В
Лохмотьях
И
В
Крови,

Вопиющего —

— О Боге!
— Боге!
— Боге!

И
О —

— Вселенской любви.

Вы
Случайно
Встретили
Поющего
Паяца —

Постояли,
Послушали
Пение.

Вы —
Отметили

Дурацкий
Колпак.

Вы —
Сказали
Внимательно:

— «Это —
Путь
Посвящения...»

Вы —
Мечтательно
Уставились

В —
— Зодиак.

Декабрь 1915
Дорнах

236. ТЕЛА

На нас тела, как клочья песни спетой...
В небытие
Свисает где-то мертвенной планетой
Всё существо мое.

В слепых очах, в глухорожденном слухе —
Кричат тела.
Беспла765менные, каменные духи!
Бесплаvменная мгла!

Зачем простер на тверди оледелой
Свои огни
Разбитый дух — в разорванное тело,
В бессмысленные дни!

Зачем, за что в гнетущей, грозной гари,
В растущий гром
Мы — мертвенные, мертвенные твари —
Безжертвенно бредем?

Декабрь 1916
Москва

237. АСЕ

Уже бледней в настенных тенях
Свечей стекающих игра.
Ты, цепенея на коленях,
В неизреченном — до утра.

Теплом из сердца вырастая,
Тобой, как солнцем облечен,
Тобою солнечно блистая
В Тебе, перед Тобою — Он.

Ты — отдана небесным негам
Иной, безвременной весны:
Лазурью, пурпуром и снегом
Твои черты осветлены.

Ты вся как ландыш, легкий, чистый,
Улыбки милой луч разлит.
Смех бархатистый, смех лучистый
И — воздух розовый ланит.

О, да! Никто не понимает,
Что выражает твой наряд,
Что будит, тайно открывает
Твой брошенный, блаженный взгляд.

Любви неизреченной знанье
Во влажных, ласковых глазах;
Весны безвременной сиянье
В алмазно-зреющих слезах.

Лазурным утром в снеге талом
Живой алмазник засветлен;
Но для тебя в алмазе малом
Блистает алым солнцем — Он.

Сентябрь 1916
Москва

238. РОССИЯ

Луна двурога.
Блестит ковыль.
Бела дорога.
Летает пыль.

Летая, стая
Ночных сычей —
Рыдает в дали
Пустых ночей.

Темнеют жерди
Сухих осин;
Немеют тверди...
Стою — один.

Здесь сонный леший
Трясется в прах.
Здесь — конный, пеший
Несется в снах.

Забота гложет;
Потерян путь.
Ничто не сможет
Его вернуть.

Болота ржавы:
Кусты, огни,
Густые травы,
Пустые пни!

Декабрь 1916
Москва

239. ДЕКАБРЬ 1916 ГОДА

Из душных туч, змеясь, зигзаг зубчатый
Своей трескучею стрелой,
Запламенясь, в разъятые Палаты
Ударил, как иглой.

Светясь, виясь, в морозный морок тая,
Бросает в небо пламена
Тысячецветным светом излитая,
Святая Купина.

Встань, возликуй, восторжествуй, Россия!
Грянь, как в набат, —
Народная, свободная стихия
Из града в град!

18 декабря 1916
Москва

240. СЛОВО

В звучном жаре
Дыханий —
Звучно-пламенна мгла:

Там, летя из гортани,
Духовеет земля.

Выдыхаются
Души
Неслагаемых слов —

Отлагаются суши
Нас несущих миров.

Миром сложенным
Волит —
Сладких слов глубина.

И глубинно глаголет
Словом слов Купина.

И грядущего
Рая —
Тверденеет гряда,

Где, пылая, сгорая,
Не прейду: никогда!

Декабрь 1917
Дедово

241. К РОССИИ

Россия — Ты? .. Смеюсь и умираю,
И ясный взор ловлю...
Невероятная, Тебя — (я знаю) —
В невероятности люблю.

Опять в твои незнаемые муки
Слетает разум мой:
Пролейся свет в мои немые руки,
Глаголющие тьмой.

Как веющие, тающие маки,
Мелькающие мне, —
Как бабочки, сияющие знаки
Летят на грудь ко мне.

Судьбой — (Собой) — ты чашу дней наполни
И чашу дней испей.
Волною молний душу преисполни,
Мечами глаз добей.

Я — знаю всё... Я — ничего не знаю.
Люблю, люблю, люблю.
Со мною — Ты... Смеюсь и умираю.
И ясный взор ловлю.

Май 1918
Москва

242. АСЕ

Те же — приречные мрежи,
Серые сосны и пни;
Те же песчаники; те же —
Сирые, тихие дни;

Те же немеют с отвеса
Крыши поникнувших хат;
Синие линии леса
Немо темнеют в закат.

А над немым перелеском,
Где разредились кусты,
Там проясняешься блеском
Неугасимым — Ты!

Струями ярких рубинов
Жарко бежишь по крови:
Кроет крыло серафимов
Пламенно очи мои.

Бегом развернутых крылий
Стала крылатая кровь:
Давние, давние были
Приоткрываются вновь.

В давнем — грядущие встречи;
В будущем — давность мечты:
Неизреченные речи,
Неизъяснимая — Ты!

Сентябрь 1916
Москва

243. ДУХ

Я засыпал... (Стремительные мысли
Какими-то спиралями неслись;
Приоткрывалась в сознающем смысле
Сознанию неявленная высь) —

И видел духа... Искрой он возник...
Как молния, неуловимый лик
И два крыла — сверлящие спирали —
Кровавым блеском разрывали дали.

Открылось мне: в законах точных числ,
В бунтующей, мыслительной стихии —
Не я, не я — благие иерархии
Высокий свой запечатлели смысл.

Звезда... Она — в непеременном блеске..
Но бегает летучий луч звезды
Алмазами по зеркалу воды
И блещущие чертит арабески.

Май 1914
Арлесгейм

244. «Я»

В себе, — собой объятый
(Как мглой небытия), —
В себе самом разъятый,
Светлею светом «я».

В огромном темном мире
Моя рука растет;
В бессолнечные шири
Я солнечно простерт, —

И зрею, зрею зовом
«Воистину воскрес» —
В просвете бирюзовом
Яснеющих небес.

Березы в вешнем лесе,
Росея в серебре, —
Провеяли «воскресе»
На розовой заре...

«Я» — это Ты, Грядущий
Из дней во мне — ко мне —
В раскинутые кущи
Над «Ты Еси на не-бе-си!»

Декабрь 1917
Дедово

245. ВОСПОМИНАНИЕ

Мы — ослепленные, пока в душе не вскроем
Иных миров знакомое зерно.
В моей груди отражено оно.
И вот — зажгло знакомым, грозным зноем.

И вспыхнула, и осветилась мгла.
Всё вспомнилось — не поднялось вопроса:
В какие-то кипящие колеса
Душа моя, расплавясь, протекла.

Май 1914
Арлесгейм

246. ТЕЛО СТИХИЙ

В лепестке лазурево-лилейном
Мир чудесен.
Всё чудесно в фейном, вейном, змейном
Мире песен.

Мы — повисли,
Как над пенной бездною ручей.
Льются мысли
Блесками летающих лучей.

Октябрь 1916
Москва

247. ВСТРЕЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Танка

Медовый цветик сада
Шлет цветику свой стих...
Две пчелки вылетают
Из венчиков: два взгляда
Перекрестились в них.

Май 1918
Москва

248. КРЫЛАТАЯ ДУША

Танка

Твоих очей голубизна
Мне в душу ветерком пахнула:
Тобой душа озарена...
Вот вешним щебетом она
В голубизну перепорхнула.

Май 1918
Москва

249. ВОДА

Танка

А вода? Миг — ясна...
Миг — круги, ряби: рыбка...
Так и мыслы!.. Вот — она...
Но она — глубина,
Заходившая зыбко.

Июнь 1916
Дорнах

250. ЖИЗНЬ

Танка

Над травой мотылек —
Самолетный цветок...
Так и я: в ветер — смерть —
Над собой — стебельком —
Пролечу мотыльком.

Июнь 1916
Дорнах

251. ЛАЗУРИ

Танка

Светлы, легки лазури...
Они — черны, без дна;
Там — мировые бури.
Так жизни тишина:
Она, как ночь, черна.

Июнь 1916
Дорнах

252. АСЕ

(а-о)

Снеговая блистает роса:
Налила серебра на луга;
Жемчугами дрожат берега;
В светлоглазых алмазах роса.

Мы с тобой — над волной голубой,
Над волной — берегов перебой;
И червонное солнца кольцо:
И — твое огневое лицо.

Сентябрь 1913
Христиания

253. УТРО

(и-е-а-о-у)

Над долиной мглистой в выси синей
Чистый-чистый серебристый иней.

Над долиной, — как изливы лилий,
Как изливы лебединых крылий.

Зеленеют земли перелеском,
Снежный месяц бледным, летним блеском, —

В нежном небе нехотя юнеет,
Хрусталея, небо зеленеет.

Вставших глав блистающая стая
Остывает, в дали улетая...

Синева ночная, — там, над нами,
Синева ночная давит снами!

Молньями как золотом в болото
Бросит очи огненные кто-то.

Золотом хохочущие очи!
Молотом грохочущие ночи!

Заликует, — всё из перламутра
Бурное, лазуревое утро:

Потекут в излучине летучей
Пурпуром предутренние тучи.

Ноябрь 1917
Сергиев Посад

254. АСЕ

(При прощании с ней)

Лазурь бледна: глядятся в тень
Громадин каменные лики:
Из темной ночи в белый день
Сверкнут стремительные пики.

За часом час, за днями дни
Соединяют нас навеки:
Блестят очей твоих огни
В полуопущенные веки.

Последний, верный, вечный друг, —
Не осуди мое молчанье;
В нем — грусть: стыдливый в нем испуг,
Любви невыразимой знанье.

Август 1916
Дорнах

255. АСЕ

Опять — золотеющий волос,
Ласкающий взор голубой;
Опять — уплывающий голос;
Опять я: и — Твой, и — с Тобой.

Опять бирюзеешь напевно
В безгневно зареющем сне;
Приди же, моя королевна, —
Моя королевна, ко мне!

Плывут бирюзовые волны
На веющем ветре весны:
Я — этими волнами полный,
Одетая светами — Ты!

Сентябрь 1916
Москва

256. «Я» И «ТЫ»

Говорят, что «я» и «ты» —
Мы телами столкнуты.

Тепленеет красный ком
Кровопарным облаком.

Мы — над взмахами косы
Виснущие хаосы.

Нет, неправда: гладь тиха
Розового воздуха, —

Где истаял громный век
В легкий лепет ласточек, —

Где, заяснясь, «я» и «ты» —
Светлых светов яхонты, —

Где и тела красный ком
Духовеет облаком.

1918
Москва

257. ЗОВ

Сквозь фабричных гудков
Сумасшедшие ревы,
Мы в тиши городов
Слышим тихие зовы.

Исполняется час:
И — восходит в тумане,
Как прозрачный алмаз,
Всё из ярких блистаний, —

Снеговое лицо
На огнистом закате,
Замыкая кольцо
Славословящих братий.

Исполняйтесь, вы, — дни.
Распадайтесь, вы, — храмы.
Наши песни — огни.
Облака — фимиамы.

Май 1914
Арлесгейм

258. РОДИНЕ

В годины праздных испытаний,
В годины мертвой суеты —
Затверденей алмазом брани
В перегоревших углях — Ты.

Восстань в сердцах, сердца исполни!
Произрастай, наш край родной,
Неопалимой блеском молний,
Неодолимой купиной.

Из моря слез, из моря муки
Судьба твоя — видна, ясна:
Ты простираешь ввысь, как руки,
Свои святые пламена —

Туда, — в развалы грозной эры
И в визг космических стихий, —
Туда, — в светлеющие сферы,
В грома летящих иерархий.

Октябрь 1916
Москва

259. ИНСПИРАЦИЯ

В волне
Золотистого
Хлеба
По-прежнему ветер бежит.

По-прежнему
Нежное
Небо
Над зорями грустно горит.

В безмирные,
Синие
Зыби
Лети, литургия моя!

В земле —
Упадающей
Глыбе —
О небо, провижу тебя...

Алмазами
Душу
Наполни,
Родной стариною дыша: —

Из светочей,
Блесков,
И молний, —
Сотканная, — плачет душа.

Всё — вспомнилось: прежним приветом
Слетает
В невольный
Мой стих —

Архангел, клокочущий светом, —
На солнечных
Крыльях
Своих.

Июнь 1914
Арлесгейм

260. МЛАДЕНЦУ

Играй, безумное дитя,
Блистай летающей стихией:
Вольнолюбивым светом «Я»,
Явись, осуществись, — Россия.

Ждем: гробовая пелена
Падет мелькающими мглами;
Уже Небесная Жена
Нежней звездеет глубинами, —

И, оперяясь из весны,
В лазури льются иерархии;
Из легких крылий лик Жены
Смеется радостной России.

Март 1918
Москва

261. РОДИНЕ

Рыдай, буревая стихия,
В столбах громового огня!
Россия, Россия, Россия, —
Безумствуй, сжигая меня!

В твои роковые разрухи,
В глухие твои глубины, —
Струят крылорукие духи
Свои светозарные сны.

Не плачьте: склоните колени
Туда — в ураганы огней,
В грома серафических пений,
В потоки космических дней!

Сухие пустыни позора,
Моря неизливные слез —
Лучом безглагольного взора
Согреет сошедший Христос.

Пусть в небе — и кольца Сатурна,
И млечных путей серебро, —
Кипи фосфорически бурно,
Земли огневое ядро!

И ты, огневая стихия,
Безумствуй, сжигая меня,
Россия, Россия, Россия —
Мессия грядущего дня!

Август 1917
Поворовка

262. ГОЛУБЬ

Вестью овеяны,
Души прострем —
В светом содеянный
Радостный гром.

В неописуемый,
В огненный год, —
Духом взыскуемый
Голубь сойдет.

Март 1918
Москва

ХРИСТОС ВОСКРЕС

Поэма

263. ХРИСТОС ВОСКРЕС

1

В глухих
Судьбинах,
В земных
Глубинах,
В веках,
В народах,
В сплошных
Синеродах
Небес
        — Да пребудет
        Весть:
        — «Христос
        Воскрес!» —
Есть.
Было.
Будет.

2

Перегорающее страдание
Сиянием
Омолнило
Лик,
Как алмаз, —
        — Когда что-то,
        Блеснувши неимоверно,
        Преисполнило этого человека,

Простирающего длани
От века и до века —
За нас;
— Когда что-то
Зареяло
Из вне-времени,
Пронизывая Его от темени
До пяты...

И провеяло
В ухо
Вострубленной
Бурею Духа: —
— «Сын,
Возлюбленный —
Ты!»

Зарея
Огромными зорями,
В небе
Прорезалась Назарея...
Жребий —
Был брошен.

8

Толпы народа
На Иордане
Увидели явственно: два
Крыла.

Сиянием
Преисполнились
Длани
Этого человека...

И перегорающим страданием
Века
Омолнилась
Голова.



И по толпам
Народа
Желтым
Маревом,
Как заревом,
Запрядала разорванная мгла, —

Над, как дым,
Сквозною головою
Веющею
Верою
Кропя Его слова, —

Из лазоревой окрестности,
В зеленеющие
Местности
Опускалось что-то световою
Атмосферою...

Прорезывался луч
В Новозаветные лета...

И, помавая кровавыми главами
Туч,
Назарея
Прорезывалась славами
Света.

4

После Он простер
Мертвеющие, посинелые от муки
Руки
И взор —

В пустые
Тверди...

Руки
Повисли,
Как жерди,

В густые
Мраки...

Измученное, перекрученное
Тело
Висело
Без мысли.

Кровавились
Знаки,
Как красные раны,
На изодранных ладонях
Полутрупа.

Глаз остеклелою впадиною
Уставился пусто
И тупо
В туманы
И мраки,
Нависшие густо.

А воины в бронях,
Поблескивая шлемами,
Проходили под перекладиною.

5

Голова
Окровавленного,
Лохматого
Разбойника,
Распятого —
  — Как и Он —
Хохотом
Насмешливо приветствовала:
  — «Господи,
  Приемли
  Новоявленного
  Сына Твоего!»

И тяжелым грохотом
Ответствовали
Земли.

6

В опрокинутое мировое дно,
Где не было никакого солнца, которое
На Иордани
Слетело,
Низринутое
В это тело
Перстное и преисполненное бремени —

Какое-то ужасное *Оно,*
С мотающимися перепутанными волосами,
Угасая
И простирая рваные
Израненные
Длани, —
В девятый час
Хрипло крикнуло из темени
На нас:
— «Или... Сафахвани!»

7

Деревянное тело
С темными пятнами впадин
Провалившихся странно
Глаз
Деревенеющего Лика, —

Проволокли, —
Точно желтую палку,
Забинтованную
В шелестящие пелены —

Проволокли
В ей уготованные
Глубины.

Без слов
И без веры
В воскресение...

Проволокли
В пещеры —
В тусклом освещении
Красных факелов.

8

От огромной скорби
Господней
Упадали удары
Из преисподней —

В тяжелый,
Старый
Шар.

Обрушились суши
И горы,

Изгорбились
Бурей озера...
И изгорбились долы...
Разламывались холмы...
А души —
Душа за душою —
Валились в глухие тьмы.

Проступали в туманы
Неясные
Пасти
Чудовищной глубины...

Обнажались
Обманы
И ужасные
Страсти
Выбежавшего на белый свет
Сатаны.

В землетрясениях и пожарах
Разрывались
Старые шары
Планет.

9

По огромной,
По темной
Вселенной,
Шатаясь,
Таскался мир,
Облекаясь,
Как в саван тленный,
В разлагающийся эфир.

Было видно, как два вампира,
С гримасою красных губ,
Волокли по дорогам мира
Забинтованный труп.

10

Нам желтея,
В нас без мысли
Подымаясь, как вопрос, —

Эти проткнутые ребра,
Перекрученные руки,
Препоясанные чресла —
В девятнадцатом столетии провисли:

— «Господи,
И это
Был —
Христос?»

Но это —
Воскресло...

11

Снова там —
Терновые
Венцы.

Снова нам —
Провисли

Мертвецы
Под двумя столбами с перекладиною.

Хриплыми глухими голосами,
Перепутанными волосами,
Остеклелой впадиною
Глаз —
Угрожая, мертвенные
Мысли
Остро, грозно, мертвенно
Прорезываются в нас.

12

Разбойники
И насильники —
Мы.

Мы над телом Покойника
Посыпаем пеплом власы
И погашаем
Светильники.
В прежней бездне
Безверия
Мы, —
Не понимая,
Что именно в эти дни и часы —

Совершается
Мировая
Мистерия...

13

Мы забыли: —

Из темных
Расколов
В пещеру, где труп лежал,
С раскаленных,
Огромных

Престолов
Преисподний пламень
Бежал.

Отбросило старый камень;
Сорваны пелены:
Тело,
От почвы оторванное,
Слетело
Сквозь землю
В разъятые глубины.

14

Труп из вне-времени
Лазурей,
Пронизанный от темени
До пяты,
Бурей
Вострубленной
Вытянулся от земли до эфира...

И грянуло в ухо
Мира:
— «Сын,
Возлюбленный —
Ты!»
Пресуществленные божественно
Пелены,
Как порфира,
Расширенная без меры,
Пронизывали мировое пространство,
Выструиваясь из земли.

Пресуществленное невещественно
Тело —
В пространство
Развеяло атмосферы,
Которые сияюще протекли.

Из пустыни
Вне-времени

Преисполнилось светами
Мировое дно, —

Как оно —
Тело
Солнечного Человека,
Сияющее новозаветными летами
И ставшее отныне
И до века —
Телом земли.

Вспыхнула Вселенной
Голова,
И нетленно
Простертые длани
От Запада до Востока, —

Как два
Крыла
Орла,
Сияющие издалека.

15

Страна моя
Есть
Могила,
Простершая
Бледный
Крест, —

В суровые своды
Неба
И —
В неизвестности
Мест.

Обвили убогие
Местности
Бедный,
Убогий Крест —
В сухие,
Строгие

Колосья хлеба,
Вытарчивающие окрест.

Святое,
Пустое
Место, —
В святыне
Твои сыны!

Россия,
Ты ныне
Невеста...
Приемли
Весть
Весны...

Земли,
Прордейте
Цветами
И прозеленейте
Березами:

Есть —
Воскресение...
С нами —
Спасение...

Исходит огромными розами
Прорастающий Крест!

16

Железнодорожная
Линия...
Красные, зеленые, синие
Огоньки,
И взлетающие
Стрелки, —

Всё, всё, всё
Сулит
Невозможное...

Твердят
Голосящие
Вдали паровики,

Убегающие
По линии:
«Да здравствует третий
Интернационал».

Мелкий
Дождичек стрекочет
И твердит:
«Третий
Интернационал».

Выкидывает телеграфная лента:
«Интернационал»...

Железнодорожная
Линия,
Убегающая в сети
Туманов —
Голосит свистками
распропагандированного
Паровика
Про невозможное.

И раскидывает свои блески —
За ветвями зеленеющего тополя...
Раздаются сухие трески
Револьверных переливов.

17

А из пушечного гула
Сутуло
Просунулась спина
Очкастого, расслабленного
Интеллигента.
Видна, —
Мохнатая голова,
Произносящая
Негодующие
Слова

О значении
Константинополя
И проливов, —
В дующие
Пространства
И в сухие трески
Револьверных взрывов...

На мгновение
Водворяется странная
Тишина, —
В которую произносятся слова
Расслабленного
Интеллигента.

18

Браунинг
Красным хохотом
Разрывается в воздух, —

Тело окровавленного
Железнодорожника
Падает под грохотом.

Подымают его
Два безбожника

Под забором...
На кого-то напали...

На крик и на слезы —
Ответствуют паровозы,
Да хором
Поют о братстве народов...

Знамена ответствуют
Лепетом.

И воробьи с пригородных огородов
Приветствуют
Щебетом —

Падающих покойников.

19

Обороняясь от кого-то,
Заваливает дровами ворота
Весь домовый комитет.

Под железными воротами —
Кто-то...

Злая, лающая тьма
Прилегла —
Нападает
Пулеметами
На дома, —
И на членов домового комитета.

Обнимает
Странными туманами
Тела, —

Злая, лающая тьма
Нападает
Из вне-времени —
Пулеметами...

20

Из раздробленного
Темени
С переломленной
Руки —
Хлещут красными
Фонтанами
Ручьи...

И какое-то ужасное *Оно*
С мотающимися перекрученными
Руками
И неясными
Пятнами впадин
Глаз —
Стремительно
Проволокли —

Точно желтую забинтованную
Палку, —

Под ослепительный
Алмаз
Стоящего вдали
Автомобиля.

21

Это жалкое, желтое тело
Пятнами впадин
Глаз, —

Провисая между двух перекладин,
Из тьмы
Вперяется
В нас.

Это жалкое, желтое тело
Проволакиваем:
Мы —
　　　— В себя: —
Во тьмы
И в пещеры
Безверия, —

Не понимая,
Что эта мистерия
Совершается нами —
　　　　　　　　　　— в нас.

Наше жалкое, желтое тело
Пятнами впадин
Глаз, —

Провисая меж двух перекладин,
Из тьмы
Вперяется
В нас.

22

А весть
Прогремела Осанной.

Есть
Странный
Пламень
В пещере безверия, —

Когда озаряется
Мгла
И от нас
Отваливаются
Тела, —

Как падающий камень.

23

Россия,
Страна моя —

Ты — та самая,
Облеченная солнцем Жена,
К которой
Возносятся
Взоры...

Вижу явственно я:

Россия,
Моя, —
Богоносица,
Побеждающая Змия...

Народы,
Населяющие Тебя,
Из дыма

Простерли
Длани

В Твои пространства, —
Преисполненные пения
И огня
Слетающего Серафима.

И что-то в горле
У меня
Сжимается от умиления.

24

Я знаю: огромная атмосфера
Сиянием
Опускается
На каждого из нас, —

Перегорающим страданием
Века
Омолнится
Голова
Каждого человека.

И Слово,
Стоящее ныне
Посередине

Сердца,
Бурями вострубленной
Весны,
Простерло
Гласящие глубины
Из огненного горла:

— «Сыны
Возлюбленные, —

Христос Воскрес!»

Апрель 1918
Москва

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

Поэма



264. ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Киркою рудокопный гном
Согласных хрусты рушит в томы...
Я — стилистический прием,
Языковые идиомы!
Я — хрустом тухнущая пещь, —
Пеку прием: стихи — в начинку;
Давно поломанная вещь,
Давно пора меня в починку.
Висок — винтящая мигрень...
Душа — кутящая...
                                    И — что же?..
Я в веселящий Духов день
Склонен перед тобою, боже!

Язык, запрядай тайным сном!
Как жизнь, восстань и радуй: в смерти!
Встань — в жерди: пучимым листом!
Встань — тучей, горностаем: в тверди!
Язык, запрядай вновь и вновь!
Как бык, обрадуй зыком плоти:
Как лев, текущий рыком в кровь,
О сердце, взмахами милоти!
Орел: тобой пересекусь...
Ты плоти — жест, ты знанью — числа...
«Ха» с «И» в «Же» — «Жизнь»:
                                    Христос Иисус —
Знак начертательного смысла...

Ты в слове Слова — богослов:
О, осиянная Осанна
Матфея, Марка, Иоанна —
Язык! .. Запрядай: тайной слов!

О, не понять вам, гномы, гномы:
В инструментаций гранный треск —
Огонь, вам странно незнакомый,
Святой огонь взвивает блеск.

1

Взойди, звезда воспоминанья;
Года, пережитые вновь:
Поэма — первое свиданье,
Поэма — первая любовь.
Я вижу — дующие зовы.
Я вижу — дующие тьмы:
Войны поток краснобагровый,
В котором захлебнулись мы...
Но, нет *«вчера»* и нет *«сегодня»:*
Всё прошлое озарено,
Лишь песня, ласточка господня,
Горюче взвизгнула в окно...
Блести, звезда моя, из дали!
В пути года, как версты, стали:
По ним, как некий пилигрим,
Бреду перед собой самим...
Как зыби, зыблемые в ветры,
Промчите дни былой весны, —
Свои ликующие метры,
Свои целующие сны...

Год — девятьсотый: зори, зори! ..
Вопросы, брошенные в зори...

Меня пленяет Гольбер Гент [1]...
И я — не гимназист: студент...
Сюртук — зеленый, с белым кантом;
Перчатка белая в руке;

---

[1] Английский прерафаэлит.

Я — меланхолик, я — в тоске,
Но выгляжу немного франтом;
Я, Майей мира полонен,
В волнах летаю котильона,
Вдыхая запах «poudre Simon»,
Влюбляясь в розы Аткинсона [1].
Но, тексты чтя Упанишад,
Хочу восстать Анупадакой [2],
Глаза таращу на закат
И плачу над больной собакой;
Меня оденет рой Ананд [3]
Венцом таинственного дара:
Великий духом Даинанд [4],
Великий делом Дармотарра [5]...

Передо мною мир стоит
Мифологической проблемой:
Мне Менделеев говорит
Периодической системой;
Соединяет разум мой
Законы Бойля, Ван-дер-Вальса —
Со снами веющего вальса,
С богами зреющею тьмой:
Я вижу огненное море
Кипящих веществом существ;
Сижу в дыму лабораторий
Над разложением веществ;
Кристаллизуются растворы
Средь колб, горелок и реторт...
Готово: порошок растерт...

Бывало, — затеваю споры...

Пред всеми развиваю я
Свои смесительные мысли;

---

[1] «Уайт-роза» — духи фабрики Аткинсона.

[2] «Анупадака» — безначальный: высокая ступень посвящения.

[3] «Ананда» — ученик Будды.

[4] Суами Сарасвати Даинанд — проповедник Индии XIX столетия.

[5] Дармотарра — буддийский логик, последователь и комментатор философа Дармакирти (школа Дигнаги).

И вот — над бездной бытия
Туманы темные повисли...
— «Откуда этот ералаш?» —
Рассердится товарищ наш,
Беспечный франт и вечный скептик:
— «Скажи, а ты не эпилептик?»

Меня, бывало, перебьет
И миф о мире разовьет...

Жил бородатый, грубоватый
Богов белоголовый рой:
Клокочил бороды из ваты;
И — обморочил нас игрой.
В метафорические хмури
Он бросил бедные мозги,
Лия лазуревые дури
На наши мысленные зги;
Аллегорическую копоть,
Раздувши в купол голубой,
Он дружно принимался хлопать
На нас, как пушками, судьбой;
Бросался облачной тропою,
От злобы лопаясь, — на нас,
Пустоголовою толпою,
Ругая нас... В вечерний час, —
Из тучи выставив трезубцы,
Вниз, по закатным янтарям,
Бывало, боги-женолюбцы
Сходили к нашим матерям...

Теперь переменились роли;
И больше нет метаморфоз;
И вырастает жизнь из соли;
И движим паром паровоз;
И Гревса Зевс — не переладит;
И физик — посреди небес;
И ненароком Брюсов адит;
И гадость сделает Гадес;
И пролетарий — горний летчик;
И — просиявший золотарь;

И переводчик — переплетчик;
И в настоящем — та же старь!

Из зыбей зыблемой лазури,
Когда отвеяна лазурь, —
Сверкай в незыблемые хмури,
О месяц, одуванчик бурь!
Там — обесславленные боги
Исчезли в явленную ширь:
Туда серебряные роги,
Туда, о месяц, протопырь!
Взирай оттуда, мертвый взорич,
Взирай, повешенный, и стынь, —
О злая, бешеная горечь,
О оскорбленная ледынь!
О тень моя: о тихий братец,
У ног ты — вот, как черный кот:
Обманешь взрывами невнятиц;
Восстанешь взрывами пустот.

Но верю: ныне очертили
Эмблемы вещей глубины —
Мифологические были,
Теологические сны,
Сплетаясь в вязи аллегорий:
Фантомный бес, атомный вес,
Горюче вспыхнувшие зори
И символов дремучий лес,
Неясных образов законы,
Огромных космосов волна...

Так шумом молодым, зеленым, —
Меня овеяла весна;

Так в голове моей фонтаном
Взыграл, заколобродил смысл;
Так вьются бисерным туманом
Над прудом крылья коромысл;
Так мысли, легкие стрекозы,
Летят над небом, стрекоча;

Так белоствольные березы
Дрожат, невнятицей шепча;
Так звуки слова *«дар Валдая»*
Балды, над партою болтая, —
Переболтают в *«дарвалдая»*...

Ах, много, много *«дарвалдаев»* —
Невнятиц этих у меня.
И мой отец, декан Летаев,
Руками в воздух разведя:
«Да, мой голубчик, — ухо вянет:
Такую, право, порешь чушь!»
И в глазках крошечных проглянет
Математическая сушь.
Широконосый и раскосый
С жестковолосой бородой
Расставит в воздухе вопросы:
Вопрос — один; вопрос — другой;
Неразрешимые вопросы...
Так над синеющим цветком,
Танцуя в воздухе немом,
Жужжат оранжевые осы.

И было: много, много дум;
И метафизики, и шумов...

И строгой физикой мой ум
Переполнял: профессор Умов [1].
Над мглой космической он пел,
Развив власы и выгнув выю,
Что парадоксами Максвелл [2]
Уничтожает энтропию,
Что взрывы, полные игры,
Таят томсоновые вихри [3],
И что огромные миры
В атомных силах не утихли,

---

[1] Профессор физики Московского Университета в 900-х годах.
[2] Известный физик.
[3] Томсон — английский физик, автор теории вихревого строения вселенной.

Что мысль, как динамит, летит
Смелей, прикидчивей и прытче,
Что опыт — новый...

— «Мир — взлетит!» —
Сказал, взрываясь, Фридрих Нитче...

Мир — рвался в опытах Кюри
Атомной, лопнувшею бомбой
На электронные струи
Невоплощенной гекатомбой;
Я — сын эфира, Человек, —
Свиваю со стези надмирной
Своей порфирою эфирной
За миром мир, за веком век.

Из непотухнувшего гула,
Взметая брызни, взвой огня,
Волною музыки меня
Стихия жизни оплеснула:
Из летаргического сна
В разрыв трагической культуры,
Где бездна гибельна (без дна!), —
Я, ахнув, рухнул в сумрак хмурый, —

— Как Далай-лама молодой
С белоголовых Гималаев, —

Передробляемый звездой,
На зыби, зыблемые Майей...

В душе, органом проиграв,
Дни, как орнамент, полетели,
Взвиваясь запахами трав,
Взвиваясь запахом метели.
И веял Май — взвивной метой;
Июнь — серьгою бирюзовой;
Сентябрь — листвою золотой;
Декабрь — пургой белоголовой.
О, лазулитовая лень,
О, меланитовые очи!

Ты, колокольчик белый, — день!
Ты, колокольчик синий, — ночи!

Дышал граненый мой флакон;
Меня онежили *уайт-розы*[1],
Зеленосладкие, как сон,
Зеленогорькие, как слезы.
В мои строфические дни
И в симфонические игры,
Багрея, зрели из зари
Дионисические тигры...
Перчатка белая в руке;
Сюртук — зеленый: с белым кантом...
В меня лобзавшем ветерке
Я выглядел немного франтом,
Умея дам интриговать
Своим резвящимся рассудком
И мысли легкие пускать,
Как мотыльки по незабудкам;
Вопросов комариный рой
Умел развеять в быстротечность,
И — озадачить вдруг игрой, —
Улыбкой, брошенною... в вечность...
Духовный, негреховный свет, —
— Как нежный свет снегов нездешних,
Как духовеющий завет,
Как поцелуи зовов нежных,
Как струи слова Заратустр, —

Вставал из ночи темнолонной...
Я помню: переливы люстр;
Я помню: зал белоколонный
Звучит Бетховеном, волной;
И *Благородное собранье*[2], —

Как мир — родной (как мир весной),
Как старой драмы замиранье,
Как то, что смеет жизнь пропеть,
Как то, что веет в детской вере...

---

[1] Духи.
[2] Зал Благородного собрания — московский концертный зал в 900-х годах.

2

На серой вычищенной двери
Литая, чищеная медь...

Бывало: пламенная вьюга;
И в ней — прослеженная стезь;
Томя предчувствиями юга,
Бывало, всё взревает здесь;
В глазах полутеней и светов,
Мне лепестящих, нежных цветов
Яснеет сне́жистая смесь;
Следя перемокревшим снегом,
Озябший, заметенный весь,
Бывало, я звонился здесь
Отдаться пиршественным негам.

Михал Сергеич Соловьев,
Дверь отворивши мне без слов,
Худой и бледный, кроя плэдом
Давно простуженную грудь,
Лучистым золотистым следом
Свечи указывал мне путь,
Качаясь мерною походкой,
Золотохохлой головой,
Золотохохлою бородкой, —
Прищурый, слабый, но живой.

Сутуловатый, малорослый
И бледноносый — подойдет,
И я почувствую, что — взрослый,
Что мне идет двадцатый год;
И вот, конфузясь и дичая,
За круглым ласковым столом
Хлебну крепчающего чая
С ароматическим душком;
Михал Сергеич повернется
Ко мне из кресла цвета «бискр»;
Стекло пенснэйное проснется,
Переплеснется блеском искр;
Развеяв веером вопросы,
Он чубуком из янтаря, —

Дымит струями папиросы,
Голубоглазит на меня;
И ароматом странной веры
Окурит каждый мой вопрос;
И, мне навеяв атмосферы,
В дымки просовывает нос,
Переложив на ногу ногу,
Перетрясая пепел свой...

Он — длань, протянутая к богу
Сквозь нежный ветер пурговой!

Бывало, сбрасывает повязь
С груди — переливной, родной:
Глаза — готическая прорезь;
Рассудок — розблеск искряной!
Он видит в жизни пустоглазой
Рои лелеемых эмблем,
Интересуясь новой фазой
Космологических проблем,
Переплетая теоремы
С ангелологией Фомы;
И — да: его за эти темы
Ужасно уважаем мы;
Он книголюб: любитель фабул,
Знаток, быть может, инкунабул,
Слагатель не случайных слов,
Случайно не вещавших миру,
Которым следовать готов
Один Владимир Соловьев...

Я полюбил укромный кров —
Гостеприимную квартиру...

Зимой, в пурговые раскаты
Звучало здесь «Навек одно!»
Весною — красные закаты
Пылали в красное окно,
На кружевные занавески,
Лия литые янтари;
Любил египетские фрески
На выцветающих драпри,

Седую мебель, тюли, даже
Любил обои цвета *«бискр»*, —
Рассказы смазанных пейзажей,
Рассказы красочные искр.

Казалось: милая квартира
Таила летописи мира.

О. М., жена его, — мой друг,
Художница —
— (в глухую осень
Я с ней... Позвольте — да: лет восемь
По вечерам делил досуг) —

Молилась на Четьи-Минеи,
Переводила де Виньи;
Ее пленяли Пиренеи,
Кармен, Барбье д'Оревильи,
Цветы и тюлевые шали —
Всё переписывалась с «Алей»,
Которой сын писал стихи,
Которого по воле рока
Послал мне жизни бурелом;
Так имя Александра Блока
Произносилось за столом
«Сережей», сыном их: он — мистик,
Голубоглазый гимназистик:
О Логосе мы спорим с ним,
Не соглашаясь с Трубецким,
Но соглашаясь с новым словом,
Провозглашенным Соловьевым
О *«Деве Радужных Ворот»* [1],
О деве, что на нас сойдет,
Овеяв бирюзовым зовом,
Всегда таимая средь нас:
Взирала из любимых глаз.

«Сережа Соловьев» — ребенок,
Живой смышленый ангеленок,

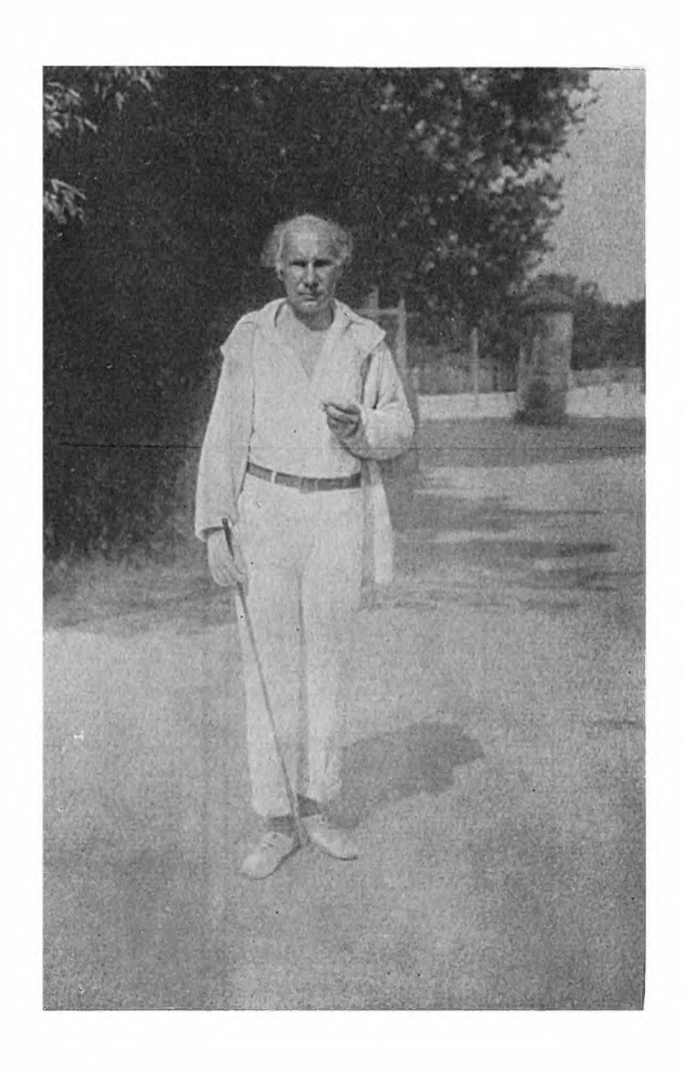
---

[1] Гностический термин Софии, Премудрости, встречаемый в стихотворении Вл. Соловьева: «Не Изида Трехвенечная ту весну им принесет, а не тронутая, вечная, *«Дева Радужных Ворот»*...»

Над детской комнаткой своей
Восставший рано из пеленок, —
Роднею Соловьевской всей
Он встречен был, как Моисей:
Две бабушки, четыре дяди,
И, кажется, шестнадцать теть
Его выращивали пяди,
Но сохранил его господь;
Трех лет, ну право же-с, ей-богу-с, —
Трех лет (скажу без лишних слов),
Трех лет ему открылся Логос,
Шести — Григорий Богослов,
Семи — словарь французских слов;
Перелагать свои святыни
Уже с четырнадцати лет
Умея в звучные латыни,
Он — вот, провидец и поэт,
Ключарь небес, матерый мистик,
Голубоглазый гимназистик, —
Взирает в очи Сони Н-ой,
Огромный заклокочив клочень;
Мне блещут очи — очень, очень —
Надежды Львовны Зариной.
Так соглашаясь с Соловьевым,
Провидим Тайную весной:
Он — Сонечку, живую зовом;
Я — Заревую: в Зариной...

Она!.. Мы в ней души не чаем...
Но кто она?.. Сидим за чаем:
Под хохот громкий пурговой
Вопрос решаем роковой.
Часы летят... Не замечаем...
— «Скажи, тобой увлечена
Надежда Львовна Зарина?..»
— «Не знаю я...»
　　　　　　　　— «Быть может!»
　　　　　　　　　　　　　　　— «А?!»

Михал Сергеич повернется
Ко мне из кресла цвета *«бискр»*;





Стекло пенснэйное проснется,
Переплеснется блеском искр;
Его он сбрасывает кротко
Золотохохлой головой
С золотохохлою бородкой, —
Прищурый, слабый, но живой;
И клонит кончик носа снова
В судьбу вопроса рокового:
— «Надежда Львовна Зарина!
Как?!. Воплощение Софии?..»

«В ней мне пророчески ясна
Судьба священная России:
Она есть Львовна, дочка Льва;
Лев — символический, Иудин...»

— «Зарин, Лев Львович, — пошлый франт?.
Безусый, лысый коммерсант?»
«Вопрос гностически не труден:
Серапис, или Апис, — бык,
Таящий неба громкий зык,
Есть только символ чрезвычайный
Какой-то сокровенной тайны...»

— «Ну хорошо, а что есть Лев?»

— «Иудин Лев — веков напев».

. . . .

Высокий, бледный и сутулый,
Ты где, Сережа, милый брат;
Глаза — пророческие гулы,
Глаза, вперенные в закат:
Выходишь в Вечность... на Арбат [1];
Бывало: бродишь ты без речи;
И мне ясней слышна, видна:
Арбата юная весна,
Твоя сутулая спина,

---

[1] Улица в Москве.

Твои приподнятые плечи,
Бульваров первая трава.
И вдруг: как на зеркальной зыбке
Пройдут пузыриками рыбки, —
Меж нами умные слова
И вовсе детские улыбки:
И разговор о сем, о том,
О бесконечности, о Браме,
О Вечности, огромной даме,
Перерастают толстый том;
И на Арбате мчатся в Вечность:
Пролеток черных быстротечность,
Рабочий, гимназист, кадет. . .;
Проходят, ветер взвив одежды,
Глупцы, ученые, невежды;
Зарозовеет тихий свет
С зеленой вывески: *«Надежды»* [1]
Над далью дней и далью лет. . .

Смутяся уличною давкой,
Смутясь колониальной лавкой,
Я упраздняю это всё:
«Мир — представление мое!»
Ты — пламенный, в крылатке серой
Средь зданий, каменных пустынь:
Глаза, открытые без меры, —
В междупланетную ледынь,
Свои расширенные сини
Бросают, как немой вопрос,
Под шапкой пепельных волос.

Бывало: за Девичьим Полем
Проходит клиник белый рой;
Мы тайну сладостную волим,
Вздыхаем радостной игрой:
В волнах лучистого эфира
Читаем летописи мира.
Из перегаров красных трав
В золотокарей пыли летней,
Порывом пыли плащ взорвав,

---

[1] Писчебумажный магазин на Арбате.

Шуршат мистические сплетни...
Проходит зá городом: лес
Качнется в небе бирюзовом;
Проснется зов: «Воанергес!»
Пахнёт: Иоанном Богословом...
И — возникает в неба ширь
Новодевичий монастырь.

Огромный розовый собор
Подъемлет купол златозор;
А небо — камень амиант —
Бросает первый бриллиант;
Забирюзевший легкий пруд,
Переливаясь в изумруд,
Дробим зеркальною волной;
И — столб летает искряной...
Там небо бледное, упав,
Перетянулось в пояс трав;
Там бездна — вверх, и бездна — вниз;
Из бледных воздухов и риз;
Там в берега плеснет волной —
Молниеносною блесной...

Из мира, суетной тюрьмы, —
В ограду молча входим мы...

Крестов протянутая тень
В густую душную сирень,
Где ходит в зелени сырой
Монашек рясофорный рой,
Где облак розовый сквозит,
Где нежный воздух бирюзит;
Здесь, сердце вещее, — измлей
В печаль белеющих лилей;
В лилово-розовый левкой
Усопших, боже, упокой...

Присел захожий старичок,
Склонясь на палку... В ветерок —
Слетают скорбные листы;
Подъемлют сохлые кресты

Плач переблеклых огоньков
И клянч фарфоровых венков.
Ты, сердце, — неумолчный стриж —
Кого зовешь, о чем визжишь?

Кроваво-красная луна
Уже печальна и бледна...
Из церкви в зелени сырой
Проходит в кельи черный рой;
Рукопростертые кресты
Столпились в ночь... Приди же, Ты, —
Из прежних дней, из прежних лет!..
В часовне — цветоблеклый свет:
В часовне житель гробовой
К стеклу прижался головой;
И в стекла красные глядит,
И в стекла красные стучит.
Чуть фосфореющий из трав,
Сквозною головою встав, —
Подъемлет инок неживой
Над аналоем куколь свой...

. . . .
. . . .

О, незабвенные прогулки,
О, незабвенные мечты,
Москвы кривые переулки...
Промчалось всё: где, юность, ты!..
Перемелькали наши взлеты
На крыльях дружбы и вражды
В неотрывные миголеты,
В неотразимые судьбы,
Чтоб из сумятицы несвязной,
И из невнятиц бытия
В тиски подагры неотвязной
Склонился лысиною я.
Зальются слабнущие светы
Под марамо́рохом [1] зимы

[1] Мараморохи — народное выражение в значении «мороки».

Переливно́й струею Леты,
Незаливной струею тьмы...
Рассудку, рухнувшему, больно, —
Рассудку, тухнущему в ночь...
И возникают сны невольно,
Которых мне не превозмочь...

. . . .

Да, — и опора в детской вере,
И Провидения рука —
На этой вычищенной двери
Литая, медная доска:
Михал Сергеич Соловьев
(С таких-то до таких часов).

. . . .

Здесь возникал салон московский,
Где — из далекой мне земли, —
Ключевский, Брюсов, Мережковский
Впервые предо мной прошли.
Бывало: —
— снеговая стая —
Сплошное белое пятно —
Бросает крик, слетая, тая —
В запорошенное окно;
Поет под небо белый гейзер:
Так заливается свирель;
Так на эстраде Гольденвейзер [1]
Берет уверенную трель.
Бывало: в вой седоволосый
Пройдет из Вечности самой
Снегами строящий вопросы
Черноволосою космой, —
Захохотавший в вой софистик,
Восставший шубой в вечный зов, —
Пройдет *«Володя»*, вечный мистик,
Или — Владимир Соловьев...
Я не люблю характеристик,
Но все-таки... —
— Сквозной фантом,
Как бы согнувшийся с ходулей,

[1] Известный московский пьянист.

Войдет, и — вспыхнувшим зрачком
В сердца ударится, как пулей;
Трясем рукопожатьем мы
Его беспомощные кисти,
Как ветром неживой зимы
Когда-то свеянные листья;
Над чернокосмой бородой,
Клокоча виснущие космы
И желчно дующей губой
Раздувши к чаю макрокосмы,
С подпотолочной вышины
Сквозь марамо́рохи и сны
Он рухнет в эмпирию кресла, —
Над чайной чашкою склонен,
Сердит, убит и возмущен
Тем, что природа не воскресла,
Что сеют те же господа
Атомистические бредни,
Что декаденты — да, да, да! —
Свершают черные обедни
(Они — пустое решето:
Козлят не с Музой — с сатирессой,
И увенчает их за то
Патриотическая пресса),
Что над Россией — тайный враг
(Чума, монголы, эфиопы),
Что земли портящий овраг
Грызет юго-восток Европы;
Стащивши пару крендельков
С вопросом: «Ну и что ж в итоге?»
Свои переплетает ноги —
Грохочет парой каблуков.

Судьба трагическая дышит
Атмосферическим дымком,
И в «Новом времени» о том
Демчинский знает, но не пишет:
— «В сознанье нашем кавардак:
Атмосферических явлений
Свечений зорь нельзя никак
Понять с научной точки зрений».
Он — угрожает нам бедой,

Подбросит огненные очи;
И — запророчит к полуночи,
Тряхнув священной бородой!..

Так в ночи вспыхивает магний;
Бьет электрический магнит;
И над поклонниками Агни,
Взлетев, из джунглей заогнит;
Так погромы́хивает в туче
Толпа прохожих громарей;
Так плещут в зы́бине летучей,
Сребрея, сети рыбарей.
За ним вдогонку — следом, следом,
Михал Сергеич делит путь,
Безмолвный, ровный, кроя плэдом
Давно простуженную грудь,
Потея в вязаной рубашке,
Со столика приняв поднос,
На столике расставив шашки,
Над столиком поставив нос;
И скажет в пепел папирос
В ответ на новости такие:
— «Под дымкой — всё; и всюду — тень...
Но не скудеет Мирликия...[1]
Однако ж... будет: Духов день!»

Свой мякиш разжевавши хлеба,
Сережа Соловьев под небо
Воскликнет — твердый, как кремень:
— «Не оскудела Мирликия!..
А ну-ка все, кому не лень,
В ответ на дерзости такие, —
В Москве устроим Духов день!»
Но Соловьев, не отвечая,
Снедаем мировой борьбой,
Проглотит молча чашку чая,
Рукой бросаясь, как на бой,
На доску: он уткнется в шашки;

---

[1] Родина Николая Чудотворца: аллегорически — «Страна Чудес».

И поражают худобой
Его обтянутые ляжки;
Бывало, он пройдет к шинели:
В меха шинели кроет взор;
И — удаляется в метели:
Седою головой в бобер;
А вихри свистами софистик
Всклокочут бледный кругозор!
Привзвизгнут: «Вот великий мистик!»
И — пересвищут за забор!

А мы молчим, одним объяты;
В веках — одно: навек одно...
А перезвоны, перекаты
Снежат, как призраки, в окно;
А лампа бросит в занавески,
Свои литые янтари;
Молчат египетские фрески
На выцветающих драпри.
Михал Сергеич повернется
Ко мне из кресла цвета «бискр»;
Стекло пенснэйное проснется,
Переплеснется блеском искр...

Он — канул в Вечность: без возврата;
Прошел в восторг нездешних мест:
В монастыре, в волнах заката, —
Рукопростертый, белый крест
Стоит, как память дорогая;
Бывало, он, — оснéжен весь,
Светлеет, огоньком мигая;
Бывало, всё взревает здесь:
Играет скатерть парчевáя,
Снегами воздухи взвивая;
И в ней — прослеженная стезь;
Хрустя перемокревшим снегом,
Бегу сюда отдаться негам,
Озябший, заметенный весь.

Так всякий: поживет, и — помер,
И — принят под такой-то номер.

8

Под стук сердец — «в концерт, в концерт» —
Мудрец, юнец. Но что их манит,
То — запечатанный конверт:
Словами тайными обманет;
Немой, загаданный глагол,
Неизрекаемый, — он волит:
То марамо́рохами зол,
То добрым делом соглаголет;
Изранит стуками минут,
Багрянит, звуками измуча, —
Такой мяукающий зуд,
Такая дующая туча!..

Звук множит бестолочь голов
И гложет огненное сердце;
И в звуках нет толковых слов;
Здесь не найдешь единоверца;
Из мысли: вылетят орлы;
Из сердца: выйдет образ львиный;
Из воли: толстые волы...
Из звука: мир многоединый.
Тот, звуковой, — во всё излит;
Та, звуковая, — золотая;
И этот — камень лазулит;
И этот — пламенная стая.

У той: —
. . . .
— Над златокарей згой
Град Гелиополь: дева Отис,
Милуясь лепетной серьгой,
Целует цветик, миозо́тис;
Рогами гранными, как черт,
Туда — в века, в лазури-ляпис —
Гранитозовый простерт
В нее влю́бленный, странный Апис.

У этой: —

— вытечет титан,
Златоголовый, змееногий;

Отзолотит в сырой туман:
И — выгорит, немой и строгий;
Седое облако висит
И, молний полное, блистает,
Очами молний говорит,
Багровой зубриной слетает,
Громово тарарахнув в дуб
Под хохотом Загрея-Зевса...

Вот этот вот: он — туп, как... пуп:
Прочел — приват-доцента Гревса...

И дирижирует: Главач[1].
И дирижирует: Сафонов[2]...
И, фанфаронит: часто — врач;
И, солдафонит: каста *«фонов»*;
Интерферируя наш взгляд
И озонируя дыханье,
Мне музыкальный звукоряд
Отображает мирозданье —
От безобразий городских
До тайн безо́бразий Эреба,
До света образов людских
Многообразиями неба;
Восстонет в ночь эфирный пад,
В эонах гонит бури знаков:
Золотокосых Ореад,
Златоколесых зодиаков...
. . . .

Стой — ты, как конь, заржавший стих —
Как конь, задравший хвост строками —
Будь прост, четырехстопен, тих:
Не топай в уши мне веками;
Ведь я не проживу ста лет...
Я — вот... Я — здесь: студент моско́вский,
Я — на подъезде...

Люстры свет.
И — Алексей Сергеич П—овский...

---

[1] Петербургский дирижер 900-х годов.
[2] Директор Московской консерватории этого времени.

И — сердца бег, и — сердца стук.
Сердца — бегут: на звуки... Верьте, —
В субботу вечером наш круг
На Симфоническом концерте...

Проходят, тащатся, текут;
Вокруг — шпалеры кавалеров:
Купцов, ученых, мильонеров
(Седых, муругих, пегих, серых!);
Марковников профессор — тут;
Бурбон... И — рой матрон «мегéрых»,
И — шу-шу-шу, и — ша-ша-ша,
И — хвост оторван: антраша...
Багровая профессорша;
За ней в очках профессор тощий
Несет изглоданные мощи
И — злое, женино боа;
Вот туалет Минангуá [1]:
Одни сплошные валансьены;
И — тонкий торс; и юбка «клошь», —
Не шумно зыблемая рожь,
Не шумно зыблемые пены;
Блистая ручкой костяной,
Взлетает веер кружевной...
О, эти розовые феи!..
О, эти голубые!.. Ишь: —

Красножилетые лакеи
Играют веером афиш.

Графиня толстая, Толстáя,
Уж загляделась в свой лорнет...
Выходит музыкантов стая;
В ней кто-то, лысиной блистая,
Чихает, фраком отлетая,
И продувает свой кларнет...
Возня, переговоры... Скрежет:
И трудный гуд, и нудный зуд —
Так ноет зуб, так нудит блуд...
Кто это там пилит и режет?

---

[1] Модная московская портниха 90-х годов.

Натянуто пустое дно, —
Долдонит бебень барабана,
Как пузо выпуклого жбана:
И тупо, тупо бьет оно...

О, невозможные моменты:
Струнят и строят инструменты...

Вдруг!..
Весь — мурашки и мороз!
Между ресницами — стрекозы!
В озонных жилах — пламя роз!
В носу — весенние мимозы!

Она пройдет — озарена:
Огней зарней, неопалимей...
Надежда Львовна Зарина
Ее не имя, а — *«во-имя!»..»*
Браслеты — трепетный восторг —
Бросают лепетные слезы;
Во взорах — горний Сведенборг;
Колье — алмазые морозы;
Серьга — забрежжившая жизнь;
Вуаль провеявшая — трепет;
Кисей вуалевая брызнь
И юбка палевая — лепет;
А тайный розовый огонь,
Перебегая по ланитам
В ресниц прищуренную сонь,
Их опаливший меланитом, —
Блеснет, как северная даль,
В сквозные, веерные речи...
Летит вуалевая шаль
На бледнопалевые плечи.

И я, как гиблый гибеллин,
У гвельфов ног, — без слов, без цели:
Ее потешный палладин...
Она — Мадонна Рафаэля!
Пройдет, — мы, вспыхнувши, вздохнем,
Идиотически ослабнем...

Пройдет с раскосым стариком,
С курносым, с безволосым бабнем —
Пройдет, и сядет в первый ряд,
Смеясь без мысли и без речи[1];
И на фарфоровые плечи,
Переливаясь, бросят взгляд —
Все электрические свечи.
И ей бросает оклик свой —
Такой простой, — Танеев-мейстер[2];
Биноклит в ложе боковой
Красавец обер-полицмейстер[3].

Взойдет на дирижерский пульт,
Пересекая рой поклонов,
Приподымая громкий культ,
Ее почтенный жрец, — Сафонов:
Кидаясь белой бородой
И кулаками на фаготы, —
Короткий, толстый и седой, —
Он выборматывает что-то;
Под люстры палочкой мигнув[4],
Душой, манжетом, фалдой, фраком
И лаком лысины метнув, —
Валторну поздравляет с браком;
И в строгий разговор валторн
Фаготы прорицают хором,
Как речь пророческая Норн,
Как каркнувший Вотáнов ворон;
А он, подняв свою ладонь
В речитативы вьолончеля:
— «Валторну строгую не тронь:
Она — Мадонна Рафаэля!»
И после, из седых усов
Надувши пухнущие губы
На флейт перепелиный зов, —
Приказ выкидывает в трубы;
И под Васильем Ильичом,

[1] Стих А. Блока.
[2] С. И. Танеев, композитор, теоретик музыки и бывший директор Московской консерватории.
[3] Впоследствии по всей России известный Ф. Трепов.
[4] Впоследствии Сафонов дирижировал без палочки.

Руководимые Гржимали[1],
Все скрипоканты провизжали,
Поставив ноги калачом.

Бесперый прапор подбородком
Попав в просаки — *с'кон'апель,* —
Пройдет по ноткам, как по водкам,
Устами разливая хмель;
Задушен фраком, толст и розов,
Ладонью хлопнув в переплеск,
Подтопнув, — лысиной Морозов
Надуто лопается в блеск[2];
За ним — в разлив фиоритуры,
Бросаясь головой, карга
Выводит чепчиком фигуры:
И чертит *па,* и вертит *туры*
Под платьем плисовым нога:
Дрожа, дробясь в колоратуры,
Играет страстная серьга;
Пятно всё то же щурым ликом
На руку нервную легло:
Склоняет Скрябин[3] бледным тиком
Необъяснимое чело,
И — пролетит скрипичным криком
В рои гностических эмблем,
Мигая из пустых эонов;
Рукою твердой тему тем
За ним выводит из тромбонов
Там размахавшийся Сафонов:
Кидаясь белой бородой
И кулаками на фаготы, —
Короткий, толстый и немой,
Как бы вынюхивает что-то;
Присядет, вскинув в воздух нос:
Вопрос, разнос во взгляде хитром;
И стойку сделавши, как пес,
Несется снова над пюпитром;
Задохнется и — оборвет,

[1] Гржимали, исполнявший первую скрипку в оркестре, проф. Моск. консерватории.
[2] М. А. Морозов, московский меценат того времени (смотри портрет Серова).
[3] Посетитель Симф. концертов того времени.

Платком со лба стирает пот;
И разделяется поклоном
Меж первым рядом и балконом.

И постоит, и помолчит,
И по пюпитру постучит:
И — все листы перевернулись;
Сердца, как в бой, сердца — рванулись...
И вновь — вскипающая новь;
И вновь — всклокоченная бровь;
И вновь — пройдутся фалды фрака;
И стаю звуков гонит он,
Как зайца гончая собака, —
На возникающий тромбон.

Над пухоперою каргою,
Над чепчиком ее счернен
Жеребчиком мышиным — *«он»*,
Кто вьется пенною пургою
И льет разменною деньгою,
Кто ночью входит в пестрый сон
И остро бродит в *ней* — счернен —
Над ней, над нами, над вселенной
Из дней, своими снами пленный;
Он — тот, который есть не он,
Кому названье легион:
Двоякий, многоякий, всякий,
Иль просто окончанье, *«Ій»*,
Виющийся, старинный змий, —
В свои затягивает хмури,
Свои протягивает дури:
Он — пепелеющая лень
И — тяготеющая тень;
Как Мефистофель, всем постылый,
Упорным профилем, как черт, —
Рассудок, комик свинорылый:
К валторне черной он простерт;
Как снег, в овьюженные крыши,
Как в мысли, гложущие мыши, —
В мечты, возвышенные свыше, —
Бросает сверженную сушь:
Сухую прописную чушь;

Упавшим фраком ночь простерши,
Кликуши-души, — ходит он —
Кликуши-души — горше, горше —
Упавшим фраком — душит: в сон!..

Черней, упорней гром в валторне:
Грознее, озорней Она
Грозой молниеносной, горней —
Грозою гор озарена: —

— Так дымом пепелит и мглеет
Виеголовый, мгловый слой;
Как змий, он отдымит, отвеет
В багровом горизонте мглой:
Слезами облако, светая,
Слезами полное, молчит;
И в волны, в воздух — тая, тая, —
Глазами молнии дрожит,
Как воздыханиями арфы,
Как лепетанием струны —

Души — Марию зрящей Марфы —
Из просветленной глубины!..

И бросят в арфы, — шали, шарфы,
Вздыхая вестью дорогой, —
Вон те, Марии, эти Марфы,
Над жизнью, старою каргой.

Вы, сестры —

— (Ты, Любовь — как роза,
Ты, Вера, — трепетный восторг,
Надежда — лепетные слезы,
София — горний Сведенборг!) —

Соединив четыре силы
В троякой были глубиной,
Меня примите из могилы,
Светите оком — Той; Одной, —
Мечтой вуалевой, как трепет,

Несущей далевую жизнь
На опечаленный мой лепет
Сквозь звуков маревную жизнь.

Моя Надежда, дева Отис,
Милуясь лепетной серьгой,
Вдыхая цветик, миозотис,
Из зовов арфы дорогой,
Бросает взор, лазури-ляпис,
В воздухолетный септаккорд:
И взор, читая звуков запись,
Над миром —
— Аписом —
— простерт!
Перебегает по ланитам
В ресниц прищуренную сонь,
Их опаляя меланитом,
Таимый розовый огонь.

С неименуемою силой
С неизреченных аллилуй
Ко мне, волнуемому Милой,
Мгновенный свеян поцелуй.

Так из блистающих лазурей
Глазами полными огня [1],
Ты запевающею бурей
Забриллиантилась — в меня:
Из вышины — разгулы света;
Из глубины — пахнуло тьмой;
И я был взят из молний лета
До ужаса — Тобой: Самой!

Ты на меня сходила снами
Из миротворной тишины:
Моей застенчивой весны
Оголубила глубинами;

---

[1] Строка Лермонтова «*С глазами полными лазурного огня*» перешла в тему Вл. Соловьева «*Три свидания*», откуда попала в сокращенном виде в мою поэму.

И мне открылась звуком бурь
Катастрофической цевницы
И милоглазая лазурь,
И поцелуйная денница:
Ее, о время, — опурпурь!

Благонамеренные люди,
Благоразумью отданы:
Не им, не им вздыхать о чуде,
Не им — святые ерунды...
О, не летающие! К тверди
Не поднимающие глаз!
Вы — переломанные жерди:
Жалею вас — жалею вас!
Не упадет на ваши бельма
(Где жизни нет — где жизни нет!) —
Не упадет огонь Сент-Эльма
И не обдаст Дамасский свет.
О, ваша совесть так спокойна;
И ваша повесть так ясна:
Так не безумно, так пристойно
Дойти до дна — дойти до дна.
В вас несвершаемые лёты
Неутоляемой алчбы —
Неразрывные миголеты
Неотражаемой судьбы...
Жена — в постели; в кухне — повар;
И — положение, и вес;
И положительный ваш говор
Переполняет свод небес:
Так выбивают полотеры
Пустые, пыльные ковры...
У вас — потухнувшие взоры...
Для вас и небо — без игры!..
. . . .

Мои мистические дали
Смычком взвивались заливным,
Смычком плаксивым и родным —
Смычком профессора Гржимали:
Он под Васильем Ильичом
(Расставив ноги калачом), —

Который, —
                    — чаля из эонов
На шар земной, — объятый тьмой,
Рукою твердой на тромбонах
Плывет назад — в Москву, домой:
Слетит, в телодвиженье хитром
Вдруг очутившись над пюпитром,
Поставит точку: оборвет,
Сопит и капли пота льет,
И повернувшись к первой скрипке,
Жмет руки и дарит улыбки,
Главой склоняясь в первый ряд,
Где на фарфоровые плечи,
Переливаясь, бросят взгляд,
Все электрические свечи;
Задушен фраком, толст и розов,
Ладонью хлопнув в переплеск,
Бросаясь лысиной, — Морозов
Надуто лопается в блеск.

И вот идет, огней зарнимей
Сама собой озарена,
Неся, как трэн, свое «во-имя», —
Надежда Львовна Зарина;
Вуали — лепетные слезы;
Браслеты — трепетный восторг;
Во взорах — горний Сведенборг;
Колье — алмазые морозы:
Блеснет, как северная даль,
В сквозные, веерные речи;
Летит вуалевая шаль
На бледно палевые плечи...

— «Скажи, тобой увлечена
Надежда Львовна Зарина?»
— «Не знаю я...»
                              — «Быть может?»
                                                  — «Да!»

Выходит музыкантов стая,
И кто-то, фраком отлетая,

В чехол слагает свой кларнет...
Пустеет зал и гаснет свет...

У двери — черные шпалеры;
Стоят: мегеры, кавалеры;
И — ша-ша-ша: шуршат, спеша,
Атласами спускаясь с хоров...
— «Не та калоша: Каллаша!»[1]
Стыдливо низится Егоров[2];
Лысеет химик Каблуков[3] —
Проходит в топот каблуков;
Проходит Нос[4] — по воле рока
Он, вы представьте, — без Шенрока!
Выходим!..

4

...Вижу этих дам —
В боа — дородных, благородных;
И — тех: пернатых, страстных дам,
Прекрасных дам в ротондах модных...

Костров каленые столбы
Взовьются в кубовые сини
Из-за редеющей толпы;
Стрекозы, рдеющие в иней,
Метаясь, гаснут всем, что есть;
Мордастый кучер прогигикнет;
Снегами радостная весть,
Слетая, сладостно воскликнет;
И прометет -- и пронесет
Квадратом лаковым из ночи,
Ударит конским потом в рот,
Завертит огненные очи,

---

[1] Каллаш — московский писатель и критик.
[2] Математик.
[3] Проф. Моск. университета.
[4] Прис. пов. Нос — посетитель концертов того времени.

Очертит очерк дорогой
Из соболей в окне кареты...

Вдали слезливою серьгой
Играют газовые светы...

И всё, что было, всё, что есть —
Снеговерченье ясных далей,
Светомолений светлых весть,
Перелетание спиралей!

Но взвоет улицей зима... —

И быстроногою фигурой,
Из ног выметываясь, тьма
Растет и сумеречит хмуро
На белобокие дома;
И мнится: темные лемуры,
Немые мимы, — из зимы,
Мигая мимо, строят туры
И зреют речью:
— «Ты и мы! ..»
Иду, покорный и унылый,
Четвероногим двойником:
И — звезденеет дух двухкрылый;
И — леденеет косный ком;
Перемерзая и мерцая,
Играя роем хрусталей,
Налью из зеркала лица я
Перезеркаленных лилей, —
И там, под маской, многогрешный,
Всклокочу безысходный срам,
Чтобы из жизни встал кромешный
Бесцельный, сумасшедший храм...

Взлетайте выше, злые мимы,
Несясь вдоль крыши снеговой,
Мигая мимо — в зимы, в дымы —
Моей косматой головой! ..

О, обступите — люди, люди:
Меня спасите от меня;

Сомкните молнийные груди
Сердцами, полными огня.
Я — зримый — зеркало стремлений,
Гранимый призраком алмаз
Пересеченных преломлений:
Мигнув, отбрасываюсь — в вас,
Как переполненный судьбою
На вас возложенный венец:
Созрею, отдаваясь бою
Родимых, греющих сердец.
Вы — подойдете, я — омолнен;
Вы — отойдете, я — не тот: —
Я переломлен, переполнен
Переполохами пустот,
Как тени пустолетный конус,
Как облачка высотный лет,
Как бессердечный, вечный тонус
Несуществующих высот.

На тучах строятся фигуры:
И я — изъятьем лицевым,
Дробимый, сумеречный, хмурый,
Несусь по кучам снеговым;
Из ног случайного повесы
Тянусь — безвесый, никакой:
Меня выращивают бесы.
Невыразимою тоской...
Мы — неживые, неродные, —
Спирали чьих-то чуждых глаз:
Мы — зеркала переливные —
Играем в ясный пустопляс;
На стенах летом пляшут пятна;
В стакане светом пляшет винт;
И всё — так странно непонятно;
И всё — какой-то лабиринт...
Глаза — в глаза!.. Бирюзовеет...
Меж глаз — меж нас — я воскрешен;
И вестью первою провеет:
Не — ты, не — я!.. Но — мы: но — Он!

А ум, насмешливый, как леший,
Ведет по плоскости иной:

Мы чешем розовые плеши
Под бирюзовою весной;
Перемудрим, перевопросим,
Не переспросим, не поймем,
Мечту безвременную бросим,
По жизни бременно пройдем;
И не выносим, и ругаем
В летах переблиставший дым:
Бодаем жалобным бугаем [1],
Брыкаем мерином седым.
Рассудок, свинорылый комик,
Порою скажет в зовы зорь,
Что лучше деревянный домик,
Чем эта каменная хворь;
И прячет голову, как страус,
Отскочит в сторону, как пес,
Вмаячив безысходный ха̀ос,
В свой обиходный, злой *«хаво́с»*...
Переварив дары природы
Тупыми животами, — мы
Перетопатываем годы;
И — утопатываем в тьмы.

Вставайте, морочные смены,
Пустовороты бытия,
Как пусто лопнувшие пены, —
Да, вас благословляю я!
Бросай туда, в златое море,
В мои потопные года —
Мое рыдающее горе
Свое сверкающее: «Да!»
Невыразимая Осанна,
Неотразимая звезда,
Ты Откровением Иоанна
Приоткрывалась: навсегда.

Кропя духами Аткинсона
Ей ометеленный подъезд,
Пред Нею, тайною иконой,
Я упивался блеском звезд;

---

[1] «Бугай» — бык по-малороссийски.

Она ко мне сходила снами
Из миротворной глубины
И голубила глубинами
Моей застенчивой весны;
Персты орфической цевницы
Приоткрывали звуком бурь
И поцелуйные денницы,
И милоглазую лазурь.

Остановясь перед киотом,
Бывало, пав под фонарем,
Я, полоненный миголетом,
Моленьем тихим осенен;
В белопокровы, в ветроплясы
Метясь светелицей на нас,
Влача свистящие атласы,
Вставал алмазноглазый Спас.

Бывало: белый переулок
В снегу — дымит; и снег — летит.
И богоматерь в переулок
Слезой перловою глядит.
Бегу Пречистенкою... Мимо...
Куда? Мета — заметена,
Но чистотой необъяснимой
Пустая улица ясна.

Кто там, всклокоченный шинелью,
Скрыв озабоченный свой взор,
Прошел пророческой метелью
(Седою головой — в бобер),
Взвиваясь в вой седоволосый,
Своей космо́ю пурговой,
Снегами сеющий вопросы
На нас из Вечности самой.
А вихри свистами софистик
Заклокотали в кругозор,
Взвизжали: «Вот — великий мистик!»
И усвистали за забор.

Мигают звезды теософий
Из неба кубового в вой;

Провеял кризис философий,
Как некий гейзер снеговой:
Так в ночи вспыхивает магний,
Бьет электрический магнит;
И над поклонниками Агни,
Взлетев, из джунглей заогнит...

Бегу Пречистенкою — мимо:
Куда? Мета — заметена;
Но чистотой необъяснимой
Пустая улица ясна...

Проснулась на Девичьем Поле
Знакомым передрогом ширь:

— «Извозчик: стой!»
 — «Со мною, что ли?»
— «В Новодевичий монастырь!..»
— «Да чтоб тебя: сломаешь сани!..»
. . . .
И снова зов — знакомых слов:
— «Там — день свиданий, день
 восстаний...»
— «Ты кто?»
 — «Владимир Соловьев:
Воспоминанием и светом
Работаю на месте этом...»

И — никого: лишь белый гейзер...
Так заливается свирель;
Так на рояли Гольденвейзер
Берет уверенную трель.

Бывало: церковка седая
Неопалимой Купины [1],
В метели белой приседая,
Мигает мне из тишины;
Перед задумчивым киотом —
Неугасимый фонарек;

[1] Церковь Неопалимой Купины в Неопалимовском переулке близ Пречистенки и Девичьего Поля.

И упадает легким лётом
Под светом розовый снежок.
Неопалимов переулок
Пургой перловою кипит;
И богоматерь в переулок
Слезой задумчивой глядит.

ЭПИЛОГ

Двадцатилетием таимый,
Двадцатилетием чернен,
Я слышу зов многолюбимый
Сегодня, Троицыным днем, —
И под березкой кружевною,
Простертой доброю рукой,
Я смыт вздыхающей волною
В неутихающий покой.

Троицын день и Духов день
Петроград, 1921 года

ПОСЛЕ РАЗЛУКИ

Берлинский песенник

265. ВЕЧЕР

Точно взглядами, полными смысла,
Просияли, —
Мне ядом горя, —
Просияли
И тихо повисли
Облаков златокарих края...

И взогнят беспризорные выси
Перелетным
Болотным глазком;
И — зарыскают быстрые рыси
Над болотным, —
Над черным — леском.

Где в шершавые, ржавые травы
Исчирикался летом
Сверчок, —
Просвещается злой и лукавый,
Угрожающий светом
Зрачок.

И — вспылает
Сквозное болото;
Проиграет
Сквозным серебром;
И — за тучами примется кто-то
Перекатывать медленный гром.

Слышу — желтые хохоты рыси.
Подползет; и — окрысится: «Брысь!»...

И проискрится в хмурые
Выси
Желточерною шкурою
Рысь.

1922
Цоссен

266. ПОЕТСЯ ПОД ГИТАРУ

Я —
Словами так немощно
Нем:
Изречения мои — маски...
И —
Рассказываю
Вам всем —
 — Рассказываю
 Сказки, —
 — Потому что —

Мне так суждено,
А почему —
Не понимаю; —
 — Потому что —
Всё давно ушло во тьму,
Потому что — всё равно:
Не знаю, или знаю...
Потому что мне скучно — везде...
Потому что сказка — изумрудная,
Где —
Всё — иное...
Потому что так хочется в брызнь
Утех;
Потому что: трудная
Жизнь
У всех —
 — С одною развязкою...
Потому что, —
 — Наконец, —
 — Зачем
 Этот ад?

Потому что, —
— Один конец
Всем...
И во мне подымается смех
Над
Судьбою
Всех —
— И —
— Над
Собою!..

Май 1922
Цоссен

267. БЕССОННИЦА

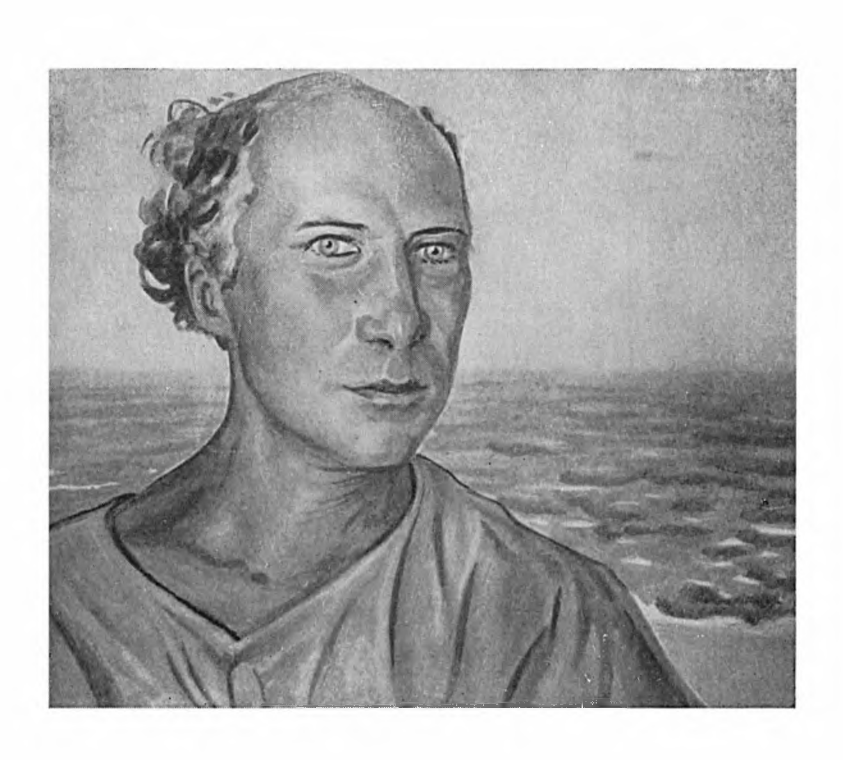
Мы — безотчетные: безличною
Судьбой
Плодим
Великие вопросы;
И — безотличные — привычною
Гурьбой
Прозрачно
Носимся, как дым
От папиросы.
Невзрачно
Сложимся под пологом окна,
Над Майей месячной, над брошенною
брызнью, —
Всего на миг один —
— (А ночь длинна —
Длинна!) —
Всего на миг один:
Сияющею жизнью.
Тень, тихий чернодум, выходит
Из угла,
Забродит
Мороком ответов;
Заводит —
Шорохи...
Мутительная мгла
Являет ворохи
Разбросанных предметов.

Из ниши смотрит шкаф: и там немой арап.
Тишайше строится насмешливою рожей...
Но время бросило свой безразличный крап.
Во всех различиях — всё то же, то же, то же.
И вот — стоят они, и вот — глядят они,
Как дозирающие очи,
Мои
Сомнением
Испорченные
Дни,
Мои
Томлением
Искорченные
Ночи...

Январь 1921
Москва
Больница

268. БОЛЬНИЦА

Мне видишься опять —
Язвительная, — ты...
Но — не язвительна, а холодна: забыла.
Из немутительной, духовной глубины
Спокойно смотришься во всё, что прежде было.
Я, в мороках
Томясь,
Из мороков любя,
Я — издышавшийся мне подаренным светом,
Я, удушаемый, в далекую тебя, —
Впиваюсь пристально. Ты смотришь с неприветом.
О, этот долгий
Сон:
За окнами закат.
Палата номер шесть, предметов серый ворох,
Больных бессонный стон, больничный мой халат;
И ноющая боль, и мыши юркий шорох.
Метание —
По дням,
По месяцам, годам...
Издроги холода...





Болезни, смерти, голод...
И — бьющий ужасом в тяжелой злости там,
Визжащий в воздухе, дробящий кости молот...
Перемелькала
Жизнь.
Пустой, прохожий рой —
Исчезновением в небытие родное.
Исчезновение, глаза мои закрой
Рукой суровою, рукою ледяною.

Январь 1921
Москва
Больница

269. ТЫ — ТЕНЬ ТЕНЕЙ

Ты — тень теней...
Тебя не назову.
Твое лицо —
Холодное и злое...

Плыву туда — за дымку дней — зову,
Зы дымкой дней, — нет, не Тебя: былое, —
Которое я рву
(в который раз),
Которое, — в который
Раз восходит, —

Которое, — в который раз алмаз —
Алмаз звезды, звезды любви, низводит.

Так в листья лип,
Провиснувшие, — Свет
Дрожит, дробясь,
Как брызнувший стеклярус;

Так, — в звуколивные проливы лет
Бежит серебряным воспоминаньем: парус...

Так в молодой,
Весенний ветерок
Надуется белеющий
Барашек;

Так над водой пустилась в ветерок
Летенница растерянных букашек...

Душа, Ты — свет.
Другие — (нет и нет!) —
В стихиях лет:
Поминовенья света...
Другие — нет... Потерянный поэт,
Найди Ее, потерянную где-то.

За призраками лет —
Непризрачна межа;
На ней — душа,
Потерянная где-то...

Тебя, себя я обниму, дрожа,
В дрожаниях растерянного света.

Февраль 1922
Берлин

270. МАЛЕНЬКИЙ БАЛАГАН НА МАЛЕНЬКОЙ ПЛАНЕТЕ «ЗЕМЛЯ»

Выкрикивается в берлинскую
форточку без перерыва

Бум-бум:
Началось!

1

Сердце — исплакалось: плакать —
Нет
Мочи!..

Сердце мое, —
Замолчи и замри: —
В золотоокие, долгие ночи,
В золото-карие
Гари
Зари...

2

Из фиолетовых —
Там —
Расстояний —

Молний малиновых нам
Миготня...

Смотрит браслетами
Ясных
Сияний

Бор —
Красностволый — на умерки
Дня.

3

В этом
С судьбою —
— С тобою —
Не спорящем
Взоре, —

Светами
Полнится
Тихая даль.

Летами
Молнится
Тихое горе, —

Тысячелетием плачет: печаль.

4

Впейся в меня
Бриллиантами
Взгляда...

Под амиантовым
Небом
Сгори.

Пей
Просияние сладкого яда, —

Золотокарие
Гари
Зари.

5

Говори, говори, говори,
Говори же —
— В года —
— Где —

Перепенивается
Вода —
— Где —
— Тени
Тишь
И
Тьма —
— Нет
Или
Да? —
— Свет
Или
Тьма?

И — ближе, ближе, ближе —
— Тьма
Сама!

6

В твоем вызове —
Ложь —
— Искажение
Духа
Жизни!..

Так
Взбрызни
Же

В
Очи
Водою забвения! —

Вызови —
                    — Предсмертную дрожь: —
Уничтожь!

7

Зачем, —
                    — Ты клевещешь на духа?

Зачем, —
                    Это —
                                — Уродливое
                                Искажение
                                Жизни: —

— Худое!
Угодливое
Лицо —
— Со сладострастным
Бесстрастием,
Вкладываемым
В —

          — «Значит, так суждено:
                                Были
                                Ли,
                                Или
                                Нет?»
                                «Забыли».

8

Что ж?
Если так суждено... —

9

Всё равно: —
— Ведь расплещешься в брызни
Разъявшейся
Ночи
Ты
Так, —
— Как —
— Расплещется в бури
Поднявшейся
Пыли —
— Желтое
И
Седое —
— Кольцо!

10

В твоем
Вызове
Хмури
Ночи —
— И —
— Ложь!

Взбрызни
В очи —
— Забвение!

Вызови ж —
Предсмертную дрожь!
Взвизгни ж,
Сердце
Мое, —
Дикий
Вырванный
Стриж:

В бездны
Звездные —
— Сердце —
— Ты —

Крики дикие
Мчишь!

11

Да, —
— Ты —
— Выспренней ложью обводишь
Злой Круг
Вкруг
Себя, —

И —
— Ты —
— С искренней дрожью уходишь
Навеки,
Злой друг,
От меня —
— Без —
— Ответа...

И —
— Я —
— Никогда не увижу
Тебя —
— И —
— Себя
Ненавижу:
За
Это.

12

Проклятый —
— Проклятый — проклятый —
— Тот диавол,
Который —
— В разъятой отчизне
Из тверди
Разбил
Наши жизни — в брызнь
Смерти, —
Который навеки меня отделил
От
Тебя —
— Чтобы —
— Я —
— Ненавидел за это тебя —
И —
— Себя!

13

Чтобы —
— Плавал
Смежаемым взором
Сквозь веки
Я
Где-то
Средь брызгов разбившейся тверди —
— Простором
И
Мглой, —
Чтобы —
— Капала —
— Лета
Забвения в веки
Средь визгов развившейся
Смерти —
— Простором
И
Мглой!..

14

Чтобы —
— Плавал —
— Над нами —
— Средь выбрызгов тверди —
Тот диавол, —
Который —
Навеки —
Навеки —
Навеки —

Меня
Отделил
От
Тебя,

Чтобы —
— Я
Не увидел —
Средь вывизгов развижжавшейся смерти —
— Тебя —
И —
— Себя
Ненавидел —
— За
Это!

15

Всё ушло —
Далеко —
— Всё — иное:
Не то, —
О, легко мне,
Легко —
— Всё — иное,
Не то, —
— Потому что —

16

Исплакались —
— Очи
И плакать —
— Нет мочи —
Исплакались —
— В ночи —
— Забылось —
Давно:
Изменилось —
— Иное:
Не
То!

Потому что, —
— Поверь, —
— Потому что —
— Я —
— Нем
Теперь!

17

И провеяло —
— В трубах
Тьмы
Смерти
Там —

В клубах
Тьмы
Пыли —

— «Забыли
Мы,
Друг, —
— Были ли
Мы,
Любили ли
Мы —
— Друг
Друга!»

18

Легко мне —
— И выше,
И выше,
И выше, —
— Неслись
Времена, —
— Как летучие мыши —
Летучими
Тучами —
— Выше, и выше, и выше.
И выше —
Нетопыриными дикими
Криками —
— В выси!

19

Легко мне,
Легко —
— Всё иное:
Не то...
И —
— Огромней —
— Огромней —
— Огромней —
Расширены
Очи —
— В —
— Родное —
— В —
— Пустое,
Пустое
Такое —
В ничто!

20

В вызове
Твоем —
Ложь! ..

Взбрызни же
В очи
Забвение...
Вызови ж —
Предсмертную дрожь...

Взвизгни ж,
Сердце
Мое,
Дикий
Вырванный
Стриж, —
— В бездны звездные,
Сердце —
— Ты —
— Крики дикие
Мчишь! ..

Бум — бум:
Кончено!

Июнь 1922
Цоссен

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

271. В ЛОДКЕ

Лодка скользила вдоль синих озер
Ранней весной...
Волны шумели... Твой тающий взор
Робко блуждал среди синих озер...
Был я с тобой...

Там... где-то в небе... гряда дымных туч
Рдела огнем,
Точно цепь льдистых, сверкающих круч,
А не холодных, блуждающих туч,
Тающих сном.

Ах, мы сидели как будто во сне!..
Легкий туман
Встал, точно сказка о нашей весне...
...Ты засыпала, склонившись ко мне...
Призрак! Обман!..

Годы прошли... Я устал... Я один...
Годы прошли...
Лодка скользит вдоль озерных равнин.
Вместо багрянцем сверкающих льдин —
Тучи вдали...

Весь я согнулся... усталый... больной...
Где же ты... друг?
Над равнодушной, холодной волной
Вьется туман, точно призрак седой...
Где же ты... друг?

Декабрь 1900

272. «ЗНАНИЕ»

Боялся я, что тайну вдруг открою
За гранью бытия.
С огнем в руках за дверью роковою,
Дрожал, боялся я.
И вот в колодезь ужаса я глянул.
И утонул.
Дверь распахнулась... Мрак оттуда прянул.
Свечу задул.
И ничего... И только мрак со мною...
И ничего...
Да, я узнал... Но знанья не открою
Я своего.
Пусть шепчут мне: «Я вижу привидений
Бездонно-грозный знак!..»
Я посмотрю без страха, без волнений,
Но с грустию на мрак.

Март 1903

273. ПОПРОШАЙКА

Крыши. Камни. Пыль. Звучит
Под забором ругань альта.
К небу едкий жар валит
Неостывшего асфальта.

Стен горячих вечный груз.
Задыхается прохожий...
Оборванец снял картуз.
Смотрит палец из калоши.

«Сударь, голоден, нет сил,
Не оставьте богомольца.
На руках и я носил
Золотые кольца.

Коль алтын купец дает,
Провожу в ночлежке ночь я...»
Ветерок, дохнув, рванет
На плечах иссохших клочья.

На танцующую дрянь
Поглядел купец сурово:
«Говорят тебе, отстань,
Позову городового! . .»

Стены. Жар. В зубах песок.
Люди. Тумбы. Гром пролеток.
Шелест юбок. Алость щек
Размалеванных красоток.

<1904>

274. СТАРИННОМУ ВРАГУ

В. Б.

Ты над ущельем, демон горный,
Взмахнул крылом и застил свет.
И в туче черной, враг упорный,
Стоял. Я знал: пощады нет —

И длань воздел — и облак белый
В лазурь меня — в лазурь унес...
Опять в эфирах, вольный, смелый,
Омытый ласковостью рос,

Ты несся ввысь со мною рядом,
Подобный дикому орлу.
Но, опрокинут тяжким градом,
Ты пал, бессильный, на скалу.

Ты пылью встал. Но пыль, но копоть
Спалит огонь, рассеет гром.
Нет, не взлетишь: бесцельно хлопать
Своим растрепанным крылом.

Моя броня горит пожаром.
Копье мне — молнья. Солнце — щит.
Не приближайся: в гневе яром
Тебя гроза испепелит.

9 декабря 1904

275. ГРОЗА В ГОРАХ

Какой-то призрак бледный, бурный,
В седом плаще оцепенев,
Как в тихий пруд, в полет лазурный
Глядит, на дымный облак сев.

А в дымных клубах молньи точит
Дробящий млат на ребрах гор.
Громовым грохотом хохочет
Краснобородый, рыжий Тор.

Гудит удар по наковальне.
И облак, вспыхнув, загремел.
И на утес понесся дальний,
Змеясь, пучок огнистых стрел.

В провал летит гранит разбитый
И глухо ухает на дне,
И с вольным воем вихрь несытый
Туманы крутит в вышине.

<1905>

276. В АЛЬБОМ В. К. ИВАНОВОЙ

О том, как буду я с тоскою
Дни в Петербурге вспоминать,
Позвольте робкою рукою
В альбоме Вашем начертать.
(О Петербург! О Всадник Медный!
Кузмин! О, песни Кузмина!
Г***, аполлоновец победный!)
О Вера Константинов-нá,
Час — пятый... Самовар в гостиной
Еще не выпит... По стенам
Нас тени вереницей длинной
Уносят к дальним берегам:
Мы — в облаке... И всё в нем тонет —
Гравюры, стены, стол, часы;
А ветер с горизонта гонит
Разлив весенней бирюзы;

И Вячеслав уже в дремоте
Меланхолически вздохнет:
«Михаил Алексеич, спойте! ..»
Рояль раскрыт: Кузмин поет.
Проходит ночь... И день встает,
В окно влетает бледной птицей...
Нам кажется, незримый друг
Своей магической десницей
Вокруг очерчивает круг:
Ковер — уж не ковер, а луг —
Цветут цветы, сверкают долы;
Прислушайтесь, — лепечет лес,
И бирюзовые глаголы
К нам ниспадающих небес.

Всё это вспомню я, вздыхая,
Что рок меня от вас умчал,
По мокрым стогнам отъезжая
На Николаевский вокзал.

Между 1905 и 1907

277

Опять он здесь, в рядах борцов.
Он здесь — пришелец из Женевы.
Он верит: рухнет гнет оков,
Друзья свободы, где вы, где вы?

Друзья, на выручку ужель
Не шлете вольного отряда?
Уже рассыпалась шрапнель
Над опустевшей баррикадой.

Вот позвонят, взломают дверь.
В слепом усердии неистов,
Команду рявкнет, будто зверь, —
Войдет с отрядом лютый пристав.

Не дрогнет он. Безумный взгляд
Его лицо не перекосит,

Когда свой яростный снаряд
Жандарму под ноги он бросит.

Промчится бредом пьяный миг.
В груди всклокочет вольный хохот,
Пред ним заслонит мертвый лик —
Всклубится дымом черный грохот.

Тяжелым смрадом нас обдав,
Растянется вуалью блеклой.
Холодный ветер, простонав,
Забьет в разбрызганные стекла.

Швырнуть снаряд не тяжкий труд
(Без размышленья, без боязни).
Тюрьма. Потом недолгий суд,
Приготовленье к смертной казни.

Команду встретит ровный взвод,
Зальются трелью барабаны.
И он взойдет на эшафот,
Взойдет в лучах зари багряной.

Глядит в окно: вдоль мостовых
Расставленная для ареста
Немая цепь городовых
Вокруг условленного места.

<1906>

278. ЛЮБОВНИКИ

А. А. Курсинскому

По вечерам с фельдшерицей
Гуляющий,
Девицей
Жалкою, —

Помавающий
Палкою, —

Села скромный житель,
Задорный,

Горбатый
Учитель
Решил все вопросы, —

Черный,
Длинноносый —

Учитель сельский,
Бельский!!

Цветы мои,
Цветики!
Вы не знаете,
Любимые, —

Вы не знаете
Арифметики!!

Небеса потухают
Хрустальные.

Вопросы они изучают
Социальные
Вместе —

Бакунина
Подарил он невесте.

Но втуне она
Прочитала Бакунина!

Ах, она ему снится!
Ах, сердце его будто ножиком
Изранено!

Но топорщится ежиком
Фельдшерица
Галанина.

Василечки лазурными венчиками
На влюбленных кивают.

Из оврага кони бубенчиками
Закипают, —

И помещик качается
Мимо них в тарантасе.

Март 1906

279. А. А. БЛОКУ

Я помню — мне в да́ли холодной
Твой ясный светил ореол,
Когда ты дорогой свободной —
Дорогой негаснущей шел.

Былого восторга не стало.
Всё скрылось: прошло — отошло.
Восторгом в ночи проплывало.
Мое огневое чело.

И мы потухали, как свечи,
Как в ночь опускался закат.
Забыл ли ты прежние речи,
Мой странный, таинственный брат?

Ты видишь — в пространствах бескрайных
Сокрыта заветная цель.
Но в пытках, но в ужасах тайных
Ты брата забудешь — ужель?

Но, милый, не верю в потерю:
Не гаснет бескрайняя высь.
Молчанью не верю, не верю.
Не верю — и жду: отзовись.

7 декабря 1906
Париж

Пусть в верху холодно-резком,
Где лежит хрусталь прошедших бурь,
Дерева бездумным плеском
Проливают золото в лазурь.

Крутятся, крутятся блеском,
Шепчут невнятно
Над перелеском
Листьев обвеянных ярко блеснувшие пятна.

На пороге обветшалом
Я сижу один.
Вижу: в блеске грустно-алом
Бег вечерних льдин.

И не рад, что ясным воском
Купола покрыл закат.
Пусть тревожно бьет по доскам
Льдяной дробью белый град.

Осень холодная выпала.
Сколько на небе холодного льду.
Облако градом обсыпало
И отразилось в пруду.

<*1908*>

281. СВЕТЛАЯ СМЕРТЬ

Тяжелый, сверкающий кубок
Я выпил: земля убежала —
Всё рухнуло вниз: под ногами
Пространство холодное, воздух.
Остался в старинном пространстве
Мой кубок сверкающий — Солнце.

Гляжу: под ногами моими
Ручьи, и леса, и долины
Уходят далеко, глубоко,
А облако в очи туманом

Пахнуло и вниз убегает
Своей кисеей позлащенной...

Полдневная гаснет окрестность;
Полдневные звезды мне в душу
Глядятся, и каждая «Здравствуй»
Беззвучно сверкает лучами:
«Вернулся от долгих скитаний —
Проснулся на родине: здравствуй!..»

Часы за часами проходят,
Проходят века: улыбаясь,
Подъемлю в старинном пространстве
Мой кубок сверкающий — Солнце.

<1909>

282. ЛЮДСКИЕ ПРЕДРАССУДКИ

Зрю паросские розы... Мне говорят: «Это — жабы».
От сладковеющих роз прочь с омерзеньем бегу.

Зрю — безобразная жаба сидит под луной на дороге.
«Роза» — мне говорят: жабу прижал я к груди.

<1915>

283. ПОСВЯЩЕНИЕ

Я попросил у вас хлеба — расплавленный камень мне дали,
И, пропаленная, вмиг, смрадно дымится ладонь...
Вот и костер растрещался, и пламень танцует под небо.
Мне говорят: «Пурпур». В него облекись на костре.
Пляшущий пурпур прилип, сдирая и кожу, и мясо:
Вмиг до ушей разорвался черный, осклабленный рот.
Тут воскликнули вы: «Он просветленно смеется...»
И густолиственный лавр страшный череп покрыл.

1915

284

Цветок струит росу.
Живой хрусталь в пруду,
Так жизнь, мою росу,
В живой хрусталь снесу...
С улыбкой в смерть пройду.

Июль 1916
Дорнах

285. СВОЕМУ ДВОЙНИКУ. ЛЕОНИДУ ЛЕДЯНОМУ

Вы — завсегдатай съездов, секций,
Авторитет дубовых лбов,
Афишами публичных лекций
Кричите с уличных столбов.

Не публицист и не философ,
А просто Harlequin Jaloux [1],
Вы — погрузили ряд вопросов
В казуистическую мглу, —

Вы томы утонченных мистик,
Нашедши подходящий тон,
Сжимаете в газетный листик,
В пятисотстрочный фельетон.

Корней Чуковский вас попрытче,
Ю. Айхенвальд пред вами тих:
Вы и не Нитче и не Фритче,
А нечто среднее из них.

Года вытягивая в строки
Крикливых мыслей канитель,
Вы — пестроногий, пестробокий
Бубенчатый Полишинель.

1917
Москва

---

[1] Арлекин Жалю (франц.) — ревнивец, завистник. — *Ред.*

286

Июльский день: сверкает строго
Неовлажненная земля.
Неперерывная дорога.
Неперерывные поля.
А пыльный, полудневный пламень
Немою глыбой голубой
Упал на грудь, как мутный камень,
Непререкаемой судьбой.

Недаром исструились долы
И облака сложились в высь.
И каплей теплой и тяжелой,
Заговорив, оборвались.
С неизъяснимостью бездонной,
Молочный, ломкий, молодой,
Дробим волною темнолонной,
Играет месяц над водой.
Недостигаемого бега
Недостигаемой волны
Неописуемая нега
Неизъяснимой глубины.

1920

287. ЖДИ МЕНЯ

Далекая, родная, —
Жди меня...

Далекая, родная:
Буду — я...

Твои глаза мне станут
Две звезды.

Тебе в тумане глянут —
Две звезды.

Мы в дали отстояний —
Поглядим;

И дали отстояний —
Станут: дым.

Меж нами, вспыхнувшими, —
Лепет лет...

Меж нами, вспыхнувшими,
Светит свет.

1924
Москва

288. МАРШ

Упала завеса: и — снова
Сурово разъяты закаты —

В горбатые,
Старые
Скаты —
          — И в синие
          Линии
          Леса.

Упорным размеренным шагом
Проходим над черным обрывом...

Блеснуло —
Бесплодным
Зигзагом: —
               — Рвануло —
               Холодным
               Порывом.

Потухли, — как в пепле, — дороги;
Засохли шершавые травы...

Распухли
Склоненные
Пюги.

Горят
Воспаленные
Веки...
Оглохли,
Ослепли —
— Навеки!

1924
Москва

289. СЕСТРЕ

К. Н. Бугаевой

Не лепет лоз, не плеск воды печальный
И не звезды изы́скренной алмаз, —
А ты, а ты, а — голос твой хрустальный
И блеск твоих невыразимых глаз...

Редеет мгла, в которой ты меня,
Едва найдя, сама изнемогая,
Воссоздала влиянием огня,
Сиянием меня во мне слагая.

Я — твой мираж, заплакавший росой,
Ты — над природой молодая Геба,
Светлеешь самородною красой
В миражами заплакавшее небо.

Всё, просияв, — несет твои слова:
И треск стрекоз, и зреющие всходы,
И трепет трав, теплеющих едва,
И лепет лоз в серебряные воды.

1926
Кучино

290

Мигнет медовой желтизною скатов;
Пахнет в окно сосною смоляной;
Лимонна — бабочка... И томно матов
Над голубем голубизною зной.

Из-за чехла — мельканье мелкой моли;
Из сердца — слов веселый перещелк.
Мне не к лицу лирические роли;
Не подберешь безу́толочи толк.

Я над собой — песчанистою дюной —
В который раз пророс живой травой!
Вспорхнув, веду, — нелепо, глупо, юно, —
В который раз — напев щеглячий свой.

В который раз мне и близки, и милы, —
Кустов малиновые листики,
Целительно распле́щенные силы
И длительно облещенные дни.

В который раз мне — из меня — дохнула
Сознанию незнаемая мощь, —
Волной неумолкаемого гула,
Парной жарой и птичьим щелком рощ.

1926
Кучино

291

Я — отстрадал; и — жив... Еще заморыш навий
Из сердца изредка свой подымает писк...
Но в переполненной, пересиявшей яви
Тысячемолнийный, гремучий светом диск.

Мне снова юностно: в душе, — в душе, кликуше —
Былые мглы и дни раздельно прочтены.
Ты, — ненаглядная?.. Ах, — оветряет уши
Отдохновительный, веселый свист весны.

Всё, всё — отчетливо, углублено, понятно
В единожизненном рожденьи «я» из «ты».
Мгла — лишь ресницами рождаемые пятна:
Стененье солнечной, бестенной высоты.

1926

292

Снег, — в вычернь севшая, слезеющая мякоть;
Куст — почкой вспухнувшей овеян, как дымком.
Как упоительно калошей лякать в слякоть, —
Сосвистнуться с весенним ветерком.

Века, а не года, — в расширенной минуте;
Восторги — в воздухом расширенной груди...
В пересерениях из мягкой, млявой мути, —
Посеребрением на нас летят дожди.

Взломалась, хлынула, — в туск, в темноту тумана —
Река, раздутая легко и широко.
Миг, и просинится разливом океана,
И щелкнет птицею... И будет —
— солнышко́!

1926
Москва

293. ДЕМОН

Из струй непеременной Леты
Склоненный в день, пустой и злой, —
Ты — мо́рочная тень планеты;
Ты —
— шорох, —
вылепленный мглой!

Блистай в мирах, как месяц млечный,
Летая мертвой головой!
Летай, как прах, — как страх извечный
Над этой —
— бездной —
— роковой!

Смотри, какая тьма повисла!
Какой пустой покой окрест!
Лишь, как магические числа, —
Огни —
— магические —
— звезд...

Как овцы, пленные планеты,
Всё бродят в óрбитах пустых...
Хотя бы взлетный огнь кометы!
Хотя бы —
— мимолетный —
— вспых!

Всё вспыхнуло: и слух, и взоры...
Крылоподобный свет и гул:
И дух, — архангел светоперый —
Кометой —
— небеса —
— проткнул!

И — чуждый горнему горенью —
В кольцо отверженных планет —
Ты пал, рассерженною тенью,
Лицом —
— ощуренным —
— на свет.

1929
Кучино

294. РОЖДЕСТВО

Трещит заискренным забором
Сухой рождественский мороз;
И где-то ветер вертким вором
Гремит заржавленным запором;
И сад сугробами зарос.

И те же старые турусы
Под бородою Иеговы:
О звезды — елочные бусы,
И ты, Юпитер синеусый, —
Когда же оборветесь вы?

Протми сияющие песни,
Уйми слезливую игру, —
Вселенная, — погасни, тресни:
Ты — злая глыба глупой блесни!
Ты, — рыба, льющая икру!

Нет, лучше не кричать, не трогать
То бездыханное жерло:
Оно черно, — как кокс, как деготь...
И по нему, как мертвый ноготь,
Луна переползает зло.

1930
Кучино

295. ТИМПАН

Поднял голос —
Упорный, лукавый,
Как Пан —
— И —
Отрывистый —
— Гривистый
Черный
Курчавый —
— Тимпан.

Точно сон из забвенья,
Точно хитон
Фиолетовый —
— Флейты —
— В день
Трепетный
Пение...

Са́фо, —
Из шарфа
Душистым,
Как воздух, —
Лицом —
Озарилась
На звук...

Арфа —
— Струилась —
— Ручьем —
— Серебристым —
— Из рук!

1931
Кучино

296. ПАРОДИЯ[1]

Под Гумилева

Я — молода: внимают мне поэты;
Я — как звезда, над блеском вечерниц;
Стан, — как лоза; глаза, — как кастаньеты,
Бросаются из шелковых ресниц.

И тут, и там, — мне юноши Гренады
Бряцают саблями, — по вечерам —
Под окнами играя серенады,
А по утрам — сопровождая в храм.

Мне посвящал рондэли[2] — Пирсо Памбра,
Мне обещал дуэли — дон Баран;
Но мне милее — минарет Альгамбры,
Вдруг задрожавший в воздух ятаган![3]

Где мраморами белого бассейна
Украшен сад и где всклокочен лавр, —
Там — на заре проходит в дом Гуссейна
Хавей-Хумзи, мой ненаглядный мавр.

Его тюрбан, как митра снеговая,
Волной кисей полощется с плечей,
Свой пенный шелк в лазурь перевивая;
А блеск очей, как... плеск кривых мечей.

Как дым, разлет молочного бурнуса;
Как — роза розовая, — гондура[4] —
Играет чешуей сереброусой;
Бряцает в ночь — браслет из серебра.

---

[1] Автор — восхищенный ценитель африканских стихов Н. С. Гумилева; «Пародия» — добродушная шутка.
[2] Рондэль — стихотворная форма.
[3] «Ятаган» — кривой меч.
[4] Гондура — так западно-африканские арабы называют род легкой, длинной цветной туники, которую они носят под бурнусом.

За ухом цветик зыблется лениво...
Но... в полумрак... взорвется барабан!..
И — выбрызнет, вдруг завизжав плаксиво,
Кривой, как месяц, ясный ятаган.

И станет красной — белая веранда:
Качаясь в ночь, оскалясь из руки, —
Там голова распластанного гранда
Поднимется над берегом реки.

1931
Кучино

297. ПОДЪЕМ

Пары кипят,
Росой перловой тая;
Едва дымят
Из бледных отдалений, —

Как нежный вздох,
Как стая горностая,
На серый мох
Перегоняя тени.

Стальным зубцом
В развеянные пряжи
Проткнулся блеск
Алмазящихся стекол: —

Под месяцем
В серебряные кряжи,
Крича, кентавр
Караковый процокал.

1931
Кучино

298. ДЕНЬ

Я выбросил в день
Теневую ладонь:
«О день, — переполни!
О, светом одень!»

И пырснула тень:
И как солнечный конь
Вдруг бросил из молний
Мне в очи огонь.

И воздух игривой
Улыбкой блеснул;
И блещущей гривой
Под облак мигнул;

И гул прокатился
В сутулых веках;
И гром громыхнул
В золотых облаках;

Оттуда, слезяся
В свой плащ световой, —
Над чащей склонясь
Золотой головой, —

Рукой золотой
Поднимался в туман —
Сутулый, седой,
Гололобый титан.

1931
Кучино

299. ЛЕС

И днем и ночью кот ученый
Всё ходит по цепи кругом.

А. Пушкин

Ныряя в сумерок дубравный,
Здесь суматошливые фавны
Язык показывают свой,

И бродит карла своенравный,
Как гриб, напучась головой;

С угрюмым горбуном Аммосом
Дивуется перловым росам
Из бледно палевого дня;
Уставясь безобразным носом,
Слезливо смотрит на меня.

Я шляпу перед ним сметаю:
— «Мое почтенье-с! ..» А Аммос —
Пасет, внимая лепетáю,
Свою блистающую стаю
Тяжелых, добрых, желтых ос;

Глядит в ручей курчавый, пенный;
И под сосной зеленотенной
Пускает из ноздрей туман;
А над сосной встает надменный
И сухопарый великан.

И суматошится день целый
В лесной пещере тот же гном;
Багровый, злой, остервенелый, —
Кует серебряные стрелы,
Приготовляет к ночи гром.

Готово! .. Тучищу пропучит;
Она — моргает и ползет;
Над лесом гребень дедерючит;
А ветер из ветвей мяучит,
Как сумасшедший, дикий кот.

И кто-то скачет вдоль дороги,
Свои вытягивая ноги
На перепрелый, серый пень...
Маячит — сумрак черноногий;
И плачет белоногий день.

1931
Кучино

300. АНДРОН

Лесная дебрь... Там, на опушке
Свирепый вепрь залег в кусты,
Там курьерогие избушки
Глядят в болотистые мглы;

Там по ночам нагие бабы,
Схватясь руками за бока,
Трясясь, как животами жабы,
Со свистом чешут трепака.

Там с вытоптанной, пнистой плеши,
Надев треух, сев на пенек,
Быкоголовый, пегий леший
Развел трескучий огонек:

Клочится дым... На поле строгом
Виляет пыль седым винтом,
И бродит ветер по дорогам.
И глухо колобродит гром.

И древний, роковой возничий,
Седой, всклокоченный Андрон [1],
Гремя телегой, порет дичи,
Летучей молнией взогнен.

1931
Кучино

301. БЕРЛИН

Взор
Божий, —
— Пламенные
Стрелы, —
Взогнит наш каменный
Позор...

---

[1] Выражение «Поехал Андрон на телеге» — в народном диалекте выражает бестолочь, чепуху, бред.

Куда нам убежать
От гнева?
И как взвизжать
Из черных нор?

Дух —
Чрево, —
— Пучащее газы, —
Потухни!

Рухни,
Старый храм, —
— где —

Вспух
От злобы
Озверелый, —
— Безлобый
Узкоглазый —
— Хам!

Жрец сала, прожеватель
Хлеба, —
Упорно
Вспучив
Смокинг —
— Гроб, —

Со щелком нахлобучив
Небо, —
— Свой черный
Котелок —
— На лоб, —

Сжав
Совесть —
— Лаковым
Портфелем,

Живот —
— Караковым
Пальто, —

Вот —
Побежит к конечным
Целям, —
— Чтоб —
— С тумбы

Грянуться
В ничто!

1931
Кучино

302. КОЛЬЦО

— «Кольцо —
— Сними мое:
Мое, как лед —
Лицо! ..
В сырой, —
— Как лед, глухой,
Земле — скорей
Укрой! ..
Мой дух —
— Сквозной взметет
В поля — сквозной
Возду́х! ..[1]
— Тебя —
— Найдет серебряным
Лучом
Кипя —
— Любовь! —
— Моя! ..»
. . . .
И — то — ж: —
— Благоухающее
Поле, —
Рожь, —
В ночь
Улетающие
Волны, ветер,

---

[1] «Возду́х» (а не во́здух): покров на умерших.

Ночь...
Гул
    Вдруг забрякавших
    Колокольцо́в —
Плеснул,
Как в сон —
                — Проплакавший,
                Серебряный —
Трезвон —
            — Тех —
                        — Похорон...

1931
Москва

ПЕРЕРАБОТАННЫЕ СТИХИ

303. ДЕНЬ-МАЛЮТКА

Посиди со мной,
Не оставь меня:
Будет мрак ночной
Без тебя, — без дня!

С алых губок луч,
Просияв, взыграл:
Переливный ключ
Златоперым стал.

Твоя мама — тень:
Ветерок ночной...
Белоногий день,
Поиграй со мной!

Приседаешь в рой
Кружевных берез,
Засветясь игрой
Белоросных слез.

Облеснув цветы
Вышиной немой, —
Стрекозиный ты,
Бирюзовый мой!

Свой сырой обман
Развернув, скорбя,
Бородан-туман
Унесет тебя...

Ты — не мой, не мой:
Я тебя отдам —
В сумасшедший рой
Черногорих мам.

Май 1900, 1921

304. ЛИРА

Звучи же, — о бледная
Блеснь!

Молчи же, — страдание
Мира!

Дыхание — звонкая
Песнь.

Душа — семиструнная
Лира.

Летайте —
Над лепетом лет!

Блистайте, —
Небесные руны!

Зови,
Легкоперстный
Поэт, —

И рви
Свои тонкие
Струны!

1900, 1921

305. ШОРОХИ

Вы ль —
— Мои
Небыли?

Ты ль, —
— Быстрый
Свет?

Были ли,
Не были ль —
— Искры, —
Поэт?

Гарево —
— Пыли —
— Из марева —
— Лет!

Нет, —
Не измеривай! ..

Дерево —
— Там —
— Пляшет
Листвой
Оголтелою —
— В гам.
Машет
Рукой
Омертвелою —
— Нам...

Падает —
— Падает —
— Падает —
— Ночь...

Дай, —
Изнемочь! ..

Прочь, —
— Постылая, —

Прочь!

Прыенула —
Прочь —
— Острокрылая —
Ночь...

Прыснула
В выспрь —
— Острокрылая —

Быстрь...

Падаю —
— Падаю —
— Падаю —
— Я...

Не превозмочь
Тебя, —

Быстрь
Бытия.

1900, 1929

306

Восток побледневший,
Восток онемевший,
Восток прозаревший —
— Как инок,
Запевший, —
Над тенью осинок,
Над ленью лозинок,
Над сенью долинок —
— Восток
Онемевший!

Березы сквозные;
Рои — росяные,
Цветы вырезные...
— А белые, —
Эти —

Мы в лете срывали;
И в лете узнали:
Мы, — дети, — сказали, —
— Что эти —
О свете!

Август 1901, 1921

307. СЕРДЦЕ

Сердце, ты — птенчик;
Свой щебет уйми!
Розовый венчик
Зари — подними!

Росы белясые,
Ясни и гам...
Солнечны вязы
И ясени там.

Детское сердце, —
Раскрылись цветы:
Легкие лепеты
Листиков — ты!

1901, 1921

308. ЛЮБОВЬ

— «Да, может быть, — сказала ты, —
Не то...»
— «До нового, — воскликнула
Сирена, —
Свидания...» Но знали мы:

В ничто
Кипучая перекипает
Пена.

— «Не верю я, что — навсегда...»
И вот —
Я вопрошал: твои глаза
Не лгали...
Нас омывал сквозной
Водоворот.
И волны в плач глаза
Перелагали.

Едва серпом юнели
Небеса;
А под рулем смелели светом
Пены;
На корабле надулись
Паруса;
За мелями отпели
В ночь сирены.

И вот тебя в безбрежность
Понесло;
На горизонте бледном,
Золотистом,
Взволнованное облако
Взошло,
Омолненное ярким
Аметистом.

В водовороты, в дым дельфинных
Игр
Белел корабль, как лебедь
Улетавший.
И запад гас, как полосатый
Тигр,
Заоблачные лапы
Распластавший.

1901, 1921

309. О ПОЛЯРНОМ ПОКОЕ

(говорит виолончель)

1

В хрустальные
Дали, —
— Где —
— Ясным
Стеклярусом —
— Пересияли
Блисталища: стаи полярные
Льдин —

И —
— Где —
— Блеснью
Янтарные
Копья
Заката — изжалили
Слепшие
Взоры —
— В печальные
Стали
Буруна —
— Отчалила шхуна.

2

И —
— Парусом —
— Красным,
Как ясный рубин, —
И —
— Окрепшею
Песней —
— Под зорькой —
— Отчалили —
— В хлопья
Тумана —
— Поморы.

3

Заводит —
— Разрывами
Вод
Свою песнь, —
— Ходит
Водами, —
— Носится —
Горькое море!
И —
— Год
Осиянный —
— За годами
Бросится
Там —
— Ураганами
Менами,
Брызгами
Вод
Разрывными —
Слетит —
— В коловорот
Разливанный.

4

Ничто не изменится!..
Только —
— Мятежится
Море,
Да тешится
Кит —
— Проливными
Фонтанами —
— Пенами,
Взвизгами,
Взрывами
Вод —
— В коловорот
Разливанный...

5

И над каменным
Кряжем —
— Невнятными
Майями
Дальних
Печальных
Годин —
Быстро выпала
Ворохом
Белого пепла
Зима...

И —
— Окрепла
Хрустальною пряжей
Полярная тьма.
И —
Осыпала —
— Пламенным
Мороком: —
— Пятнами
Спаянных льдин.

<Июль 1901, 1922>

810. МУТИ

Поле убогое;
Плесени пней:
В них рогорогое
Тменье теней.

Вымутнен куревом
Плесенный пруд;
В небе лазуревом
Вытянут прут.

Полнится мутями
Всё бытие:
Полнится жутями
Сердце мое.

— «Лапою темной
Тебя обойму...»
Лапою темною
Брошен во тьму.

1901, 1929

311. СТРАХ

Жду — твой глагол из пламени приять.
Жду — знамений... Но ужас, —
— Дух гнетущий, —

Как вор,
Как тать, —

В горах
Ползущий.

Косматый прах бормочет в облаках, —
Метет горé всклокоченные —
— Суши...

Как раб
В норе, —

Спасаю
Душу...

Из тучи злой летучая змея
Иглой огня меня пронзит —
— Бесцельно...

Душа
Моя

Скорбит
Смертельно.

1901, 1931

312. ВОЛНЫ ЗАРИ

В весенние волны зари
Прордели кресты колоколен.
Гори, мое сердце, гори:
Опять я свободен и волен.

Опять посылает мне даль
Вздыхающий, тающий отдых:
Свою голубую эмаль,
Свой кроткий, пурпуровый воздух.

И — первую, легкую тень,
И — ласточек легкие визги;
Опять отрясает сирень
Лучистые, чистые брызги.

И веет вздыхающий лес
Мне запахом пряного нарда...
У склона воздушных небес
Протянута шкура гепарда.

1902, 1918

313. ТЫ

Лето
В зеленых
Стогах;

Где-то
В знакомых
Лугах —

С нежных
Нагорий
Взовьем —

В нежные
Зори
Цветы...

Нежная,
Милая,
Сном, —

Нежная,
Милая —
— Ты!

Неугомонная
Блеснь,

Бледнолимонная
Блеснь...

Воздух,
Лучистый
Мечтой, —

Воздух —
Душистый
Настой...

Смех золотистый
Во мне...

И — аметисты
В волне.

Май 1901, 1929

314. ДОРОГА

И тот же шатается
Колос,
И той же прохладой
Пахнёт;

И ветер — серебряный
Голос —
Серебряный волос
Взовьет.

И та же певучая
Стая,
Визжа, вылетает
Из дней, —

Над нивой воздушно
Шатая
Летучие пятна
Теней.

Туда ж, — к голубому
Чертогу, —
Означит всевидящий
Бог —

Взметаемой пылью
Дорогу;
И — плачет пастушечий
Рог.

Как пыль световая,
Взвиваясь,
Как облачко, тая
В слезах, —

Как жаворонок
Заливаясь, —
Я жизнь окрылю
В небесах.

Март 1902, 1931

315. ОВЕС

Даль, — как стекло:
Над золотистой нивой —
— Шумит овес...

Всё, всё — прошло!
С души нетерпеливой —
— Слетел вопрос.

Кипят колосья
Над межою тою —
— Как злая шерсть;

Слетает солнце
Краснозолотое —
— В седую персть.

Завеют тени
Призрачного мира —
— Сквозной волной,

Дыша в поля,
Как золотой порфирой —
— Замглеет зной.

Нет — ничего!
И — ничего не будет —
— И ты — умрешь...

И рухнет мир...
И бог его — забудет... —
— Чего ж ты ждешь?

Ось мировую —
Время расшатает —
— Потухнет свет:

Во мгле пустой,
Как дым седой, растает, —
— Полет планет.

Росеет луг...
Слетает, холодея, —
— В перловый жар,

Оранжевою
Ржавчиною рдея, —
— Багровый шар.

Пространства гаснут,
Прахом распадаясь; —
— И — я; и — ты...

Там — жизни нет:
Грозят, туда бросаясь, —
— Мои персты.

Июль 1902, 1931

316. Н. В. БУГАЕВУ

1

Запламенел за дальним перелеском
Янтарно-красным золотом закат.
Кузнечики назойливые треском
Кидали в нас. Вился дымок из хат.

Садились мы, и — что-то, полный смысла,
Ты вычислял, склонившись над пеньком.
И — нить плелась. И — складывались числа.
И — сумерки дышали холодком.

Ты говорил: «Летящие монады
В эонных волнах плещущих времен, —
Не существуем мы; и мы — громады,
Где в мире мир трепещущий зажжен.

В нас — рой миров. Вокруг — миры роятся.
Мы станем — мир. Над миром встанем мы.
Безмерные вселенные глядятся
В незрячих чувств бунтующие тьмы.

Незрячих чувств поверженные боги, —
Мы восстаем в чертоге мировом».
И я молчал. И кто-то при дороге
Из сумерок качался огоньком.

Твои глаза и радостно, и нежно
Из-под очков глядели на меня.
И там, и там — над нивой безбережной —
Лазурилась пучина бытия.

И чуть светил за дальним перелеском
Зеленоватым золотом закат:
Кузнечики назойливые треском
Кидали в нас. Стелился дым от хат.

2

Цветут цветы над тихою могилой.
Сомкнулся тихо светлой жизни круг.
Какою-то неодолимой силой
Меня к тебе приковывает, друг!

Всё из твоих отворенных оконец
Гляжу я в сад... *Одно, навек одно...* [1]
И проливает солнечный червонец
Мне пламенное нá руку пятно.

И веяньем проносится: «Мы — боги,
Идущие сквозь рой миров, — туда,
Где блещет солнце в яркие чертоги,
Где — облака пурпурная гряда...»

1903, 1914

317

Прошумит ветерок
Белоствольной березой;
Колыхается грустный венок
Дребежжащей, фарфоровой розой.

Черных ласточек лет;
Воздух веющий, сладкий...
С легким треском мигнет
Огонечек лампадки.

Ты не умер — нет, нет!
Мы увидимся вскоре...
Не замоет потоками лет
Мое тихое горе.

---

[1] Стихи Вл. Соловьева.

Над могильным холмом
Из-за веток сирени
Бледно-белым лицом
Тихо клонится гений.

Август 1903, 1914(?)

318. ЦЕРКОВЬ

И раки старые; и — мраки позолоты;
В разливе серебра — черна дыра киота; —

И кто-то в ней грозит серебряным перстом;
И змея рдяного разит святым крестом.

Под восковой свечой седой протоиерей
Встал золотым горбом из золотых дверей;

Крестом, как булавой, ударил в ладан сизый:
Зажглись, как пламенем охваченные, ризы.

Два световых луча, как два крыла орла...
И, — тяжело крича, дрожат колокола.

Июнь 1903, 1921

319. КЛАДБИЩЕ

Ветров — протяжный глас, снегов —
Мятежный бег
Из отдалений...

Перекосившихся крестов
На белый снег
Синеют тени...

От нежных слез и снежных нег
Из поля веет
Вестью милой...

Лампад
Горенье в ряд
Берез —

Малиновеет
Над могилой...

Часовня бледная
Серебряной главой сметает
Иней, —

Часовня бедная
Серебряной главой — блистает
В сини...

Тяжелый дуб, как часовой,
Печально внемлет
Звукам муки: —

Косматый сне́гами, — в суровый вой
Подъемлет
Руки...

И бросится
Его далекий стон:
Сухим
Порывом...

И носится
Оцепенело он —
Глухим
Отзывом...

И только: —
                    — Вышину
                    Мутит
                    В сердитом
                    Беге
                    Вьюга...

И только: —
                    — В тишину
                    Звучит —
                    Забытый
                    В снеге, —
                                    — Голос друга...

1903, 1922

320. УСАДЬБА

Чугунные тумбы
Торчат под крыльцом;
Проросшие клумбы;
Заброшенный дом.

Дворянских фамилий
Облупленный герб;
И — заросли лилий;
И — заросли верб.

Там ставнею сорванной
Хлопнет окно;
Там жизни оборванной
Темное дно: —

Кушетки, козетки,
Куранты, чехлы
И мертвые предки —
Проблекли из тьмы.

Под сводами арок
Тенеет порой
Там плачущих парок
Бормочущий рой.

Июнь 1903, 1925

321. ПОЭТ

Бальмонту

О, —
— Поэт, —

Твоя речь
Будит
Грусть!

Твоя
Речь —

Будет
Пусть —
— Верч
Планет, —
Смерч
Веков, —
— Меч
Планет —

Световой
Вой
Миров —
— В горнем мареве
Мрака, —
— Блеснувший,
Как дым, —
— Золотым
Колесом
Зодиака.

Май 1903, 1929

822. АРГОНАВТЫ

1

Дорога
Долга...

И, простершие строго
Рога
Золотые, —
— Под облако —
— В дымы седые
Трубят —
— Аргонавты, —

Став
С нардами:
— «Длани
Свои простирайте
Огню!

— И — из солнечной ткани
Свою надевайте
Броню!»

И два раза —
— Рога —
— Проговорили
Строго...

2

Вода —
Мельк
Алмаза —
— И — Блески
Червонца

И лал,
Нестерпимый
Для глаза —
— Стоусый, —
Стоносый, —
Льет русые
Росы —
— Диск
Солнца —
— В тимпанные
Трески
И —
В визг...

Арго, —
В ветер
Натягивая —
— Парус
Бледно перловый,

И —
— Вздрагивая
В бирюзовый эфир —
— Кузов
Клонит...

8

Всё —
Минет...

Шар —
Тонет...

Жар —
Стынет.

И небо
В рубинах
Над нами;

И —
  — В синий эфир
  Улетая —
            — Уже
            Над орлами —
                        — Наш Арго,
                        Наш Арго, —
                                    — Наш
                                    Арго —

Забил —
      — Золотыми
      Крылами.

1903, 1929

323. ТЕЛО

В неизносный,
Косный
Ком —
    — Бьется
    Сердце, —
            — Светоём.
Тело
Бренное

И пленное —
— Бьется —
— Солнечной
Вселенною.

Очи — прянут:
Станут
Свет —
— В золотые —
— Ливни лет, —
— В золотое —
— Бездорожие...

В уши —
Грянут
Трубы —
— Божие!..

Суши
Каменные
Жгла —
— Сила пламенного
Молота...

Души —
Божьи
Зеркала, —
— Отражающие —
Золото.

1903, 1929

324—328. БРЮСОВ

Сюита

1

Свисты ветряных потоков,
Рвущих черный плащ,
Тучи мороками рока
Вспучил горный хрящ.

В тьмой объятую стремнину
Маг, объятый тьмой,
Бросил белую лавину...
Шаг оборван мой.

Из-за скал, как клекот злого,
Горного орла, —
Бьет магическое слово
В сердце, как стрела.

Взвивший молнийные муки
Мертвой головы,
Мертвый маг, сложивший руки,
Вставший в выси — вы.

1903, 1929
Москва

8

Свет, — как жегло́; и воздух — пылен;
День, — как пустой, стеклянный страз;
В него ты выпучил, как филин,
Огонь непереносных глаз.

Твой голос — звуки афоризма;
Шаг — стуки похоронных дрог;
Мысль — как отточенная призма;
Всклокоченная бровь — издрог.

Как пляшущие жабы, — речи;
Как черный бриллиант, — глаза...
Ты, как Атлант, взвалил на плечи
Свои пустые небеса.

Докучное, как бор-машина,
Сплошное, мировое всё, —
Шипит, как лопнувшая шина,
Жужжит, как злое колесо.

Изверженный тоской железной
Из этой звездной высоты, —

Как некий стержень бесполезный,
Как кукла вылитая, — ты!

Изогнутый дугой упорной
В наш бестолковый перепуг, —
Взвивай из мороков свой черный,
Всегда застегнутый сюртук.

1907, 1931
Москва

4

Разрывая занавески,
Ветер — винт перевертной —
Кружевные арабески
Завивает надо мной.

Плещут тюлевые шторы;
Тени ползают в окне,
Как невидимые воры
В душном, обморочном сне.

Ты ль, вытягиваясь в нише,
Пылью пепельною встав, —
Под железный желоб крыши
Взвил невидимый состав?

Ты ль, скривляясь тенью злою,
Губы к уху перевлек, —
Черной, морочной полою
Перерезав потолок?

Словно вздох, зефира тише,
Словно дох небытия, —
Легколепетней, чем мыши,
Легколепетное: —
— «Я!»

Сгинь, — покоя не нашедший,
Оболгавший свой позор, —

Бестолковый, сумасшедший,
Теневой гипнотизер!

В синем дыме папиросы
Встали синие персты;
Прожужжали, словно осы:
«Сгинем, —
                    — Минем —
                                        — Я —
                                                  — И ты!

1931
Кучино

5

В бездну
Безвременья
Падай, —
               — Из бездны
               Безвременья, —
                                   — Непеременною сменой, —

Кольцо
Бытия!

Прядай,
Седая
Струя —
             — Из безвременья —
На бытие мое!

Ты, — незнакомое
Время,
Обдай мне лицо
Своей
Пеною!

Мертвенный не́мень, —
Рыдая,
Я
Падаю!

Времени —
Нет уже...

Падаю
В эту же —
— Бездну
Безвременья.

1929
Кучино

7

Проклятый, одинокий
Бег, —
В косматый дым, в далекий
Снег...

Обвалы прядают,
Как молот:
И скалы — падают;
И — холод...

Переползает
Злая тень;
Как меч, перерезает
День;

И вниз,
Как зеркало стальное,
Ледник повис
Броней сквозною.

С тропы крутой —
Не оборвись!
Ясна обрывистая
Высь.

Седая гривистая
Лопасть —
Слетает: стой!..
Чернеет — пропасть.

Бежишь, смеясь, —
Сквозной ручей
Поет, сребрясь
Струной: «Ничей!»

Над мутью сирой
Лед зернистый —
Слетел порфирой
Серебристой.

Луч солнечный
Пропел над тьмой...
Омолненный, — слепой, немой, —

Как кондор, над ужасным
Пиком,
Прозолотел прекрасным
Ликом.

Неизъяснима —
Синева;
Как сахарная
Голова, —

Сребрея светом,
Как из пепла, —
Гора из облака
Окрепла

. . . .

Истают быстрые
Года,
Как искры
Золотого льда, —

Под этой звездной
Пеленою, —
Над этой бездной
Ледяною.

1907, 1929
Москва

329. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Как — пыли —
— Вьет!

Как —
— Тени
Пали
В пропасти!..

Как —
— Ветер —
— Из ковыли —
— В дали —
— Рвет —
— Платана —
— Лопасти!

Как —
— Из тумана —
— Пены
Нижут —
— Взмои —
— Перегонных
— Вод!

Так —
— Смены
Поколений —
— Слижут.
Мглой
Плененный
Род...

Круги —
— Миров —
— Нарушены...

Беги!

И — верть!
И — смерть!

Дома —
Разрушены...

Сама —
— Не держит —
— Твердь...

Дым —
На полях.

Сухие
Мяты,
Тьмы...

Бежим —
— Куда-то, —
— Тьмой —
— Объяты, —
— Мы!

1903, 1930

330. ЛЕОПАРДОВАЯ ЛАПА

Пыль косматится дымом седым;
Мир пророчески очи огнит;
Он покровом, как дым, голубым
В непрозорные ночи слетит.

Смотрит белая в тухнущий мир
Из порфировых высей луна;
Солнце — выбитый светом потир, —
Точно выпитый кубок вина.

Тот же солнечный древний напев, —
Как настой, золотой перезвон —
Золотых, лучезарных дерев
В бирюзовый, как зовы, мой сон.

Тот же ветер столетий плеснул,
Отмелькал ожерельями дней, —
Золотистую лапу рванул
Леопардовой шкуры моей.

Июнь 1903, 1931

331. СУМАСШЕДШИЙ

Я — убежавший царь;
Я — сумасшедший гений...
Я, в гаснущую гарь
Упавши на колени, —

Всё тем же дураком
Над срывом каменистым
Кидался колпаком
С заливистым присвистом;

Влез на трухлявый столп
В лугах, зарей взогненных;
И ждал народных толп
Коленопреклоненных.

Но вышли на луга,
В зубах сжимая розы,
Мне опустив рога,
Испуганные козы.

В хмуреющую синь
Под бредящим провидцем —
Проблеяли: «Аминь!»
Пристукнули копытцем.

Август 1903, 1931

332. АНАНАС

1

Мой
Стремительный
Взлет —

В ослепительный
Лед.

Я —
Над тьмой...

Я —
Немой...

Точно вынут
Из дней...

Стынут —
— Молньи
Огней...

Горы —
— Тонут
В венцах...

Ветры —
— Стонут
В горах...

Преисполни —
— Огня —
— Меня, —

Ясный,
Слепительный, —
— Холод!

Мой
Друг, —
— Мой
Прекрасный, —
— Я —
Молод!

2

Принес
На утес —
— Золотой
Ананас —

Из разъятого
Ломами, —
— Гномами, —
Недра —

Под тени косматого
Кедра —

Затянутый в красный
Атлас —

— Грудогорбый
Игрун, —
— Мой
Горбун!

8

Он —
— Кидался —

— Над ломким,
Как лед, —

Белоснежным
Зубцом —
— И туда,
И сюда,

— В сон
Высот...

Он —
— Бодался —

С серпом
Полумесяца, —
— Нежным
И
Тонким, —
— Схватясь —
За бока, —

— Бубенцом
Колпака.

Он —
Валял дурака: —

Дернул
Басом

Он: —
— «Смело!»

И —
— Вздернул, —
— Смеясь, —

В небеса
Ананасом...

И —
— Пела —
— Роса —
— Переплеском —

Червонца.

4

Из нор —
— Писк
И
Треск:

— «С гор
Скатился —
— Диск
Солнца!»

1903, 1931

833. МОГИЛЫ ИХ

Памяти М. С. и О. М. Соловьевых

— «Пора, пора» —
Фарфоровые розы
В рой серебра
С могилы их зовут.

— «Пора, пора!»
Стоят, как дым, березы.
Ветра, как дым,
Седым порывом рвут.

Играет прах;
Бряцает взмах кадила...
Рой серебра,
Осолнечная брызнь...

Над нами — глаз —
Лазоревая сила!
Над нами, в нас —
Невидимая жизнь!

1903, 1931

334. ВЛАДИМИРУ СОЛОВЬЕВУ

Тебе гремел — и горный гром Синая;
Тебе явился бог...
Ты нас будил: твоя рука сквозная
Приподымала рог.

Как столб метельный, взвившийся воздушно
Из бури снеговой, —
Не раз взлетал над чернью равнодушной
Огромный голос твой.

Стою, осыпан белокрылой, свежей,
Серебряной пургой...
Мне сны твои, — здесь, над могилой, — те же,
Учитель дорогой!

Лазурные, невидимые силы
Над родиной — взойдут!
Пускай ветра венок с твоей могилы
С протяжным стоном рвут.

И тот же клич тысячелетней злобы,
Как бич, взметает мгла...
Ночь белые, атласные сугробы
На гробы намела.

Я слушаю слетающие звуки:
Вздыхая мне венком,
Бросая тень, мне простирая руки
Над красным фонарьком,

Твой бедный крест, здесь, под седой березой, —
Из бледной бездны лет, —
О камень бьет фарфоровою розой:
«О друг, — разлуки нет!»

И бледных лент муаровые складки,
Как крылья, разовьет:
Спокойно почивай: огонь твоей лампадки
Мне сумрак разорвет.

1903, 1931

335. ЛЕТО

1

Над одуванным бережком
Жарой струит: переливает;
Пушинки легкие летком
В летенник белый улетают.

Вскипит зеленый лепетай,
Ветвистым лапником присвистнет;
Звененьем комариных стай
Густой ознойный воздух виснет, —

Над пересушенным листом
И над муругим мухомором...
В полях пройдет пустым винтом;
Дохнет: полуденным измором.

2

Высокий вихорь пылевой,
Народ пугая, но... не очень, —
Густой, косматой головой
Взвивает чернохохлый клочень;

Затеяв дутый пустопляс,
Заколобродит по дорогам,
Задует мутью в рот и в глаз;
И — разрывается над логом.

3

Тропой обрывистой меня
Из дня уводит в прелый тинник —
Глухая, хрусткая лазня
Сквозь сухорукий хворостинник;

Журчит железистый ржавец;
И — моховатое болото,
Где из гнезда шипит птенец, —
Слепой, бесперый, желторотый;

И там, где травы — ползунки,
Где в жар пересыхают броды,
Там — сероперые чирки;
И — пестроперые удоды.

4

Уже слезливые кусты —
Алмазноглазы, сыры, сыты;
Уже с небесной высоты
Слезятся в вечер лазулиты [1].

И молний миглая игра
Очнется к ночи; месяц — льдинка...
И — ночи первая пора...
И — неба первая звездинка.

1904, 1920

---

[1] Топаз.

336. ПЕТЕЛ

1

И ночи, и дни
Как в туманах...

Встал
Алый, коралловый
Рог!

Я — устал,
Изнемог;
Ноги — в ранах...

Лай психи...
Огни...
Город — гроб...

Иглы терний —
Рвут лоб.

Свете тихий,
Вечерний!

2

Гарь
Стелет волокна;
Фонарь
Поднимаю на окна.

— «Откройте —
Мне двери!
Омойте —
Мне ноги!»

И жути,
И муть...
Точно звери
В берлоге...

— «Я
Светоч!..»
— «Я —
Двери!»
— «Я —
Путь!»

8

Круг — пребудет.

Воздух волен,
Светел.

Я —
Не болен...

Я —
Как пыл
Далеких колоколен.

Будет
То, что было —
Столько
Раз:

— «Мыло,
Полотенце,
Таз!..»

. . . . . .

Только —
Петел
Ответил.

1904, 1931

837. В ОКНЕ ТЮРЬМЫ

Бросило блекло
Время —

В стекла
Моей тюрьмы —

Гнет,
Тень,
Бремя —

Вой,
Злой
Зимы.

Лес
Весь
В снеге...
Галка,
Дым деревень...

Ветер — в поспешном беге
Ткет
Ночи тень.

Здесь —
Рушусь в ночь я, —
Рушусь
В провалы дня...

Клочья
Вьюжные, — бросятся...

Сроки минут
Уносятся, —
                    — Не унесут
                    Меня.

1905, 1925

838. СОЛНЕЧНЫЙ ДОЖДЬ

Подсолнечный дождик
В лазурь
Омолненным золотом
Сеет;

С востока — вечерняя
Хмурь;
И в лоб — поцелуями
Веет.

В полях — золотые
Снопы
Вечернего, летнего
Света.

И треплется тополь
С тропы,
Как влепленный в лепеты
Лета.

В объятиях облака
Спит —
Кусок голубого
Атласа;

И звездочка — ясно
Слезит,
Мерцая из мглы
Седовласой.

Я — милые щебеты
Пью,
И запах полыни
Не горек.

Тебя — узнаю: —
Узнаю!
Из розовых, розовых
Зорек.

Ты? Нет — никого...
Только лен —
У ног провевает
Атласом;

Да жук, пролетая
Под клен,
Зажуркает бархатным
Басом, —

Да месяц, — белеющий
Друг, —
Опалом очерчен
Из сини;

Да тускло остынувший
Луг
Под ним серебреет,
Как иней.

1905, 1931

339. ПОМОЙНАЯ ЯМА

Бросила красная Пресня
В ветер свои головни...
Кончено: старая песня —
Падает в дикие дни.

В тучи горючие, в крики —
Тучей взметаемый прах...
Те же — колючие пики,
Кучи мохнатых папах.

Спите во тьме поколений,
Никните в грязь головой,
Гните под плети колени, —
Дети семьи трудовой!

Будет, — направленный прямо
В нас орудийный огонь...

Та же помойная яма
Бросила тухлую вонь.

В то же слепое оконце,
В злеющий жужелжень мух
И в восходящее солнце —
Пухнет мохнатый паук.

1906, 1925

340. БОЛОТО

Одевает яркий жар
В бледно-бронзовые лаки,
В медно-ржавый перегар —
Засыхающие злаки.

Из лазоревых верхов
Искрит молнийная спица;
Искрит живчиком из мхов
Живортутная водица.

Глины моклая липня;
Мошек плясовое пенье;
Диких уток гагатня;
Незабудок голубенье.

Ввечеру и поутру,
Точно нервная кликуша,
Восклицает в пустоту
Желтобрюхая квакуша.

1907, 1920

341. ВСТАВАЙ

В черни людского разроя
Встал параличный трамвай;
Многоголового роя
Гул: «Подымайся... Вставай...»

Стекла каменьями бьются:
Клочья кровавых знамен
С площади в улицы вьются, —
В ворохи блеклых времен.

Улица прахами прядит, —
Грохнет сердитым свинцом;
Ворон охрипнувший сядет
Над восковым мертвецом.

1907, 1925

342. ГОРОД

Выпали желтые пятна.
Охнуло, точно в бреду:
Загрохотало невнятно:
Пригород — город... Иду.

Лето... Бензинные всхлипы.
Где-то трамвай тарахтит.
Площади, пыльные липы, —
Пыли пылающих плит, —

Рыщут: не люди, но звери;
Дом, точно каменный ком, —
Смотрится трещиной двери
И чернодырым окном.

1907, 1925

343. ПЕПЕЛ

Тот облак,
Что над головой
Взлетающим зигзагом душит, —
Свой купол
Нежно снеговой
Хаосом пепельным
Обрушит.

И пепелеют
Купола
В лучей вечеровые стрелы;
И пепелеет
Ночи мгла;
И розовеет
Обод белый.

И темно-тусклая
Эмаль
Суровым мороком окрепла.
Ночь водопадом
Топит даль
Беззвучно рушимого
Пепла.

И тяжкий месяца
Коралл
Зловещий сумрак к долам клонит;
И в озера
Литой металл
Темноты тусклые
Уронит.

1908, <1923>

344. ПУСТОЙ ПРОСТОР

Рой серых сел
Маячит
В голый дол;
Порывы пыли;
Вырывы ковыли.
Сюда отдай бунтующий
Глагол —

В маячащие,
Дующие
Плачи...

Прокопы, торчины, —
Пески...

Маячат трёпы туч
На дико сизом небе...
И точно —
Скорбно скорчены —
Лески;
И точно —
Луч
На недожатом хлебе.

Шатнет листвою
Ерзнувшая
Жуть;
В пустой овраг
По сорным косогорам
Течет ручей, —
Замерзнувшая
Ртуть...
Мой шалый шаг —
В разлом
Пустых
Просторов.

Страх,
Как шара́х мышей — в пустых
Парах,
Повиснувших, как сизый камень,
В небе...
Но грянет
Гром,
И станет
Пламень
В прах —

Ерошить: — мглой
Свой,
Яснокрасный
Гребень...

1908, 1925

845. ДЕКАБРЬ

Накрест патронные ленты...
За угол шаркает шаг...
Бледные интеллигенты...
— «Стой: под воротами — враг!»

Злою щетиной, как ежик,
Серый ощерен отряд...
— «Стой! ..» Откарманенный ножик.
— «Строй арестованных в ряд!»

Вот, под воротами, — в стену
Вмятою шапкой вросли...
Рот, перекошенный в пену...
Глаз, дико брошенный... Пли!

Влеплены в пепельном снеге
Пятна расстрелянных тел...
Издали — снизились в беге:
Лицами — белы, как мел.

Улица... Бледные блесни...
Оторопь... Задержь... Замин...
Тресни и дребездень Пресни...
Гулы орудия... —
                                        — Мин!

1908, 1925

846. АЛМАЗНЫЙ НАПИТОК

В серебряный
Расплéск
Как ослепленных
Глаз, —
                    — Сверкни,
                    Звездистый блеск!
                    Свой урони
                    Алмаз!

Дыши, —
В который раз, —
Души
Душистый стих! —
— Сверкни,
Звезды алмаз, —
Звездою глаз
Моих!

Раздольный
Плеск
Звучит
Покоем —
— Ветерков;

Настоем
Звезд — кипит
Невольный
Блеск —
— Стихов...
Душа,
Стихи струя,
Дыша,
Блеснет из глаз; —

За ней — и я, —
С себя —
— Слетающий
Алмаз.

1908, 1929

347. СТАРОЕ ВИНО

Зори, —
Вы
Угарно
Огневое —
— Старое
Янтарное
Вино!

Тот же круг
И ков
Столетий —
— Те же сети —
Ткет
Из года в год —
— Веков
Веретено!

Трав
Густой
Настой
На луге колосистом!

Полни, —
— Солнце, —
— Круг,
Кольцо
Из молний!
Ты —
Змея!
—
...Змея
Из трав
В лицо —
— Взвилась —
— Сердитым
Свистом...

Жаль
Восторгом ядовитым, —
Жаль, —
Печаль
Моя!
Полудень, —
Стой!..
— «О, золотой,
О, —
Мой!»
Полудень —
Непробуден:

Я —
Отравлен тьмой —
От
Света!
О, конец!
Кольцо
Колец!
О, —
        — Злое, злое,
        Злое —
                — Лето!

1909, 1931

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
⟨К СБОРНИКУ «ПЕПЕЛ», 1909⟩

Да, и жемчужные зори, и кабаки, и буржуазная келья, и надзвездная высота, и страдания пролетария — все это объекты художественного творчества. Жемчужная заря не выше кабака, потому что то и другое в художественном изображении — символы некоей реальности: фантастика, быт, тенденция, философическое размышление предопределены в искусстве живым отношением художника. И потому-то *действительность* всегда выше искусства; и потому-то художник — прежде всего *человек*. Но чтобы жизнь была действительностью, а не хаосом синематографических ассоциаций, чтобы жизнь была жизнью, а не прозябанием, необходимо служение вечным ценностям; такими ценностями могут быть и идеальные стремления нашего духа, и неизменность в переживании факторов реального бытия — и заря, и келья — символы ценностей, если художник вкладывает в них свою душу; то, что создает из случайного переживания, мысли или конкретного факта ценность, есть долг. Основные ценности не могут меняться, меняется форма их: идти к этим ценностям — долг человека, а потому и художника. Долг пуст и формален, взятый безотносительно к жизни; жизнь хаотична и бессмысленна, не оформленная определенным волевым устремлением, соединение долга с жизнью — вот ценность. Своеобразное соединение художественного переживания (объект этого переживания безразличен) с внутренним велением долга определяет путь художника, создает из него символиста: *художник всегда символист; символ всегда реален* (в каких бы образах ни выражался он); символизм — всегда есть показатель того, что формой образа художник указывает нам на свой сокровенный, незыблемый путь; эзотеризм присущ искусству: под *маской* (эстетической формой) таится указание на

то, что самое искусство есть один из путей достижения высших целей. В высочайшей тайне своей, укрытой под эстетикой, художник *спять, вторично* возвращается к людям: и потому-то в заявлении художника о своем праве быть свободным кроется огромная тяжесть ответственности: и если он восстает против той или иной формы символизации ценностей, то вовсе не потому, что не верит в ценности: художник может нам казаться кощунственным, когда он называет идолами наших богов: но если он назовет идолом и свое божество, то *«последнее кощунство»* ему не простится; тут он перестает быть человеком, тут он не символист, не реален он. Тут мы ему не прощаем, потому что *«не во имя свое»* мы приближаемся к нему, *«не во имя свое»* он зовет нас: нас соединяет с ним общий путь, общий долг, *как людей.*

Теперь, когда понятие о свободе и долге, искусстве и жизни, молитве и кощунстве, символизме и реализме, заре и кабаке перепутались, я считаю нужным сказать эти простые слова о том, что я требую от искусства, чего жду от художника и как понимаю символизм.

В предлагаемом сборнике собраны скромные, незатейливые стихи, объединенные в циклы; циклы в свою очередь связаны в одно целое: целое — беспредметное пространство, и в нем оскудевающий центр России. Капитализм еще не создал у нас таких центров в городах, как на Западе, но уже разлагает сельскую общину; и потому-то картина растущих оврагов с бурьянами, деревеньками — живой символ разрушения и смерти патриархального быта. Эта смерть и это разрушение широкой волной подмывают села, усадьбы; а в городах вырастает бред капиталистической культуры.

Лейтмотив сборника определяет невольный пессимизм, рождающийся из взгляда на современную Россию (пространство давит, беспредметность страшит — вырастают марева: горе-гореваньице, осинка, бурьян и т. д.). Спешу оговориться: преобладание мрачных тонов в предлагаемой книге над светлыми вовсе не свидетельствует о том, что автор — пессимист.

В свой сборник я поместил до 40 еще не напечатанных стихотворений, а также до 20 стихотворений, значительно переработанных с точки зрения основного лейтмотива, как то: *«Поповна», «Телеграфист», «Бурьян», «Каторжник», «Осинка»*, и многие другие.

Сюда не вошли почти все стихотворения 1907 года, а также ряд стихотворений 1908 года, как не согласные с идеей сборника.

Считаю нужным заметить, что в «Пепле» собраны наиболее доступные по простоте произведения мои, долженствующие составить подготовительную ступень к *«Симфониям»;* и что смысл моих переживаний в данной книге периферичен по отношению к *«Симфониям»,* особенно к *«Кубку Метелей»,* единственной книге, которой я более или менее доволен и для понимания которой надо быть немного *«эзотериком».* Брань, которой встретила критика мою книгу, и непонимание ее со стороны лиц, сочувствовавших доселе моей литературной деятельности, — все это укрепляет меня в мысли, что оценка этого произведения (окончательное осуждение или признание) в будущем: судить можно то, что понимаешь, а наиболее сокровенные символы души требуют вдумчивого отношения со стороны критиков: неудивительно, что произведение, выношенное годами, они встретили только как забавный парадокс.

Автор

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
⟨К СБОРНИКУ «УРНА»⟩

Озаглавливая свою первую книгу стихов *«Золото в лазури»,* я вовсе не соединял с этой юношеской, во многом несовершенной книгой того символического смысла, который носит ее заглавие: *Лазурь* — символ высоких просвящений, *золотой треугольник* — атрибут Хирама, строителя Соломонова храма. Что такое лазурь и что такое золото? На это ответят розенкрейцеры. Мир, до срока постигнутый в золоте и лазури, бросает в пропасть того, кто его так постигает, минуя оккультный путь: мир сгорает, рассыпаясь Пеплом; вместе с ним сгорает и постигающий, чтобы восстать из мертвых для деятельного пути.

«Пепел» — книга самосожжения и смерти: но сама смерть есть только завеса, закрывающая горизонты дальнего, чтоб найти их в ближнем.

В *«Урне»* я собираю свой собственный пепел, чтобы он не заслонял света моему живому «я». Мертвое «я» заключаю в «Урну», и другое, живое «я» пробуждается во мне к истинному. Еще «Золото в лазури» далеко от меня... в будущем. Закатная лазурь запятнана прахом и дымом: и только ночная синева омывает росами прах... К утру, быть может, лазурь очистится...

В *«Урне»* я собрал стихотворения, объединенные общностью настроений; лейтмотив этой книги — раздумье о бренности человеческого естества с его страстями и порывами, и думаю, что не случайно все стихотворения этого цикла вылились в ямбах, этой наиболее удобной и разнообразной в ритмическом отношении форме.

В отделах *«Зима» и «Разуверенья»* изображается разочарование в земных страстях, и душа погружается в холод философических раздумий (ментальный план); но здесь же открывается и демонизм философии, которая, взятая сама по себе, ведет к чистому люциферианству («Философическая грусть»). В отделах *«Тристии»* и *«Думы»* собирается последний пепел: пепел хотя и возвышенного до символизма разочарования в жизни, но все еще разочарования. Разочарование это свободно от люциферических искусов. Где-то уж брежжит заря примиренности: *«Голос Безмолвия»*.

Автор

Москва, 14 января 1909

БУДЕМ ИСКАТЬ МЕЛОДИИ

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ «ПОСЛЕ РАЗЛУКИ»⟩

Эта маленькая тетрадь — поиски формы; и я не придаю ей никакого значения, как не придаю я значения многообразным поэтическим школам; и вместе с тем здесь — тенденция к новой школе, поскольку каждая мимолетная школа все-таки отмечает один штрих в сложном целом, именуемом поэтическим произведением; я считаю, что после символизма не было сколько-нибудь действительно новых сдвигов к грядущему стилю поэзии; акмеизм был благоразумной реакцией, временно, быть может, необходимой; в дальнейших новаторских попытках сказывалось лишь естественное разделение труда в гранении деталей стиха: появились ритмисты, появились футуристы, подчеркнувшие звук слова; появились имажинисты, подчеркнувшие образ и т. д. Ныне стих перегружен ухищрениями образа, ритма, инструментовки, но всеми школами недавнего времени пропущена одна существенная сторона стиха: *мелодия* целого (ритм, инструментовка не имеют еще отношения к мелодии); мелодия в стихе есть господство интонационной мимики. Стих есть всегда отвлечение от песни; *мелодизм* — вот нужная ныне и пока отсутствующая школа среди градации школ; текст музыки, песня, имеет свои правила, не совпадающие с правилами разделения стиха на строчки, строфы и, наоборот, подчиняющие образы, ритмы и звуки мелодическим, интонационным задачам; — *мелодизм* — школа в поэзии, которая хо-

тела бы отстранить излишние крайности и вычуры образов, звуков и ритмов, не координированных вокруг *песенной души лирики* — мелодии; ритм есть господство абстрактно-музыкального начала в поэзии; и оттого-то так часто ритмисты в своих поисках ритма либо создают лишь сложные метры, либо, расшатывая классический метр, создают расхлябанный и скучный в своем однообразии стиль стиха; недавно в Москве все писали одним и тем же расхлябанным размером с аллитерационными созвучиями вместо рифм; я сказал бы, что эта новая манера уже через несколько недель стала старой, ибо то, что окрыляет стих, не есть казенный порядок в строении строк, строф, стоп, ни ставший быстро столь же казенным беспорядок их.

Только в *мелодии,* поставленной в центре лирического произведения, превращающей стихотворение в подлинную распеваемую песню, поставлены на свое место: образ, звукоряд, метр, ритм. Метр есть порядок стопо-, строко-, и строфоведения, устанавливаемый из механики разложения стиха на малые элементы (chronoc protoc); ритм есть целое, определяющее индивидуально каждый из элементов из места его нахождения в целом; метр — сумма; ритм — наименьшее кратное; поэтому: метр — механизм, а ритм — организм стиха, но организация зависит сама от индивидуума организации (орган в биологии рассматривается и с точки зрения цели); ритм нам дан в пересечении со смыслом; он — жест этого смысла; в чем же место пересечения? В интонационном жесте смысла; а он и есть *мелодия.*

Мы прекрасно знаем, как меняется интонация хотя бы в знаках препинания; два представления *«ночь»* и *«темно»* могут быть связаны по-разному знаками: 1) *«Ночь. Темно»* (жест спокойного рассказа). 2) *«Ночь... Темно...»* (Отрывистый, неспокойный темп). 3) *«Ночь: темно»* (здесь второе понятие вытекает из первого: *так как* ночь, *то* — темно) и т. д. Прослеживая жизнь знаков, мы видим индивидуализм у писателей: *«точка»* есть знак прозы Пушкина, *«точка с запятой»* — Толстого; *«двоеточие»* — мой знак; *«тире»* — знак, излюбленный модернистами. Мы еще не овладели техникой знаков, потому что мы не овладели интонационной мелодией так, как другими элементами предложения. Измените расположение красных строк в любом рассказе, и вы увидите, до чего изменится весь его стиль. Фраза Гоголя *«Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и долы полные воды свои»,* если мы прислушаемся к интонации, имеет три ударения: *«Чуден Днепр», «мчит»* и *«полные воды»;* и ясно, что *«сквозь леса и долы»* есть

представление побочное, которое интонацией должно быть отмечено; между тем, мелодических, интонационных знаков у нас нет для выражения архитектоники мелодии; фраза, приводимая мною, изобразима в интонационном рисунке:

«Чуден Днепр
При тихой погоде, —
                              Когда —
                                        — Вольно и плавно
                                        Мчит —
                                        — Сквозь леса и долы —
Полные воды
Свои».

Или:

«Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и
плавно мчит —
                    — Сквозь леса
                                        И долы —
                                                  — Полные воды свои».

Одну и ту же страницу мы можем выразить в различных интонационных архитектониках; каждая накладывает свой отпечаток на целое. Плох тот художник прозы или стиха, который не слышит интонации голоса, складывающего ему фразу, а наша условная система знаков выражения интонации (тембр голоса, мимика, паузы, ударение) не соответствует богатству мелодии голоса; между тем: эта мелодия все властнее накладывает свою печать на творчество современных художников слова. Отсюда стремление их искать интонации в своеобразной манере начертания, передающей зрительно интонацию; музыкант имеет системы выражений (знаки пауз, andante, allegro, allegretto и т. д.), поэт вынужден все мелодические моменты своей песни (все-таки стихотворение поэту поется всегда) вкупорить в определенные разрезы словесного ряда (в строки, в строфы), в которых выражается метр, частью ритм, и в которых мелодия утрачивается; и оттого-то стихотворение не поется (а оно пелось в лучшие периоды лирики); Софокл и Эсхил были композиторами собственных творений, потому что они были мелодистами; и ритмы, и метры возникли (уже внутри мелодии); и оттого-то были возможны размеры, подобные «молоссу» (— — —) у греков; у нас — невозможны; «молоссы» — поются; три ударных «молосса» в нашем метрико-тоническом стихосложении возможны только при длительных паузах; а уха у нас нет к интонациям. Как мне произнести «мо-

лосс» (— — —), чтобы он не превратился просто в плохой усеченный трохей: да только с паузами, которые я должен отметить через «тире»:

Чтóб — в грудь — трупа
Ткнуть — свóй — рóг.

Иначе при нашем неразвитом мелодически ухе всякий прочтет: «Чтобвгрудьтрупа» (-о-о); и разумеется: продуманное мелодическое задание обернется в какофонию.

Мы развили образ стиха, звук, рифму, строчку, строфу в ущерб *мелодии,* подчиняющей эти отдельности стиха себе; и *мелодия* захирела в наших богатых звуками и образами стихах; и лишь в вычурах частностей стиха (в перенасыщении аллитерациями, метафорами) забывается песенное право поэта: не бояться не только сложности слов, но, что главное: простоты. Простое слово из стиха изгнано; нет простых песенок; измеривается процентное отношение слов к метафорам (чем больше метафор, тем лучше); а между тем вовсе не в метафоре и не в эвфонии сила целого, а в песенном ладе, в мелодии песни.

Провозглашая *мелодизм* как необходимо нужную школу (хотя бы для уравновешивания целого, распавшегося в неравновесие пресыщенных образов и аллитераций стиха), я намеренно в предлагаемых мелодических опытах подчеркиваю право простых совсем слов быть словами поэзии, лишь бы они выражали точно мелодию; и наоборот: все старание мое направлено на выявление возможной сложности этой мелодии; мелодию я вычерчиваю, порою высвобождая ее из круга строф и строк; и потому-то все мое внимание в *«песенках»* сосредоточено на архитектонике интонаций; расположение строк и строф — пусть оно будет угадано, в мелодии. Самое расположение слов подчиняется у меня интонации и паузе, которая заставляет нас выдвигать одно слово, какой-нибудь союз «и» (на котором никогда не бывает синтаксического и формально-логического ударения, и бывает мимическое, жестикуляционное); или обратно: заставляет пролетать по ряду строк единым духом, чтобы потом, вдруг задержаться на одном слове. Я вовсе не хочу спорить с акмеистами, футуристами, имажинистами о классической форме, звуке и образе, я хочу лишь выдвинуть здесь основные тезисы мелодизма:

1) Лирическое стихотворение — песня.
2) Поэт носит в себе мелодии: он — композитор.
3) В чистой лирике *мелодия* важнее образа.

4) Неумеренное употребление посредственных элементов стиха (образа и звуковой гармонии) на счет *мелодии* самые богатства этих элементов превращает в верное средство — убить стих.

5) Довольно метафорической перенасыщенности: поменьше имажинизма; и побольше песни, побольше простых слов, поменьше звуковых трещаний (меньше труб) — гениальные композиторы гениальны не инструментами, а *мелодиями:* оркестровка Бетховена проще оркестровки Штрауса.

Впереди русский стих ожидает богатство неисчерпанных мелодийных миров.

И да здравствует — *«мелодизм»!*

Андрей Белый

Июнь 22 года
Берлин — Цоссен

‹ ПРЕДИСЛОВИЯ В СБОРНИКЕ «СТИХОТВОРЕНИЯ», 1923 ›

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Приготовляя собрание избранных стихотворений, я руководствовался следующими мыслями:

Кроме формальных достоинств каждого из стихотворений, есть нечто, не поддающееся оценке; каждое произведение имеет свое *«зерно»,* не прорастаемое сразу в душу читателя. Когда мне приносят на просмотр одно или два стихотворения мне неизвестного поэта и потом просят высказать суждение о достоинствах или недостатках их, я всегда бываю поставлен в трудное положение; дело в том, что на основании формальных достоинств и недостатков можно составить лишь известное предварительное суждение, не проникающее *«ядра».* Только на основании цикла стихов одного и того же автора медленнее выкристаллизовывается в воспринимающем сознании то общее целое, что можно назвать индивидуальным стилем поэта; и из этого общего целого уже выясняется *«зерно»* каждого отдельного стихотворения; каждое стихотворение преломляемо всем рядом смежно-лежащих; и весь ряд слагается в целое, не открываемое в каждом стихотворении, взятом порознь. В стихотворении, взятом порознь, можно открыть ряд совершенств и несовершенств (главным образом технических); но анализ стихотворения всегда условен; то же стихотворение, взятое в ряду других, связанное с ними, вытекающее из них или чреватое ими, разительно изменяет

рельеф свой; кажущееся совершенным оказывается порой скорлупой, отпадающей от *«ядра»;* наоборот, явные технические несовершенства оказываются подчас выражением стиля целого; и в нем находят свое оправдание.

Формальный метод анализа художественных произведений имеет за собой огромные преимущества перед рядом других методов, при условии, что он не вдается в решительную оценку. Оценка отдельного лирического произведения, соображаясь с данными формального метода, преломляет их в интуиции восприятия целого; одна и та же краска на фоне других красок может казаться то ласкающей зрение, то раздражающей зрение; и это потому, что краски как таковой нет в природе, а есть колорит, т. е. динамика световых переливов.

Лирическое творчество каждого поэта отпечатлевается не в ряде разрозненных и замкнутых в себе самом произведений, а в модуляциях немногих основных тем лирического волнения, запечатленных градацией в разное время написанных стихотворений; каждый лирик имеет за всеми лирическими отрывками свою ненаписанную лирическую поэму; и понимание или непонимание действительного поэта зависит от умения или неумения нашего сложить из мозаических, им рассыпанных кусочков целого картину, в которой каждый лирический отрывок связан с другим, как система оживальных арок рисует целое готического собора.

Пока нет понимания *«зерна»* поэтического творчества, никакие доводы формального совершенства не откроют нам ключа к прочтению лирической поэмы, сквозящей в каждом отдельном стихотворении и изменяющей смысл его.

Великие композиторы прошлого поняли, что лучший род песенного творчества есть написание песенных циклов. И песенные циклы Шумана и Шуберта («Dichter Liebe», «Die schöne Müllerin», «Winterreise») суть не просто циклы, а симфонии, эпопеи, равные 9-й симфонии Бетховена.

Мы все, например, восхищаемся романсами «Ich grolle nicht», «Die Krähe» и т. д. И — спору нет: есть чем восхищаться: но те же романсы, взятые в циклах («Dichter Liebe» und «Winterreise»), — насколько же углубляют свое значение. Уметь составить из песенных отрывков цикл — облегчить доступ читателя или слушателя их к ядру, к целому, не преломимому частями, но преломляющему эти части.

Когда мы читаем поэта в академическом издании, где приведены стихотворения в хронологическом порядке со всеми вариантами, то мы многое получаем в познавательном отношении; и — часто не

получаем главного: подступа к ядру. Ибо последовательность отрывков лирической поэмы лирика — не хронологическая; и подобно тому, как лирическое стихотворение зачастую возникает в душе поэта с середины, с конца (и первые строчки, сложенные в душе, редко бывают первыми строчками написанного стихотворения), так в общем облике *целого* творчества хронология не играет роли; должно открыть в сумме стихов циклы стихов, их взаимное сплетение; и в этом-то открытии Лика творчества и происходит наша встреча с поэтами.

Нос может быть совершенно безобразен как таковой; но пока я не узнаю всех черт лица, в котором нос только часть, я ничего не могу сказать даже о носе; есть прелестные неправильные носики, придающие лицу прелесть; и я могу их полюбить именно за их неправильность. То же и с отдельными стихотворениями поэтов. Я могу допустить, что каждое, порознь взятое, стихотворение Баратынского совершенно; и тем не менее Баратынский останется чуждым мне, пока я не узрею *«необщее выражение»* Лика Музы его.

У каждого подлинного поэта есть то — *«необщее выражение»* Лика Музы; оно — в целом, в «зерне», во внутренней архитектонике всех песен, в сплетении песен и в их последовательности (отнюдь не хронологической).

Поэт может и сознавать, и не сознавать *целое* своей поэмы; но все же должны мы сказать, что у него более данных знать действительную, нехронологическую последовательность тем его целого; и отношение поэта к своим лирическим отрывкам совершенно иное, нежели у формального аналитика его стихов. Он идет от лирического волнения к напечатлению его в форме. Критик — обратно: от технических узоров формы к волнению, их породившему. Лирическому поэту может быть вовсе не дорог отрывок, обладающий всеми техническими совершенствами, ибо он знает, что в нем остыла уже линия образов; наоборот: отрывок, невнятный в форме, для него может значить более, как открывающий ряд будущих, совершенных творений; это будущее он любит в невнятице его первого появления на своем поэтическом горизонте.

Этим определяется разность в подборе стихов у автора и у критика; автор имеет тенденцию подобрать свои стихотворения во *внутренние циклы,* руководствуясь воспоминанием о том, что их породило; критик выбирает из всего написанного лучшее в формальном, техническом смысле. Но в душе каждого поэта живут одновременно и творец, и критик.

Приступая к выбору из своих стихотворений тех, которые попали в эту книгу, я руководствовался не голосом самокритики, а

воспоминанием о лейтмотивах, звучащих мне в ряде лет и диктовавших те или иные отрывки. Иные из них (часто менее совершенные) значили для меня более, нежели другие (технически совершенные); и это биографическое значение для меня отдельных стихотворений и сделал я критерием выбора. Кроме того: я расположил высказанные отрывки в отдельные циклы, выражающие крупные линии, слагающие лик моей Музы; здесь хронологические циклы порой совпадали с внутренними, порой же нет, так, в 1902—1903 гг. прозвучала мне тема «Золото в лазури», и я соответствующую часть стихов так и озаглавил: но поскольку тема «Золото в лазури», заслоненная потом «Пеплом», все-таки продолжала звучать, постольку и присоединил к стихотворениям более раннего периода некоторые стихотворения, появившиеся потом в «Пепле». И — обратно.

Внутренне зная, что все, мной написанное, вырастало во мне из внутреннего ядра, прораставшего немногими ветвями и лишь на периферии разветвившегося на множество отдельных листков (стихов), — зная то, я постарался объединить стихи в циклы и расположить эти циклы в их взаимной последовательности так, чтобы все, здесь собранное, явило вид стройного древа: поэмы души, поэтической идеологии. Все, мной написанное, — роман в стихах: содержание же романа — *мое искание правды,* с его достижениями и падениями. Пусть читатель откроет сам содержание частей моего *романа.* Я даю ему в руки целое: понять, что представляет собою оно, — дело читателя.

Андрей Белый

Берлин, 1922 года 21 сентября

ЗОЛОТО В ЛАЗУРИ

В этот отдел объединены стихотворения периода «Золото в Лазури»; и — некоторые из более поздних, но — родственных им по духу; стихотворения эти естественно распадаются на три цикла: в одном цикле преобладают стихотворения наиболее раннего периода; они преисполнены светлого и радостного ожидания; автор назвал этот цикл *«В полях»* на том основании, что большинство стихотворений слагались автором в полях. При составлении этого цикла автор руководствовался не принципом эстетического совершенства, а характерностью настроения; цикл *«В полях»* характеризует доминирующий лейтмотив внутренних тем автора периода 1902—1903 года. Во втором отделе лейтмотив религиозного ожидания сменяется сказочным экстазом; мистическая нота топится в экстазе образно-

сти; и — пробуждается люциферическая тема; заглавие этого отдела *«В горах»* соответствует переживанию превознесенности над миром. Из этого переживания рождается и тема 3-го отдела *«Не тот»,* в котором главенствующий лейтмотив — разочарование в чувстве предызбранности; ощущение горней озаренности рассеивается; автор ощущает себя в «трезвой действительности», как в тюрьме.

Во всех трех отделах принцип выбора стихов — не чисто эстетический, а идейный; эволюцию идей автора должен он живописать; если бы автор руководился принципом формального совершенства, то многие из стихотворений не попали бы в три цикла *«Золото в Лазури»;* и — наоборот, многие не включенные стихотворения нашли бы здесь свое место.

Три отдела *«Золото в Лазури»* рисуют эволюцию поэтической имагинации от *«Золото в Лазури»* к темам *«Пепла»;* от мистической экстатичности сквозь фантазию, порожденную экстазом, к окружающей, реальной действительности, пред лицом которой образы, порожденные экстазом, сгорают в *Пепел.*

ПЕПЕЛ

Глухая Россия

В этот отдел автором собран ряд стихотворений из *«Пепла»;* автор подобрал разбросанные стихотворения в естественные циклы; собственно говоря, все стихотворения *«Пепла»* периода 1904—1908 годов — одна поэма, гласящая о глухих, непробудных пространствах Земли Русской; в этой поэме одинаково переплетаются темы реакции 1907 и 1908 годов с темами разочарования автора в достижении прежних, светлых путей. Принцип выбора стихотворений в этом отделе, как и в предыдущих, — не чисто эстетический; здесь представлены стихотворения, типичные для поэтической идеологии; может быть, иные из более совершенных в формальном смысле стихотворений и не попали в этот отдел; но зато попали характернейшие.

Прежде и теперь

Стихотворения этого отдела обнимают ряд лет (от 1903 до 1916 г.); но я объединяю их вокруг темы *«Пепла».* Доминирующий лейтмотив этого цикла — взгляд на действительность, как на стилизованную картину; прошлое и настоящее кажутся одинаково да-

леки для себя потерявшей души; все только — маски; появление среди масок умершей действительности *«домино»* есть явление рока, отряхивающего пепел былого. Лирический субъект этого отдела — постепенно себя сознающий мертвец.

УРНА

Стихотворения этого отдела объединены автором вокруг поэтической темы 1908 года, представленной сборником *«Урна»,* хотя автор включил в этот период и несколько более поздних отрывков из поэмы *«Первое Свидание»,* а также и несколько более ранних стихотворений. Общая идея этого отдела: поэт собирает в урну пепел сожженного своего восторга, вспыхнувшего ему когда-то *«Золотом»* и *«Лазурью».* Сосредоточенная грусть, то сгущающаяся в отчаяние, то просветляемая философским раздумьем, доминирует в этом отделе. Отдел распадается на четыре подотдела.

Снежная Дева

В *«Снежной Деве»* собраны стихотворения, живописующие разочарование в любви; эта любовь, подмененная страстью, развеивается пургою; воспоминания об утраченном посещают субъекта поэзии; и он находит исход страданиям в философической грусти. Лейтмотив, аккомпанирующий его настроениям, — лейтмотив метели: если *«она»* — только холодная, снежная дева, то и вся жизнь лишь снежный, сквозной водоворот; в эпоху написания большинства стихотворений этого отдела автор работал над своей симфонией *«Кубок Метели».*

Лета забвения

В отделе *«Лета забвения»* объединены стихотворения, смежные по настроению со стихотворениями предыдущего отдела; но пейзаж стихотворений — летний, тогда как пейзаж предыдущего отдела — зимний; лето способствует философскому раздумью; и нота философского раздумья здесь доминирует; кроме того, в эпоху написания стихотворений этого периода автор находился под сильным влиянием поэзии Тютчева, Баратынского и отчасти Батюшкова; отсюда явное влияние этих поэтов слышится во многих строках и строфах; отсюда же — непроизвольный архаизм иных выражений.

И с к у с и т е л ь

Стихотворения этого отдела автор объединил вокруг одной темы; и эта тема — философия; отдаваясь усиленному занятию философией в 1904—1908 годах, автор все более и более приходил к осознанию гибельных последствий переоценки неокантианской литературы; философия Когена, Наторпа, Ласка влияет на мироощущение, производя разрыв в человеке на *черствость* и *чувственность;* черствая чувственность — вот итог, к которому приходит философствующий гносеолог; и ему открывается в выспренных полетах мысли лик Люцифера. Отсюда влияние Врубеля в предлагаемых строках. Автор объединил стихотворения одного настроения в цикл, являющий собою как бы поэму, живописующую действие абстракции на жизнь; эта абстракция действует как тонкий и обольстительный яд, оставляя все существо человека неутоленным и голодным.

М е р т в е ц

Хотя время написания поэмы *«Мертвец»* объединяет поэму с эпохой написания *«Пепла»* (1906—1907 года), однако эта поэма в общей архитектонике целого вытекает как следствие и из настроений *«Пепла»,* и из настроений *«Урны». «Я»,* разочарованное в религиозном и этических устремлениях («Золото в Лазури»), придавленное косными пространствами политической и моральной реакции *(«Пепел»),* разочарованное в личной любви *(«Урна»)* и в философском, сверхличном пути *(«Искуситель»),* становится живым мертвецом, заживо похороненным; и эти переживания прижизненной смерти *(«Ты подвиг свой свершила прежде тела, — безумная душа»)* приводят к кощунственным выкрикам боли; тема *«кощунства»* от боли — тема поэмы.

ХРИСТОС ВОСКРЕС

(Поэма)

Переживания прижизненной смерти поэмы *«Мертвец»* осмысливаются в поэме *«Христос Воскресе»,* как переживания Голгофы самосознания:

В прежней бездне
Безверия
Мы —

Не понимая,
Что именно в эти дни и часы —

Совершается,
Мировая
Мистерия...

Здесь *«дни»* и *«часы»* взяты не только в смысле *«дней»* и *«часов»* 1918 года, но в смысле метафорическом: в смысле *«дней»* и *«часов»* встречи переживающего бездны ужасов индивидуального *«Я»* или *«Я»* коллектива (души народа, души человечества) с роком, со стражем порога духовного мира; и этот порог — крест; и — висящий на кресте; приятие распятия пресуществляет тему смерти в тему воскресения; в этой теме каждое *«Я»* или Ich становится I. Ch. — монограммой божественного *«Я»*.

Подчеркиваю: мотивы индивидуальной мистерии преобладают в этой поэме над мотивами политическими; обстановка написания поэмы заслонила от критиков основной момент поэмы: она живописует событие индивидуальнее духовной жизни; точка зрения автора: события социальной действительности подготовляются в движениях индивидуальной жизни; они — оплотнения, осадки, выпадающие вовне.

Поэма была написана приблизительно в эпоху написания *«Двенадцати»* Блока; вместе с *«Двенадцатью»* она подвергалась кривотолкам; автора обвиняли чуть ли не в присоединении к коммунистической партии. На этот «вздор» автор даже не мог печатно ответить (по условиям времени), но для него было ясно, что появись *«Нагорная проповедь»* в *1918 году,* то и она рассматривалась бы с точки зрения *«большевизма»* или *«антибольшевизма»*. Что представитель духовного сознания и антропософ *не может* так просто присоединиться к политическим лозунгам, — никто не подумал (все влипли в стадные переживания); между тем: тема поэмы — интимнейшие, индивидуальные переживания, независимые от страны, партии, астрономического времени. То, о чем я пишу, знавал еще мейстер Эккарт; о том писал апостол Павел. Современность — лишь внешний покров поэмы. Ее внутреннее ядро не знает времени.

КОРОЛЕВНА И РЫЦАРИ[1]

Сказки

Этот цикл стихов за исключением стихотворения, посвященного М. Бауэру, является для меня переходом от мрачного отчаянья *«Урны»* к сознательности *«Звезды»*. Пробуждающемуся от бессо-

[1] Предисловие совпадает с имеющимся в сборнике «Королевна и рыцари».

знательности могилы к живой жизни эта жизнь звучит сказкою. И оттого стихи цикла суть сказки о прошлом.

Свет, освещающий прошлое, т. е. 1905—1908 гг., был денницею будущих лет (1912—1915), ставших прошлым.

Стихотворения написаны в периоде от 1909 до 1915 года.

ЗВЕЗДА

Стихотворения цикла *«Звезда»* обнимают период 1914—1918 года. Этот период окрашен для автора встречей с духовной наукой, осветившей ему его былые идейные странствия; оттого-то здесь — синтез поэтической идеологии автора; темы *«Золото в Лазури»* встречаются здесь с темами *«Урны»,* пресуществляемой по-новому антропософией; и снова проходит тема России (тема *«Пепла»),* но не глухой России, а России, мучительно ищущей своего духовного самоопределения. Автор считает, что этот отдел является наиболее сознательным. *«Звезда»* — *«звезда»* самосознания.

ПОСЛЕ ЗВЕЗДЫ

Стихотворения этого периода заключают книгу: они написаны недавно, и я ничего не сумею сказать о них: знаю лишь, что они — не *«Звезда»* и что они после *«Звезды».*

Меня влечет теперь к иным темам: музыка «пути посвящения» сменилась для меня музыкой фокстрота, бостона и джимми; хороший джозбэнд предпочитаю я колоколам Парсиваля; я хотел бы в будущем писать соответствующие фокстроту стихи.

ПРЕДИСЛОВИЕ
⟨К СБОРНИКУ «ПЕПЕЛ», 1929⟩

Темы *«Пепла»* рождались в сознании автора в эпоху 1904—1906 годов, когда перед его художественным оком стояла картина тогдашней России; и тема эта завершалась лирически в 1907—1908 годах. Через 20 с лишком лет, возвращаясь к пересмотру материала стихов, автор впервые увидел, до чего его лирическое «я» отразило политические моменты эпохи 1904—1906 годов; эти моменты: революционный взрыв, его внешний слом, распыление революционных энергий, отчасти перерождение и вырождение их в от-

чаяние и субъективизм; с 1907 года уже выступают на поверхности разгромленной жизни темы огарочничества, крайнего субъективизма, индивидуального террора; это эпоха переживаемого отчаяния с решительным *«нет»* видимо оправившемуся царизму и буржуазии.

Художественные произведения, отразившие момент, изучаемы; признавая за *«Пеплом»* ряд художественных недочетов, я, тем не менее, вижу и ряд оснований, заставляющих меня возобновить издание.

Во-первых, книга, отпечатанная в 1908 году в ограниченном количестве экземпляров, была вскоре же распродана, а вопрос о возобновлении издания с 1910 года мало меня интересовал; с 1917 года вступают в силу трудности переиздания (бумажный кризис и т. д.). Книга современному читателю неизвестна; а она заслуживает некоторого внимания; неспроста первое издание посвящено Некрасову; *«Пепел»* — не подражание Некрасову, а созвучие органическое (разумеется, 1905 года, не 60-е годы).

«Пепел» — не только исторический документ, но и право мое ожидать некоторого внимания к стихам, написанным скоро тому назад четверть века; и если в некоем разрезе Некрасов не устарел, то и *«Пепел»* не вовсе устарел.

«Пепел» я переиздаю с некоторым видоизменением; я его сильно сокращаю; я прилагаю к нему 2—3 стихотворения, написанных гораздо позднее *«Пепла»,* но в теме *«Пепла»;* я прилагаю несколько стихотворений, черновик которых был написан в эпоху *«Пепла»;* они не появились в печати или по цензурным соображениям, или потому, что после *«Пепла»* я отдавал в печать стихотворения *«Урны»* и других сборников; лирические эмбрионы, пережитые и недописанные, остались ненапечатанными; к этому изданию я их доработал; таковы: *«Декабрь», «Помойная яма», «Японец, возьми»* и т. д.; они лишь дорисовывают уже данную в 1908 году основную линию *«Пепла».* Наконец, ряд стихотворений я то слегка, то существенней ретушировал в техническом отношении; но это — право автора с более зрелой техникой по отношению к технике еще не окрепшей; пришить пуговицу к толстовке — право носящего эту толстовку (при ее наличии). Стихотворения с правкой я помечаю двумя годами: годом написания и годом ретуши; например, 07 (25) (правлено в 1925-м, написано в 1907-м).

Композиция стихов в отделы являет самую тему *«Пепла»* в виде лирической поэмы в 4-х частях: герой *«Пепла»* — шатун, бродяга, люмпен-пролетарий; нарисована его судьба; в *«Глухой России»* он ищет свободы и воли, а перед ним встают «Лихие места»: «Глухая Россия» — лихое место.

Город? Но город 1908 года — *«Мертвый город»;* этот город рисует 2-й отдел; в отделе *«В полях»* — попытка отдаться деревенской природе: попытка к *«Во здравие»;* но она оканчивается в отделе *«Злая деревня»* полным *«Заупокоем»;* Россия 1904—1908 годов — кошмар; и *«Бобыли», «Бродяги»* именно потому, что *«Бобыли»* — сходят с ума: ноты безумия и анархического субъективизма правомерно отражены в этой «Драме» моего «Бродяги».

Прошу читателей не смешивать с ним меня: лирическое «я» есть «мы» зарисовываемых сознаний, а вовсе не «я» Б. Н. Бугаева (Андрея Белого), в 1908 году *не бегавшего по полям,* но изучавшего проблемы логики и стиховедения.

Андрей Белый

Кучино, 28 года. Ноябрь

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
(К НЕИЗДАННОМУ ТОМУ СТИХОВ «ЗОВЫ ВРЕМЕН»)

Мысль о двухтомном переиздании своих стихов преследует меня в ряде лет; под переизданием не разумею я выхода в свет; не мне судить, достойны ли мои стихи такого выхода. Под переизданием разумел я критический пересмотр инвентаря мной написанного и переработку тех из стихотворений, которые казались поправимыми. Особенность моих стихов — их рыхлость; всё, мной написанное в стихах, в разгляде лет стоит как черновики, с опубликованием которых я поторопился; стихи писались залпами; *«Золото в Лазури»* я в общем написал в два месяца; *«Пепел»* явился на свет в итоге усиленного писания стихов летом 1907 года. *«После разлуки»* написана в две недели. Между «запоями» стихами годами я не писал ни одной строчки.

«Запой» отразился рыхлой, подчас ужасной формой; вставала мысль об отказе от себя, как «поэта»; если бы я мог собрать иные из моих книг стихов, я бы их сжег; этого я не мог технически выполнить. Книги мои, находящиеся в чьих-то руках, уличили б меня.

Отсюда и мысль о переиздании, т. е. о редактировании, правке, переложении, переделке.

Особенно беспокоило меня *«Золото в Лазури»* нищенскою формой стихов; но нашлись любители поэтического дневника юноши, выброшенного в свет за несколько лет до срока. Отсюда: нечеткость ритмов, безвкусие образов; натянутость рифм. Между тем: задание было оригинально; любители моих стихов этого периода поверили

мне «в кредит», расслышав намерение сквозь тяжелые кляксы пера, его заляпавшие; раздвой между ритмами в становлении и ставшими строками был мне мучителен.

Брюсов безмерно пощадил меня, назвав *«Золото в Лазури»* рубищем с вкрапленными в него драгоценностями; рубище осталось рубищем; драгоценности увиделись стекляшками. Вернее определил «Золото в лазури» мой, в свое время, гонитель Анатолий Бурнакин, назвав книгу «Сусалом в синьке».

Уже в 1909 году сознание неудачи с первою книгой стихов вызвало признание: «Еще «Золото в Лазури» далеко от меня» (см. предисловие к «Урне»). Далеко — значит: в будущем; была надежда: когда-нибудь да сумею я одушевить тяжелую *«глазурь»* книги в воздушную ритмами лазурь; ужасы рифм вроде «Валькирия» и «бросаю гири я» приводили меня в бешенство; меня раздражало чахоточное хныканье сутулого интеллигента, разлитое в книге; «надсоновщина», подновленная стилем нуво, часто сбивающимся на тяжелое безвкусие полотен Штука и Беклина, — вот чем оказалась книга.

В 1914-м я наспех ретушировал текст; в связи с ретушью из ритмов 903 года выветвилось несколько новых стихотворений, как-то: «Архангел», «Чаша»; в 1916-м я переработал текст книги; рукопись пропала. В 1921 году в Ленинграде я сызнова принимаюсь за правку; и вместе с правкой прикосновение к образам и ритмам прошлого извлекает из него «новые» почти стихи; и поэму «Первое свиданье»; в 1922 году в Цоссене я пытаюсь продолжить правку, но вместо нее из передвижения строк и слов вырастает часть стихов, напечатанная в «После разлуки» («Любовь», «А мне другая», «Полярное море» и т. д.). Только в 1929 году я серьезно взялся за искоренение «ужасов» первого издания «Золота в Лазури»; и вместе с тем возникла мысль сделать новое «Золото в Лазури» первым томом стихов, присоединив к нему стихи, написанные позднее в «золотолазурном» стиле (из «Пепла», «Звезды», «После разлуки», «Рыцари и королевна»), и вынеся стихи, по стилю более близкие к другим книгам; как-то: весь отдел «Прежде и теперь» в заново отработанном виде (пока он не отработан) отнести к отделу «Урна», в котором стилизация более уместна, ибо ряд стихов «Урны» возник из увлечения и изучения Батюшкова, Баратынского, Тютчева, как воспроизведение стиля классиков. В 1931 году я мог окончить редактирование первого тома своих стихов. Разумеется, я не вполне доволен предлагаемой редакцией; и все же она удовлетворительнее редакции «Золота в Лазури» 1903 года, тексты которого я использовал как утиль-сырье; ряд стихотворений оказался неиспользова-

емым, или по ничтожности, или потому, что они ненужный повтор более удачно выраженных тем; теперь, предлагая взамен «Золота в Лазури», первого сборника стихов, «Золото в Лазури» как первый том, в который влилась переработка текстов 1900—1903 года, я могу сказать со спокойной совестью, что я отказываюсь от «Золота в Лазури» 1903 года, вычеркивая его из списка живых моих книг.

Любители сверять тексты воскликнут: «Разве это — переработка? Это — новая книга». На что я отвечу: предлагаемая книга, отступая от текста «Золота», тем не менее верней отражает ритмы и образы 1903 года, заляпанные, точно глиной, технической беспомощностью юноши; пятидесятилетний автор, расплавив материю книги, вынырнув, так сказать, в кипящие первообразы и ритмы, которые смутно когда-то услышал юноша «Белый», более опытной рукой их вернул форме.

Автор 1929—31 годов — имеющий голос интерпретатор еще безголосого юноши, а не себя; если бы он писал, исходя из современности, он не вписал бы ни одной строчки, подобной вписанным в новой редакции.

Редко ограничивался я легким ретушием (хотя есть несколько нетронутых стихотворений); дело происходило так: тронешь два беспомощных слова, — не увязываются четыре, их обстающие; меняешь четыре — передвигаются 16 слов; в каждой строфе старого текста есть такая пара никчемных слов, и, стало быть, строфа за строфой, пропущенные сквозь строй, менялись; стихотворение начинало выглядеть переложением; но это — не так: имело место высвобождение потенции, жившей в юноше; иные краски, иные слова, иные модуляции, но смысл, сюжет, свет красок, звук темы те же.

С лирическим волнением, диктовавшим в 1903 году стихи, произошло то же, что с воспоминаниями детства, осознанными 35-летним мужем; итог этого осознания — «Котик Летаев», муж омолодился воспоминанием; в переживаниях детства, ярких, но слепых, открылись глаза. Особый род работы над памятью, связанный с изменением объектов памяти, присущ мне (и прозаику и лирику); допускаю: не всякому присуща способность живо нырять в прошлое с тем, чтобы приобщать его к настоящему; мне — присуща; отсюда же закономерно мне считать, что влитое в первый том «Золото в Лазури» — более «Золото в Лазури», чем забракованное; то — неживой труп, это — действует в первом томе.

И автор ценит потенции «Золота в Лазури», что он и доказал, тщательно редактируя текст; он отвертывается лишь от «кокона», из которого вылетела бабочка; бабочка — не самый текст пера-

ботки, а — протянутость к будущему; и в этой редакции он — Тредьяковский будущего Пушкина, но и Тредьяковский — шаг вперед от Кантемира.

В чем моя цель?

Я силюсь разбить канон такой-то строки, такой-то строфы, заменяя его каноном живого, звучного слова в сплетении его с целым. Звуковое целое (инструментовка, обилие внутренних рифм) аннулирует конечную рифму, заменяя ее рифмической тканью целого; рифма, отбивающая ударом конец строки перед междустрочной паузой, — суррогат эврифмичности всей ткани; эта последняя — качественное выражение высвобождаемого ритма; качество звука в звуковом толчке — такая же особенность ритма, как и количественность звукового удара.

Понятие строка, строфа в будущем сменится понятием интонационного целого качественно звучащих слов; строка, строфа, — подобна арии (в итальянском смысле); эвфоническое целое — непрерывная мелодия, подобная вагнеровской, где роль замкнутой отдельности (мелодии) заменена вязью лейтмотивов.

В первом отделе я контрастирую стихи, написанные принципом итальянской песни, стихами, написанными, собственно говоря, внестрочно, внестрофно, в принципе вагнеровской непрерывной мелодии (рунически, а не метрически); первое стихотворение первого отдела «Сердце» — показ, от чего я отправляюсь; это мелодичное «лала-лалала»; второе, «Ветерок», — интонационный речитатив, собственно не имеющий строф и строк в каноническом смысле; канонический смысл — горизонтальное положение строки, — я пытаюсь порой заменить перпендикулярной цепочкой слов, расположенных интонационными изломами, соответствующими мной слышимым акцентам и паузам.

То же проделываю я с прозой романа «Маски», ибо проза и метр, два позднейших расщепа некоторой давней речитативной напевности (периода тезы), которые в третьем периоде (в синтезе) должны по-новому сочетаться, чтобы явить новую форму, в отношении к которой мы, современники, бьющиеся в расщепе между поэзией и художественной прозой (периода антитезы), еще жалкие предтечи; отсюда кажущийся разлом «прозы» в сторону напева и кажущийся разлом узаконенного напева, ставшего метром, и кажущейся прозаической речитативности.

В связи с вышесказанным проблема расположения слов становится впервые «проблемой». Строка есть ритмическое целое; она, так сказать, вырезана двумя интонационными паузами; кроме того, в рифмованных стихах она вырезана двумя голосовыми ударами,

падающими на рифмы; рифма подчеркивает аксентуацию; проведите в пятистопном ямбе правильную рифмовку вторых стоп (перед цезурою), и строчка пятистопного ямба превратится в двухстрочие (комбинация двухстопной с трехстопной строками); внутренняя рифма подчеркивает цезуру до значимости междустрочной паузы.

Один и тот же комплекс слов, расставленный по-разному, выявит разные строки, разное дыхание; в каждом расставе — своя интонация; интонация в лирике — всё; она подобна выражению лица, жестикуляции; интонация, жестикуляция — меняют смысл слова; союз «и» может растянуться до «иии», может слизнуться до проклитики: «и я», может прозвучать и как «ия», и как «иии — я». «И» может подчеркнуться до строки; метрика не знает интонационно-ударного «и»; в ней «и» всегда неударно; метрический канон зачастую стягивает лирическую выразительность в корсет условностей, подобных жестам и позам оперных певцов, породивших «вампуку».

Расстановка слов, творчество строк в пределах метрономической «стопорубки» (раз, два, три, четыре — рифма, пауза; раз, два, три, четыре — рифма, пауза и т. д.) есть подлинно творчество, ибо от него зависит рельеф ритма (в одной расстановке — один, в другой — другой).

Повышая звуковую выразительность орнаментом внутренних рифм, аллитераций и т. д., мы, во-первых, аннулируем значимость конечной рифмы; если каждое слово рифмично с другим, то и сама рифма, как таковая, падает; можно прорифмовать «вихрь» и «стих», если сочетание «ихр» связано (например, вихр-астый вихрь), а сочетание «стих» («их») имеет точку опоры в «л-их-о» и в «их»; я рифмую «северный» и «серны» не потому, что не умею рифмовать, а потому что ассонанс «-ерн» в переплете слов, снимающих смысл рифмического удара, звучит правильной рифмой. Вместо измерения масштабом (четыре стопы, три стопы), вместо забот о правильности рифм («суров — вет-ров», а не вет-ров — светля-ков), вместо усилий к нахождению изысканных рифм («ветер — сетер»), выдвигается забота о расставе звучащего целого; если каждое слово созвучит с другим, не важно, рифмуем ли мы «ветер — сетер» или «твердит — стучит»; и «бедные» рифмы могут оказаться богатыми, если они врощены звуком в обстание слов.

Вопрос о строке, что она есть, выдвигаем по-новому в напевно-речитативном строе в отличие от «итальянщины» зализанных, друг другу равных, друг от друга отделенных пятистопий или четырехстопий. Строка, так взятая, напоминает мне одинаково у всех сформированный мускул конечности, например бицепс; у силача он развит, у ребенка рудиментарен; но форма его одинакова. Не то ли-

цевые мускулы: их обилие, рудиментарность при рождении превращается в течение всей жизни в метаморфозу; у каждого человека свои лицевые мускулы, над которыми работает всю жизнь лицо; это — факт анатомии; выразительность лица, ее характер зависит от проработки тех или иных мускулов; проработка длится всю жизнь; никогда целое лицевых мускулов не готово, как бицепс, ибо оно — текучее и вечно развивающееся многообразие.

Строка, взятая в метрическом корсете, напоминает мне односторонне развивающийся бицепс; в ней интонация предопределена. Строка в том строе, который я называю непрерывной мелодией, подчинена лишь интонационному целому ритма, а не, скажем, четырехстопному отмеру; целое ритма — ухо лирика, от которого зависит распределение слов в строку: в четырехстопном каноне ухо может услышать и семистопные и одностопные строки; ритм, голова здесь берет в руки свои руки (бицепсы): хорошо выжимать 10 пудов; но еще лучше движениями рук отражать лицо; о выжимающей 10 пудов строке мы скажем: «она скульптурна»; про строку, ставшую строкой велением выражения целого, мы скажем: «она пленяет своим невыразимым в правиле выражением».

От поэта зависит найти должное выражение среди многих возможных; и его отразить в словесной расстановке, не стесняясь метрической формой.

В предлагаемой редакции я ищу особенности выражения для иных из стихов в расстановке, отражающей мной осознанную интонацию; я не говорю, что — нашел способы выразить особенности интонации; я их ищу; в каждом стихотворении надо увидеть после его метрического оформления его ритмический акцент; и — отразить его расставом.

Приведу пример: стихотворение «Мотылек» — танка (говоря метрически), т. е. оно — пятистрочие, в котором первая половина дает образ, а последние две строки раскрывают мысль, влагаемую в образ. Расстановка таночная такова:

1. Над травой мотылек —
2. Самолетный цветок...
3. Так и я: в ветер — смерть —
4. Над собой, стебельком,
5. Пролечу мотыльком.

Строки 1, 2 дают образ, а 4, 5 его раскрывают.

Но то же стихотворение может иметь иную интонацию, подаваемую мной нижеследующим расставом:

Над травой
Мотылек —
Самолетный
Цветок... —

— Так
И я: —

В ветер —
Смерть —
Над собой
Стебельком, —

Пролечу
Мотыльком.

Чем отлична интонация второго расстава от первой? Вынесение 3-й строки таночного расстава в иной перпендикулярный ряд, и разбиение ее на два двухстрочия, не только удвояет, учетверяет акцент третьей строки, т. е. «Так и я»; этим акцент танки переносится с конца в средину: танка перестает быть танкой; распад двух первых строк на двустишия: 1) подчеркивает антиномию «мотылек — цветок», 2) подчеркивает парадоксальность цветка: «летающий цветок»; а распад двух последних строк подчеркивает антиномию между «стеблем» — телом и «венчиком» — мотыльком — духом. Но две антиномии «мотылек — цветок» и «стебелек — венчик» соответствуют друг другу, что выражено тем, что обе антиномии попали в ту же линию перпендикуляра. Обоим противопоставлено «Так и я». Расстав образует интонационный угол.

В таночном расставе смысловая интонация смазана; в ней подчеркнута порхающая легкость; во втором расставе сорван покров с этой легкости; в первом расставе зрю быстрый порх мотылька, во втором зрю философическую углубленность порха; первый расстав — «allegretto», второй «andante». Перед расставом я задумался над тем, что мне важнее подчеркнуть, и увидел — важнее подчеркнуть мысль, а не образ (иногда — обратно — важнее мысль утопить в образе); в расстановке слов поэт — композитор ритма; он сочиняет мелодию, вернее ищет внешним ухом отразить свой внутренний слух.

Уже в первой редакции «Золота в Лазури» я инстинктивно искал интонации в разбиении равностопных строк на короткие неравностопные; но смысл проблемы расстава не был осознан. Во

второй редакции эта проблема встала для ряда стихотворений, неделимых в обычно понимаемых единицах (как ни дели, — непрерывная дробь). Для таких стихотворений я искал начертания; так, стихотворение «Летний лепет» (1-й отдел) — единая, неделимая речитативная фраза; если ее прочесть «строчно», — стихотворение — чепуха; фразу берет единое дыхание речитатива, в котором подымается интонация, как зыбь перебивающих друг друга волн; два удара «как» «так» подымают каждый свою волну, внутри которой слышу поднятие и расплеск удара падения (на словах «небо» и «от света слов»); во второй волне, как завиток пены, подобное трели сочетание — ассонанс, «розовую розу — росами», слышимый как скороговорка.

Сказанным объясняются особенности расстава в иных стихотворениях.

В этом издании я особенно продумал отделы, понятые как единый цикл; стихотворение вытекает из стихотворения; выхваченное из цикла, оно теряет; отдел — этап настроения в целом книги; это целое — лирически переживаемый некий строй отношения к жизни юного лирика 1903 года; более поздние стихи лишь дописывают то, что было вписано некогда в лирика; «Христос воскресе» коренилось в Белом еще в 1903 году; оно лишь подчеркивает отдел «Молнии лет» (из 1918 года).

«Летние блески» — еще не омраченная ничем легкость, юность в восприятии природы и жизни; «Трепетень» вносит первые тени разъяда, разочарования и бегства к иллюзиям вымысла; «Возврат» — вымысел, которым, как плащом, закрывается уязвленный жизнью; «Белые стихи» — разъяд самого вымысла; жизнь — носорог, втыкающий рог в мудреца; «Черч теней» — страх, упадок, разочарование, тема смерти; «Исход» — исход из смертного к природе, к зову духа; «Молнии лет» — осознание зова, ведущее к теме «Христос воскресе».

Это — лейтмотив, звучавший и в «Золоте в Лазури», но там он заляпан кляксами технической беспомощности, задымлен туманом неосознанности; в 1931 году старик интерпретирует юношу, как бы говоря: «Вот в чем было дело в 1903 году».

«Андрей Белый» 1903 года жалко уронил свои лирические задания; старик пытается новой редакцией хоть отчасти исправить «грехи молодости» простым повышением качества продукции (недостатки ее все равно не сотрешь); повышение качества продукции, конечно, компромисс; может быть, лучше было уничтожить вовсе юношеские тексты; повторяю: они не уничтожаемы ввиду любителей копаться и щупать дефекты молодых авторов. Дав «Золото в

Лазури» вторично и зная, что при моей жизни вряд ли оно будет напечатано, я взываю, так сказать, из гроба: *«Со всею силой убеждения прошу не перепечатывать дрянь первой редакции, это — посмертная воля автора; он ее подкрепляет тем, что дает собственную редакцию; отбросам из утиль-сырья место — помойка, а не печатный лист».*

Андрей Белый

Кучино, 27 февраля 1931 года

‹ ПРЕДИСЛОВИЕ К НЕИЗДАННОМУ ТОМУ СТИХОВ «ЗОВЫ ВРЕМЕН» ›

Настоящий сборник «Зовы времен» мною приготовлен в качестве 1-го тома посмертного издания заново переработанных стихов, а также и таких, которые появляются впервые.

Ядром материала является юношеская книга стихов «Золото в лазури» (год издания 1904), беспомощная по технике; этой редакцией стихов, взятых из «Золота в лазури», я считаю свою юношескую книгу уничтоженной автором. Автором задуманы три тома стихов как посмертное собрание стихотворений; всё, что останется вне этого трехтомия, автор считает уничтоженным.

В издании перераспределены материалы; каждый том задуман цельно; в первом томе основной тон — по сюжетам, романтике, темам — юношеская лирика, но как бы оркестрованная зрелым техником; будучи весьма далек от настроений «Золота в лазури», я стараюсь, однако, в воспоминании их пропустить сквозь себя; и даже для цельности циклов написан ряд стихов в юношеских тонах.

Композиция циклов, имея ядром *«Золото в лазури»,* однако берет ряд стихов из *«Пепла»* (1908 г.), *«Урны»* (1909), *«Рыцари и королевна», «Звезды», «После разлуки»* (издана в Берлине в 1922 году).

Из 193-х стихотворений, включенных в «Зовы времен», 48 номеров (в том числе и поэма *«Христос воскресе»),* остались в нетронутом виде или попали в сборник с минимальной правкой; 30 номеров исправлены, но так, что возможно их сличить с первоначальным текстом; 61 номер являют стихотворения, настолько переработанные, что они являют собой как бы новые стихотворения (часто изменены и заглавия); сличить их с их юношескими прототипами нельзя; они скорее — импровизация на тему: *«воспоминания о юношеской лирике»;* наконец, 54 стихотворения появляются впервые; они написаны или для архитектоники целого первого тома, или еще не по-

являлись в печати и лежали в юношеских набросках, *впервые написанных в 1921—1931 годах,* или написаны недавно и включены в первый том.

Некоторые стихотворения в прозе из «Золота в лазури» переделаны и поданы в «Зовах времен» в белом стихе.

Стихотворения, впервые появляющиеся в печати, отмечены в оглавлении тремя звездочками; стихотворения, радикально исправленные (до неузнаваемости) — двумя; стихотворения с умеренной правкой — одной.

1932 года 24 мая

Вероятней всего, что при жизни моей этот том не появится в печати.

ПРИМЕЧАНИЯ



В настоящей книге представлены избранные произведения Андрея Белого в стихах. Из вышедших при жизни поэта сборников в наше издание не вошло 86 стихотворений (из «Золота в лазури» — 35, из «Пепла» — 16, из «Урны» — 15, из «Королевны и рыцарей» — 1, из «Звезды» — 11, из «После разлуки» — 8).

При издании стихов А. Белого особые сложности возникают при решении вопроса о композиции книги и о выборе источника текста.

А. Белый неоднократно и радикально перерабатывал написанное ранее. Многие его стихотворения имеют несколько авторских редакций, в особенности стихи «Золота в лазури» и «Пепла» (так, в рукописи существуют редакции сборника 1921 и 1925 гг.; в 1929 г. вышло 2-е издание «Пепла», существенно отличающееся от первого).

В 1913—1914 гг. поэт подготовил двухтомное собрание стихов для издательства «Сирин», расположив стихи хронологически (часть стихотворений впоследствии была выделена в 3-й том под названием «Зовы»). Издание не осуществилось, но весь авторский материал имеется в архиве. Материалы, связанные с дальнейшей переработкой текстов (для издательства Пашуканиса в 1916--1917 гг. и для издательства «Шиповник» в 1918 г.), не сохранились.

В 1923 г. в издательстве Гржебина вышел том избранных стихотворений А. Белого. В книге во многом была воспроизведена редакция стихов для издательства «Сирин». Сохраняя за основными разделами названия отдельных сборников («Золото в лазури», «Пепел», «Урна» и т. д.), А. Белый, однако, переносит стихи (и даже целые циклы) из одного раздела в другой; меняет состав прежних циклов и вводит новые; дробит некоторые стихи на два-три самостоятельных. Как художественное целое перестает существовать поэма «Первое свидание» (частично вошла в поэму «Искуситель», два отрывка выделены самостоятельно); напротив, ряд стихотворений объединен в поэмы («Бродяга», «Мертвец», «Железная дорога», «Деревня», «Искуситель»). При этом А. Белый руководствовался стремлением представить свое творчество на протяжении более чем двух десятилетий как единую «лирическую поэму», а «последовательность отрывков лирической поэмы лирика, — по А. Белому, — не хронологическая... в общем облике целого творчества хронология не играет роли: должно открыть в сумме стихов циклы стихов, их взаимное сплетение» («Стихотворения», Берлин — Пг. — М., 1923, с. 7). Но этот

замысел коренной перециклизации и переработки опубликованного ранее — с целью раскрыть внутреннее единство поэзии — оказался искусственным, неорганичным. В издании 1923 г. почти утратились грани между отдельными поэтическими книгами. Исчезли основные линии творческой эволюции А. Белого.

В архиве А. Белого сохранился план посмертного издания стихотворений (1925 г.), где он предлагал в качестве «скелета тома» принять издание 1923 г. с известными добавлениями. Этим планом руководствовались составители посмертного «Собрания стихотворений» в издательстве «Academia» (1934 г.). Издание было доведено до верстки, но не вышло в свет.

В 1929—1931 гг., работая над двухтомным собранием стихотворений, А. Белый вновь кардинально меняет композицию, совершенно отказываясь от прежних разделов, циклов и от прежних редакций стихов. Поэт успел завершить только 1-й том — «Зовы времен»; 2-й том — «Звезда над урной» — остался неподготовленным, сохранился лишь набросок оглавления. В «Зовах времен» старые стихи иногда изменены до неузнаваемости. «Не говоря уже о том, что почти невскрываемы корни стихотворений, помеченных датой 1929 или 1931 гг., но даже и те, что подписаны двойной датой, означающей год написания и год переработки, трудно сводимы к своим первоистокам, — пишет К. Н. Бугаева. — От каждого почти простираются нити к ряду страниц «Золота в лазури» — к двум, трем, пяти и скольким еще разным стихотворениям. И наоборот, настроение, образы, рифмы какого-нибудь одного отрывка «Золота в лазури» проплетают и входят в образование двух, трех и скольких еще новых стихотворений или даже отделов и циклов в „Зовах времен“» (К. Н. Бугаева, Воспоминания. ГБЛ).

Хотя А. Белый в предисловии к неизданной книге «Зовы времен» «со всей силой убеждения» объявил как свою «предсмертную волю», что отменяет первоначальную редакцию своего первого сборника «Золото в лазури» (а отчасти — «Пепла» и «Урны»), «Библиотека поэта» не сочла возможным выполнить эту волю.

Задача «Библиотеки поэта» — представить русскую поэзию в целом и творчество каждого поэта отдельно в *историческом* развитии. Между тем переработка стихов, которой придерживался А. Белый, начисто уничтожает представление о его творчестве как явлении литературной истории. Переработанные А. Белым в 1929—1931 гг. стихи в подавляющем большинстве случаев не имеют ничего общего с тем, что было им написано и опубликовано в 1901—1904 гг. Это — явление другого стиля, другой поэтики, и рассматриваться эти стихи могут лишь как новые, по существу самостоятельные произведения А. Белого, относящиеся уже к совершенно другой эпохе русской поэзии.

Поэтому, имея в виду представить поэзию А. Белого в ее подлинном историческом звучании, редакция «Библиотеки поэта» была вынуждена в данном случае отступить от воли автора. Тексты в настоящем издании печатаются по авторским сборникам, указанным в названиях соответствующих разделов книги. Сохраняется и композиция авторских сборников. Текст проверен по автографам.

В разделе «Стихи разных лет» помещены избранные стихотворения из числа не входивших в сборники, опубликованных только

в периодической печати (печатаются по тексту первой публикации) или вообще не публиковавшихся при жизни поэта (печатаются по тексту первой, посмертной публикации, если он совпадает с автографом; все остальные стихи — по автографу). Впервые в этом разделе публикуется 17 стихотворений. Расположение стихотворений в разделе — хронологическое.

В разделе «Переработанные стихи» собраны наиболее интересные из ранних стихотворений А. Белого, подвергшихся радикальной правке, часто — «до неузнаваемости». В тех случаях, когда можно указать объект переработки, это сделано в примечаниях. В этом разделе стихи расположены в хронологическом порядке.

В разделе «Приложения» публикуются предисловия А. Белого к его стихотворным сборникам.

В примечаниях приводятся сведения о первой публикации и тех печатных изданиях и автографах, в которых текст подвергался изменениям. Сообщаются также необходимые сведения историко-литературного и реального характера.

В работе над примечаниями исключительную помощь оказали материалы, любезно предоставленные вдовой поэта К. Н. Бугаевой, ее письма, личные беседы с нею. Редакция приносит также благодарность Н. С. Ашукину, О. Э. Вольценбургу, А. А. Гозенпуду, А. А. Ильинскому, Н. П. Киселеву, Б. В. Михайловскому, М. А. Сизовой, А. А. Тургеневой, Т. А. Тургеневой, М. Я. Шику, Ю. М. Шику, Э. Г. Шпет, сообщившим ряд сведений справочного характера.

Сокращения, принятые в примечаниях

«Арабески» — А. Белый, Арабески. Книга статей, М., 1911.
ГБЛ — Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.
ГЛМ — Архив Государственного Литературного музея.
ГПБ — Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
«Звезда» — А. Белый, Звезда. Новые стихи, Пг., 1922.
«Зовы» — А. Белый, Зовы. Собрание стихотворений, т. 3 (1908—1914). Авторский оригинал для издания. Рукопись ЦГАЛИ.
ЗВ — А. Белый, Зовы времен. Первый том собрания стихов, отредактированный автором для собрания сочинений (1929—1931). Рукопись ЦГАЛИ.
«Золото в лазури» — А. Белый, Золото в лазури, М., 1904.
«Королевна и рыцари» — А. Белый, Королевна и рыцари. Сказки, Пг., 1919.
«Между двух революций» — А. Белый, Между двух революций, Л., 1934.
«На рубеже» — А. Белый, На рубеже двух столетий, М.—Л., 1931.
«Начало века» — А. Белый, Начало века, М. — Л., 1933.
ПД — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского Дома) Академии наук СССР.
«Пепел» (1909) — А. Белый, Пепел. Стихи, СПб., 1909.
«Пепел» (ред. 1921) — А. Белый, Пепел. Сборник стихотворений (1905—1907). Редакция 1921 г. Автографы и машинопись с авторскими пометками. ЦГАЛИ.

«Пепел» (ред. 1925) — А. Белый, Пепел. Избранные стихи 1904—1908 гг. Редакция 1925 г. с предисловием автора. Автографы. ЦГАЛИ.
«Пепел» (1929) — А. Белый, Пепел. Стихи, М., 1929.
«Переписка» — Александр Блок и Андрей Белый, Переписка, М., 1940.
«После разлуки» — А. Белый, После разлуки. Берлинский песенник, Пг. — Берлин, 1922.
СС, т. 1, 2 — А. Белый, Собрание стихотворений, т. 1 (1901—1905). Авторский оригинал для издания. Автограф, гранки с авторской правкой и машинопись; т. 2 (1906—1907). Авторский оригинал для издания. ЦГАЛИ.
«Стихи о России» — А. Белый, Стихи о России, Берлин, 1922.
«Стих.» (1923) — А. Белый, Стихотворения, Берлин — Пг. — М., 1923.
«Стих.» (1940) — А. Белый, Стихотворения, «Библиотека поэта», (малая серия), Л., 1940.
«Урна» — А. Белый, Урна. Стихотворения, М., 1909.
ЦГАЛИ — Центральный Государственный архив литературы и искусства.

ЗОЛОТО В ЛАЗУРИ

ЗОЛОТО В ЛАЗУРИ

1—3. «Золото в лазури», с. 3.

1. «Стих.» (1923), под заглавием «Вечер», в цикле «В полях».

2. «Стих.» (1923), под заглавием «Поэт», в цикле «В полях», с посвящением Бальмонту, без 1-й строфы, после 2-й строфы — новая:

Ты — «для всех и — ничей»...
Там, борясь с упадающим мраком,
Твоих песен ручей
Чуть сверкает серебряным знаком.

3. Автограф ГБЛ, под заглавием «Утешение», с пометой: «1902, ноябрь»; в письме к Блоку, под заглавием «Ласка» («Переписка»); СС, т. 1, без заглавия, без двух последних строк.

А. Белый познакомился с К. Д. *Бальмонтом* (1867—1942) в 1903 г., его стихами увлекался еще гимназистом. «...Моим любимцем, — писал А. Белый, вспоминая события 1897 г., — делается Бальмонт, которого книга «В безбрежности» становится моей любимой книгою; с этого времени я уже не пропускаю ни одной строчки Бальмонта» («Материал к биографии», ЦГАЛИ). С годами отношение А. Белого к Бальмонту меняется, становясь все более критическим: «Бальмонт меня все менее и менее удовлетворяет разгильдяйством своего творчества: он не концентрирует ни мыслей, ни настроений, точно человек, экспромтом заговоривший недурно, но при этом обрызгавший вас... слюною. *«Слюнявые строчки* «Литургии красоты» меня бесят» (Письмо к Э. К. Метнеру от 1 апреля 1905 г., ГБЛ).

4, 5. «Мир искусства», 1904, № 5, с. 186 (в статье А. Белого «Символизм как миропонимание»), 1-е — без последней строфы, 2-е — без ст. 1—3, 8—15, 28—48.

1. «Стих.» (1923), без заглавия, в цикле «В горах».

2. «Стих.» (1923), под заглавием «Аргонавты», в цикле «В горах», в сокращенном виде (до ст. 28). СС, т. 1, тот же вариант, с пометой: «Серебряный Колодезь». В переработанном виде, под заглавием «Аргонавты» — см. № 322. Эмилий Карлович *Метнер* (1872—1936) — близкий друг А. Белого, участник кружка «Аргонавты», музыковед (под псевдонимом Вольфинг), заведующий музыкальным отделом журнала «Золотое руно», организатор издательства «Мусагет», редактор журнала «Труды и дни». Посылая Метнеру 2-ю часть стихотворения, А. Белый писал в 1903 г.: «Так как Вам не понравилось прежде *«ослепительный пурпур огня»,* то я Вам посвятил восстановляющее *огонь и золото* стихотворение» (ГБЛ). Стихотворение стало программным для кружка символистов, сгруппировавшегося в 1903—1904 гг. вокруг А. Белого. «...Кружок в очень условном смысле, выросший совершенно естественно; впоследствии Эллис назвал кружком «аргонавтов» его, приурочив к древнему мифу, повествующему о путешествии на корабле «Арго» группы героев в мифическую страну (по предположению, в Колхиду): за золотым руном; я написал стихотворение под заглавием «Золотое руно», назвав солнце руном. Эллис, прицепившись к нему, назвал нас «аргонавтами»...» («Начало века», с. 107).

6. «Золото в лазури», с. 11. СС, т. 2, без заглавия и посвящения, без 2-й строфы, с новой заключительной:

Там взывает, чуть дыша,
К нам архангельское пение...
И горит, горит душа
Светлым светом воскресения.

В переработанном виде, под заглавием «Тело» — см. № 323. *«Будем как Солнце»* (М., 1903) — сборник стихов К. Бальмонта. В стихотворении отразились мотивы 1-го раздела этой книги — «Четверогласие стихий». Бальмонт писал А. Белому в 1916 г.: «Я Вас искренно люблю, считаю, что между нами золотая связь двух душ, почувствовавших себя в лазури» (ГБЛ). «Будем как Солнце» — нас книга дразнила; в ней — блеск овладения приемами, краски, эффекты; и — ритм», — вспоминает А. Белый («Начало века», с. 215). *Серебряный Колодезь* — имение отца А. Белого в Ефремовском уезде Тульской губернии.

7—9. Альм. «Северные цветы», М., 1903, с. 28, 1-е и 2-е стих., в цикле «Призывы». Цикл опубликован полностью в сб. «Золото в лазури», с. 12.

1. «Стих.» (1923), под заглавием «Закат», в цикле «В полях», без ст. 25—28. В переработанном виде, под заглавием «Овес» — см. № 315.

2. «Стих.» (1923), под заглавием «Голос», в цикле «В полях».

3. «Стих.» (1923), под заглавием «В поле», в цикле «В полях». Автограф ГБЛ, под заглавием «Зов в безвременье»; другой автограф ГБЛ, под заглавием «Закат». В переработанном виде, под заглавием «Дорога» — см. № 314.

10—12. «Золото в лазури», с. 17.

1. «Стих.» (1923), в цикле «Не тот».

2. «Стих.» (1923), под заглавием «Лжепророк», в цикле «Не тот», без 4-й строфы. В письме к Блоку, без 5-й строфы («Переписка»).

3. «Стих.» (1923), под заглавием «Дурак», в цикле «Не тот».

Дмитрий Сергеевич *Мережковский* (1865—1941) — поэт, прозаик, публицист, критик, один из зачинателей русского символизма.

13—15. Альм. «Северные цветы», М., 1903, с. 26, в цикле «Призывы».

1. «Стих.» (1923), под заглавием «Смех», в цикле «В полях». ЗВ, под заглавием «Смех», в разделе «Трепетень».

2—3. «Стих.» (1923), без заглавия, в цикле «В полях». В переработанном виде, под заглавием «Волны зари» — см. № 312.

«Общенье с друзьями — не радость; я в трудных натугах заставить их в их стремлениях друг друга понять — надрываюсь... Мне звучит одиночество, приподымая свой голос», — вспоминает А. Белый, цитируя это стихотворение («Начало века», с. 197).

16. «Золото в лазури», с. 35. «Стих.» (1923), без заглавия, в цикле «В полях», без ст. 1—2. В переработанном виде, под заглавием «Церковь» — см. № 318.

17. Альм. «Гриф», М., 1903, с. 50. Вместе со стих. «Путь к невозможному» («Золото в лазури», с. 26) переработано, под заглавием «Вечность» — «Стих.» (1923):

Дымы седые... Туман бесконечности...
Гул, прозвучавший в веках.
Образ возлюбленной — Вечности —
Встретил меня на горах —

В жизни загубленной
Образ возлюбленной,
Образ возлюбленной — Вечности

Там — стоит —
Передо мной,
Смехом говорит,
Манит в мир иной;
День за днем летит.
Время — облак рой.

Слышу — призывы нежданные,
Вижу — взгляд.
Полосы солнечных струй, златотканные,
На облаке горят.

В облаки клонимся мы —
Ледяные, туманные;
А сквозь вои зимы —

Голоса желанные:
«Не жалей... Позабудь...
Мы летим — рядом...»
Мы былое окинули взглядом,
Его — не вернуть...

Наш серебряный путь
Слетает водопадом...

И зло, и добро
Тают в поцелуях.
Серебро, серебро
Прядает в струях.

Захлебнулась тоска;
Захлебнулась печаль:
Улыбнулись века
В мировую даль.

Жизни не жаль
Загубленной:
Смотрит в туман бесконечности —

Образ возлюбленной,
Образ — Вечности.

18. «Золото в лазури», с. 51. Автограф ГБЛ, без заглавия.

19. «Золото в лазури», с. 57. СС, т. 1, последние 16 ст., под заглавием «Мировая душа», с пометой: «Серебряный Колодезь». «Мировая душа» — термин мистической философии Вл. Соловьева.

ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ

20. «Золото в лазури», с. 63. СС, т. 1, без посвящения, без ст. 19—38. *Временщик* — возможно, имеется в виду Эрнст Иоганн Бирон (1690—1772), фаворит императрицы Анны Иоанновны. Василий Никитич *Татищев* (1686—1750) — историк и государственный деятель. Петр Иванович *Шувалов* (1710 или 1711—1762) — государственный деятель, генерал-фельдмаршал. Алексей Петрович *Бестужев* (1693—1766) — государственный деятель и дипломат, был близок к Бирону.

21. «Золото в лазури», с. 66. Автограф ГБЛ, после 5-й строфы — новая:

Целует напудренный локон
И плечи скрывающий шелк.
Глядит из отворенных окон
Подкравшийся муж, словно волк.

в письме к Блоку, с посвящением К. Сомову («Переписка»). *Мать* А. Белого — Александра Дмитриевна Бугаева (1858—1922). В мемуарах «Начало века» А. Белый вспоминает: «Особенно я вызвал удивление стихами под Сомова и под Мусатова: фижмы, маркизы, чулки, парики в моих строчках, подделках под стиль, новизной эпатировали... Когда мне передали, что даже художник Борисов-Мусатов весьма одобряет подобного рода стихи, невзирая на то, что сам Сомов подделки отверг (и ему их читали), я чувствовал гордость...» («Начало века», с. 206). К. А. Сомов (1869—1939) и В. Э. Борисов-Мусатов (1870—1905) — русские художники, принадлежали к группе «Мир искусств», в своем творчестве обращались к прошлому (стилизация под XVIII век в сюжетах картин особенно характерна для Сомова).

22. «Золото в лазури», с. 68. Автограф ГБЛ, под заглавием «Встреча»; в письме к Блоку, с посвящением К. Сомову («Переписка»).

23. «Золото в лазури», с. 70. *Эллис* — литературный псевдоним Льва Львовича Кобылинского (род. в 1879 г.), поэта-символиста, переводчика, публициста и критика, одного из «аргонавтов», близкого друга А. Белого.

24. «Золото в лазури», с. 72. СС, т. 1, без последних 16-ти ст. *Калиостро* — Джузеппе Бальзамо (1743—1795), известный авантюрист и шарлатан.

25. «Золото в лазури», с. 76.

26. «Золото в лазури», с. 78. Мария Ивановна *Балтрушайтис* — жена поэта Ю. К. Балтрушайтиса. *«Стонет сизый голубочек»* — популярный романс на слова поэта И. Дмитриева.

27. «Золото в лазури», с. 80. «Стих.» (1923), в разделе «Пепел», без 5-й и 6-й строф. Автограф ГБЛ, под заглавием «Воспоминание»; в письме к Блоку под заглавием «Воспоминание», без 4-й строфы («Переписка»). В переработанном виде, под заглавием «Усадьба» — см. № 320.

28. «Золото в лазури», с. 82. Михаил Александрович *Эртель* — историк, теософ, один из «аргонавтов» (см. о нем «Начало века», с. 65—75).

29. «Золото в лазури», с. 86. Автограф ГБЛ, под заглавием «Старушка»; в письме к Блоку — то же («Переписка»). Любовь Дмитриевна *Блок* (1881—1939) — жена А. А. Блока. Восторженное, полумистическое отношение А. Белого к Любови Дмитриевне в начале его знакомства с Блоками впоследствии очень осложнилось (см. об этом статью В. Орлова «История одной любви» — в его кн. «Пути и судьбы», М.—Л., 1963, с. 579—667).

30. «Золото в лазури», с. 89. Автограф ГБЛ; СС, т. 1, ст. 19—38 зачеркнуты.

31. «Золото в лазури», с. 92. СС, т. 1, с пометой: «От слов «В мясной ему...» до слов «Недавно... купца обокрали...» прошу вычеркнуть». Павел Николаевич *Батюшков* (1864 — ок. 1930) — внук поэта К. Н. Батюшкова, теософ, один из «аргонавтов». А. Белый был дружен с Батюшковым в 1901—1906 гг. *Китаец дерется с японцем* и т. д. Имеется в виду японо-китайская война 1894—1895 гг.

32. «Золото в лазури», с. 95.

33. «Золото в лазури», с. 97. *«Шум на Марице»* — популярная в свое время песня шарманочного репертуара.

34. «Золото в лазури», с. 99. Навеяно стихотворением В. Брюсова «Фабричная» («Есть улица в нашей столице...», 1901).

35. «Золото в лазури», с. 101. Автограф ГБЛ, без заглавия; СС, т. 1, под заглавием «На Пречистенке». Пречистенка — улица в Москве. *Пепиньерка* — девушка, окончившая женский институт и оставленная при нем для педагогической практики.

36. «Золото в лазури», с. 103.

ОБРАЗЫ

37—41. Альм. «Северные цветы», М., 1903, с. 33, 1-е и 2-е стих. в цикле «Призывы». Полностью — «Золото в лазури», с. 107.

1. СС, т. 1; автограф ГБЛ, без заглавия; другой автограф ГБЛ, под заглавием «Поздно».

2. СС, т. 1, под заглавием «Дети», с пометой: «Москва»; автограф ГБЛ, без заглавия, с пометой: «1901, сентябрь», в начале две новые строфы (зачеркнуты):

Солнце давно закатилось,
Солнца не ждите!
Сердце в печали томилось...
Дети, усните.

Дети, вам грустно и больно,
Холод тут лютый...
Очи закроешь невольно
В эти минуты...

Вместо 5-й строфы:

Где-то далеко, далеко,
Где-то в тумане,
Кто-то над степью широкой
Пел о нирване...

Далее еще одна строфа, зачеркнутая:

Сонные тополи в дали
Горько вздохнули.

Бедные дети устали...
Сладко заснули...

3. СС, т. 1, под заглавием «Сказка», без ст. 13—20; автограф ГБЛ, без заглавия, с пометой: «1900, август, Москва».

4. Автограф ГБЛ без заглавия.

5. «Стих.» (1923), в цикле «В горах», датировано: июль 1903, место написания: Серебряный Колодезь. Автограф ГБЛ, без заглавия.

1—5. Поздняя ред. — ЗВ, в разделе «Возврат», в цикле «Лесные встречи», в качестве 2-го и 4-го стих.

«...Великан появился у меня как воплощение ницшеанства в древние сказки, — писал А. Белый Э. К. Метнеру в 1903 г. — Сам я вижу рождение великана и кентавра у себя под влиянием Ницше (менее Беклин)» (ГБЛ). *Сергей Михайлович Соловьев* — см. примеч. 64.

42. «Золото в лазури», с. 113. Автограф ГБЛ, без заглавия.

43. Альм. «Гриф», М., 1904, с. 3, без 5-й и 6-й строф; то же — автограф ЦГАЛИ, с пометой: «7 февраля 1904». «Стих.» (1923), в цикле «В горах»; то же — ЗВ, в цикле «Возврат». Автограф ГБЛ, без заглавия и посвящения. Отзыв Блока об этом стихотворении см. в кн.: «Письма Александра Блока», Л., 1925, с. 73. *Эллис* — см. примеч. 23. *Тор* — в древнескандинавской мифологии бог грома, вооруженный тяжелым молотом.

44. Альм. «Гриф», М., 1904, с. 2, под заглавием «Битва исполинов». «Стих.» (1923), в цикле «В горах». В письме к Блоку, под заглавием «Битва гигантов» («Переписка»).

45. «Золото в лазури», с. 120. «Стих.» (1923), в цикле «В горах», датировано: 1904. Январь. Автограф ГБЛ, без заглавия. В переработанном виде, под заглавием «Ананас» — см. № 332.

46. Альм. «Гриф», М., 1903, с. 44, под заглавием «В. Я. Брюсову». СС, т. 1, под заглавием «Встреча», с пометой: «Москва — Арлесгейм» (последнее зачеркнуто), приписка карандашом: «1903, 1904», после 4-й строфы еще одна (зачеркнута):

Но нет, но нет! То — горный морок:
Над облаком торчит зубец.
Вы подшутили, древний ворог:
Очарованию — конец.

Автограф ЦГАЛИ, без заглавия и посвящения, с пометой: «7 февраля 1904». В переработанном виде, в качестве 1 го стих. сюиты «Брюсов» — см. № 324—328. А. Белый писал Э. К. Метнеру в июле 1903 г.: «Вы все еще вспоминаете мне, что я назвал «магом» Валерия Брюсова, но ведь *«магизм»* я понимаю в широком смысле... Брюсов среди магов выдающийся, умный, знающий *маг,* к которому термин *«пророк безвременной весны»* подходит, ибо надвременность очень

характерна в Брюсове. Может быть, это у него *только* поза, но он великолепный в таком случае актер, когда в обществе *«застывше»* и *«надвременно»* — относится к окружающему... Среди официальных выразителей магизма, с сознательным актерством ретуширующих себя перед обществом, пальма первенства принадлежит, конечно, Брюсову, который *«играет роль»* с чувством, с пафосом, исполняя свою миссию... перед целой Россией, и, конечно, заслуживает уважения и признания за это, ибо он же громоотвод — принимающий львиную долю грязи, оскорблений на себя, приучающий нашу мужиковато удивляющуюся толпу *не удивляться...* В своем стихотворении я и постарался дать изображение идей и *прототипа* Брюсова» (ГБЛ).

47. Альм. «Северные цветы», М., 1903, с. 31, в цикле «Призывы», как 1-я часть одноименного стихотворения. «Стих.» (1923), под заглавием «Сон», в цикле «В горах», датировано: 1901. Ноябрь, место написания: Москва. Автограф ГБЛ, без посвящения, после 4-й строфы — еще одна:

И вот, как и прежде, я иду один
Средь дико шумящих, сосновых вершин.
«Я знаю — товарищ — ты слышишь мой зов.
И снова промчишься из бездны веков.
И снова, могучий, средь яркого дня
Дождем незабудок осыпешь меня!»

Другой автограф ГБЛ, без заглавия:

Я плакал безумно, ища идеал,
Я струны у лиры в тоске оборвал...
Я бросил в ручей свой лавровый венок...
На землю упал, и кровавый цветок
Сребристой росою окапал меня...
...Увидел я в чаще мерцанье огня:
То фавн козлоногий, усевшись на пне,
Закуривал трубку, гримасничал мне,
Смеялся на горькие слезы мои,
Кричал: «Как смешны мне страданья твои...»

Но я отвернулся от фавна, молчал...
И он, уходя, мне язык показал;
Копытом стуча, ковылял меж стволов.
Уж ночь распростерла свой звездный покров...

Я плакал безумно, ища идеал,
Я струны у лиры в тоске оборвал.
«О, где же ты, счастье...» Цветок кровяной
Беззвучно качнулся, поник надо мной...
Обход совершая, таинственный гном
Внезапно меня осветил фонарем
И, видя горючие слезы мои,

Сказал: «Как смешны мне страданья твои...»
Но я отвернулся от гнома, молчал...
И он, одинокий, свой путь продолжал.

Я плакал безумно, ища идеал,
Я струны у лиры в тоске оборвал.
И ветер вздохнул над уснувшей сосной,
И вспыхнул над лесом рассвет золотой...
Гигант — вечный спутник — куда-то спешил;
Восток его радостный лик золотил...
Увидел меня, головой мне кивнул,
В восторге горячем руками всплеснул
И криком окрестность потряс громовым:
«Что было — прошло, разлетелось, как дым!..
Что было — не будет! Печали земли
В туманную Вечность, мой брат, отошли...»
Я красный цветок с ликованьем сорвал
И к пылкому сердцу его прижимал...

Август 1901

Еще один автограф ГБЛ, под заглавием «Идеал»; ЗВ, в разделе «Возврат», в цикле «Лесные встречи» (5-е стих.). Василий Васильевич *Владимиров* (1880—1931) — художник, участник кружка «аргонавтов», один из ближайших друзей юности А. Белого. «Фавны, кентавры и прочая фауна — для романтической реставрации красок и линий сюжетных художественного примитива; в стихах хотел выявить нечто подобное Дюреру: «Рыцарь и смерть», но написанное в красках мастеров ранних... занимала меня стилизационная техника; выбор метафор и прочее; В. В. Владимиров, его беседы, его одобрение стиль тот питали» («Начало века», с. 206).

48. «Золото в лазури», с. 126. Автограф ГБЛ, без заглавия.

49. Альм. «Северные цветы», М., 1903, с. 32, под заглавием «Кентавр» (2-я часть стих.), в цикле «Призывы», с посвящением Ф. Штуку. Автограф ГБЛ, с подзаголовком: «По Штуку»; СС, т. 1, без строф 4—8, 10. Франц Штук (1863—1928) — немецкий художник и скульптор, автор картин на мифологические и аллегорические сюжеты, например «Битва кентавров».

50, 51. «Золото в лазури», с. 133.
1. Автограф ГБЛ, без заглавия:

Отхлынет прочь волна, разбившись снежно-белой,
Шипучей пеною о камень исполин...
Как тайны, облака плывут мечтой
несмелой,
И тают... В небе — синь, в волнах — ультрамарин.

Тут чайка серая кричит, проснувшись...
Там парус уплывает вдаль, надувшись.

Из чащи вышедший погреться фавн лесной,
Наморщив низкий лоб, дудит в свирель прилежно...
На валуне сидит, косматый и смешной,
Рогатой головой качает безмятежно...

И звук разносится по ветерку...
И весело, и грустно старику...

Порой у берега играющей наяды
Плечо или рука сверкнет меж гребней волн...
И фавн, взволнованный, туда бросает взгляды,
Вздыхает и дудит, влюбленной грусти полн...

Над морем рассветающее утро
Украшено цветами перламутра...

13 октября 1901

2. Альм. «Северные цветы», М., 1903, с. 36, под заглавием «Знамение», в цикле «Призывы».

52. «Золото в лазури», с. 136. СС, т. 1, без ст. 13—16; поздняя ред. — ЗВ, в разделе «Возврат», в цикле «Лесные встречи» (10-е стих.).

53. Альм. «Гриф», М., 1904, с. 5, с эпиграфом: «Меж нами есть одно преданье» — строка из поэмы Пушкина «Цыганы» (1824). «Стих.» (1923), в цикле «В горах», без посвящения, без 10-й и 16-й строф; поздняя ред. — ЗВ, в разделе «Трепетень», с пометой: «1903, 1931». Сергей Александрович *Соколов* — псевдоним Кречетов — (1878—1936) — поэт-символист, редактор журнала «Перевал», основатель издательства «Гриф». *Сибилла* — прорицательница. *Стикс* — в древнегреческой мифологии река в подземном царстве, где обитали души умерших. *Оникс* — агат. *«Sanctus amor»* — заглавие сборника рассказов Н. И. Петровской (1884—1928), сложными отношениями с которой навеяно стихотворение («Материал к биографии», ЦГАЛИ).

54. Альм. «Гриф», М., 1903, с. 45, в цикле «Возврат». Автограф ГБЛ, без заглавия, с пометой сверху: «немецки-подмигивающее»; поздняя ред. — ЗВ, в разделе «Возврат», в цикле «Лесные встречи» (9-е стих.).

55. «Золото в лазури», с. 163. «Стих.» (1923), в цикле «В горах». СС, т. 1, без посвящения, с пометой: «Москва», в разделе стихотворений 1903 г. *П. Н. Батюшков* — см. примеч. 31. *Лоэнгрин* — легендарный герой средневекового немецкого эпоса, легшего в основу одноименной оперы Р. Вагнера.

56. «Золото в лазури», с. 165. Автограф ГБЛ, без заглавия.

57. «Золото в лазури», с. 167. Автограф ГБЛ, без заглавия и посвящения. Юргис (Георгий) Казимирович *Балтрушайтис* (1873—

1944) — поэт-символист, переводчик, сотрудник журнала «Весы» и издательства «Скорпион».

58. «Золото в лазури», с. 170. *Сергей Львович Кобылинский* (род. в 1882 г.) — брат Эллиса, один из «аргонавтов».

59. «Золото в лазури», с. 171. В письме к Блоку, под заглавием «Пролетела весна» («Переписка»).

60. «Золото в лазури», с. 173. Автограф ГБЛ.

БАГРЯНИЦА В ТЕРНИЯХ

61. «Золото в лазури», с. 213. В «Стих.» (1923) переработано и распалось на два стих.: «Н. В. Бугаеву» (см. № 316) и «Прошумит ветерок» (см. № 317). Николай Васильевич Бугаев (1837—1903) — отец А. Белого, профессор математики Московского университета. Облик отца ярко нарисован в мемуарах «На рубеже двух столетий» и «Начало века». «Его влияние огромно... совпаденье во взглядах и даже полемика с ним определяли круг моих интересов; с ним я считался в детстве, в отрочестве, юности, зрелым мужем» («На рубеже», с. 19).

62. «Золото в лазури», с. 216. Михаил Сергеевич *Соловьев* (1862—1903) — педагог и переводчик, брат философа Вл. Соловьева. Ольга Михайловна *Соловьева* (1855—1903) — художница и переводчица, жена М. С. Соловьева. Познакомившись с Соловьевыми в 1895 г., А. Белый постоянно бывал в их доме, поддерживал с ними тесные дружеские отношения и испытал на себе их огромное идейное и культурное влияние. О взаимоотношениях с М. С. и О. М. Соловьевыми см. «На рубеже» и «Начало века». Стихотворение навеяно впечатлениями от похорон Соловьевых (после смерти мужа О. М. Соловьева в тот же день покончила с собой). «Когда хоронили Соловьевых, была метель... Недалеко торчала сосна. Два раза она взревела, взмахнув руками, — писал А. Белый Э. К. Метнеру 19 марта 1903 г. — В Соловьевых я потерял одних из самых близких людей себе» (ГБЛ).

63. «Золото в лазури», с. 219. «Стих» (1923), в цикле «В полях», без 2-й строфы, датировано: декабрь 1902. В переработанном виде, под заглавием «Владимиру Соловьеву» — см. № 334. Владимир Сергеевич *Соловьев* (1853—1900) — философ, поэт, публицист, оказавший большое влияние на символистов «Очень часто при мне М. С. Соловьев вытаскивал рукописи покойного и разбирал их... Стихотворение «Три свидания» и учение Вл Соловьева о Софии стало предметом нашей мысли; с того времени я начинаю упорнейше изучать философию Соловьева», — пишет А. Белый. И далее: «Я часто бываю на могиле Вл. Соловьева (в Новодевичьем монастыре); под впечатлением одного из посещений пишу я стихи, посвященные философу...» («Материал к биографии». 1900—1902, ЦГАЛИ).

64. «Золото в лазури», с. 221. Автограф ГБЛ, без заглавия и посвящения. Сергей Михайлович *Соловьев* (1885—1943) — поэт-сим-

волист, критик и переводчик, сын М. С. Соловьева, самый близкий друг А. Белого. «Считаю значение Сережи в моей интимной, а также общественной жизни незаменимым, огромным» («На рубеже», с. 378).

65. Альм. «Северные цветы», М., 1903, с. 35, без заглавия, в цикле «Призывы», после 5-й строфы — еще одна:

И снова веришь прежним снам —
Но ветер северный несется:
Среди могил то тут, то там
Как будто шепот раздается.

В переработанном виде, под заглавием «Кладбище» — см. № 319.

66. «Золото в лазури», с. 226. Автограф ГБЛ, вместо заглавия: «Посвящается С. М. Соловьеву». Написано под впечатлением от стихов А. Блока. «Милая Аля, мне хотелось сообщить тебе одну приятную вещь, — писала О. М. Соловьева матери Блока, — Сашины стихи произвели необыкновенное, трудноописуемое, удивительное, громадное впечатление на Борю Бугаева (Андрей Белый), мнением которого мы все очень дорожим и которого считаем самым понимающим из всех, кого мы знаем. Что говорил по поводу стихов Боря, — лучше не передавать, потому что звучит слишком преувеличенно, но мне это приятно и тебе, я думаю, тоже... Боря сейчас же написал по поводу Сашиных стихов стихи, которые посвятил Сергею» (М. Бекетова. Александр Блок и его мать. Воспоминания и заметки, Л.—М., 1925, с. 76—77). *Белые к сердцу цветы* и т. д. Написано под впечатлением майских дней, проведенных в 1901 г. в имении А. Г. Коваленской Дедове, где цвели белые колокольчики — любимые цветы Вл. Соловьева (см. стих. Вл. Соловьева «Белые колокольчики», 1899 г., и «Вновь белые колокольчики...», 1900 г.). «Эти белые колокольчики... являлись нам символом *белых,* мистических устремлений к грядущему...» — вспоминал А. Белый («Эпопея», 1922, № 1, с. 145).

67. Альм. «Северные цветы», М., 1903, с. 36, под заглавием «Четыре отрывка», в цикле «Призывы». Автограф ГБЛ, без заглавия, с посвящением Ф. Ницше и припиской: «Ницше — кентавр, Ницше — чайка, Ницше — экзотичен...»; СС, т. 1, без посвящения. Увлечение Ницше отразилось на ряде стихотворений «Золота в лазури». *Иммануил грядет.* Иммануил — Христос юный (один из образов Христа); по древнеевр. Имману-Эль: «С нами бог».

68. «Золото в лазури», с. 231. «Стих.» (1923), в цикле «Не тот». без 5-й и 16-й строф. Александр Сергеевич *Челищев* (род. в 1880 г.) — математик (ученик Н. В. Бугаева) и композитор, один из «аргонавтов». Стихотворение вызвано разочарованием А. Белого в «аргонавтизме» (см. «Начало века», с. 286).

69. «Золото в лазури», с. 236. «Стих.» (1923), в цикле «Не тот», без ст. 17—20, 25—32. В переработанном виде, под заглавием «Сумасшедший» — см. № 331.

70. «Золото в лазури», с. 240. СС, т. 1, без заглавия, без 4-й и 7-й строф.

71—73. «Золото в лазури», с. 243.

1. «Стих». (1923), в цикле «Не тот», вместе с 4-й строфой стих. «Не тот» («Золото в лазури», с. 243) — под заглавием «Один»:

Один — один!.. В горах... Ищу — Тебя...
В косматых облаках бреду — бесцельно.
Душа моя —
Скорбит смертельно.

Я был меж вас, о гномы: был — весной;
Мои слова, как громы, — раздавались.
И — надо мной
Вы все смеялись.

Я — был меж вас: мой лик, как диск, златил:
Пространства подо мной, гудя, пылали.
Я вас будил,
Но вы — дремали.

И я ушел: средь тухнущих вершин
Стою — один... Жду знамений нежданных...
Один, один —
Средь бурь туманных.

Как серп луны, зубец венца литой
В потухнувшие местности пылает.
Мой рог златой —
В пространства: лает.

Закат — в огне... Я жду из дней — Тебя.
Душа моя — молчит: скорбит смертельно.
Душа моя —
Скорбит... бесцельно.

В последний раз, надтреснутый мой рог,
Труби туда — в немые Назареты:
«О где ты, бог, —
О где ты? —
— Где ты!! —
Где ты!?!..

Только в тухнущие
Муки —
Где-то ухнувшие
Звуки —

— «Бога —
Нет!
Бога —
Нет!»

Автограф ГБЛ, без заглавия, с эпиграфом: «И ты вдали, — но ты ли?» — из стих. Блока «Ищу спасенья...» (1900), после 6-й строфы — новая:

И близок день... Желанный, страшный миг!
Возжегся луч, как меч, багряно-жгучий:
Сверкнул ледник,
Объятый тучей.

СС, т. 1, под заглавием «Один».

2. Автограф ГБЛ, без заглавия; другой автограф ГБЛ, под заглавием «Жених»; автограф ПД, под заглавием «Видение», с пометой: «1900 года. Серебряный Колодезь».

3. Автограф ЦГАЛИ, без ст. 16—23; в письме к Блоку («Переписка»), с другими заключительными строками:

Суждено мне молчать...
Для чего говорить?
Не забуду страдать,
Не устану любить.

Душа моя скорбит смертельно — цитата из Евангелия (от Матфея, XXVI, 38).

74. «Золото в лазури», с. 247. Автограф ГБЛ, без заглавия и посвящения, между ст. 13 и 14 — новые:

Несется снова
Знакомый шум божественных вершин.
Так горестно, так нежно...
...Один, один!
Тоскую безнадежно!..

Другой автограф ГБЛ в цикле «Осенние песни»; СС, т. 1, без посвящения, под заглавием «Опять один».

75. Альм. «Гриф», М., 1904, с. 9. «Стих.» (1923), в цикле «Не тот», без ст. 1—5, 20—23, 28, 33—36. СС, т. 1, без ст. 5—8, 18—21.

76. «Золото в лазури», с. 253. Вариация на тему этого стих. вошла в сборник «После разлуки» (с. 51) — под заглавием «Нет» (см. «Лит. наследство», т. 27—28, 1937, с. 595) и в «Стих.» (1923) — под заглавием «Голос из прошлого». Автограф ГБЛ, без заглавия.

77. «Золото в лазури», с. 254. СС, т. 1, под заглавием «Вечер».

78. «Золото в лазури», с. 255. В переработанном виде — см. № 308.

79. «Золото в лазури», с. 256.

80. «Золото в лазури», с. 257. Автограф ГБЛ, без заглавия; автограф ПД, без заглавия.

81. «Золото в лазури», с. 259. Автограф ГБЛ, без заглавия, с посвящением Вл. Соловьеву. *Мы храним наши белые сны.* «...Мы выдумали символику белого цвета...» — вспоминал А. Белый о мистических устремлениях, роднивших его с С. Соловьевым в первые годы их дружбы («На рубеже», с. 379). *Ах, восстанут из тьмы два пророка.* А. Белый имеет в виду Вл. Соловьева и Ф. Ницше: «...Пытаюсь я соединить в своем сердце два полюса (Соловьева и Ницше)» («Эпопея», 1922, № 1, с. 138).

82. «Золото в лазури», с. 260. Автограф ГБЛ, без заглавия.

ПЕПЕЛ

Эпиграф из стихотворения Некрасова «Что ни год — уменьшаются силы...» (1861). В «Пепле» (ред. 1925) эпиграф ко всему сборнику из стихотворения Блока «Осенняя воля» (1905):

Выхожу я в путь, открытый взорам.
Ветер гнет упругие кусты.
Битый камень лег по косогорам.
Скудной глины желтые пласты.

РОССИЯ

83. «Пепел» (1909), с. 13. «Стихи о России», под заглавием «Россия»; «Стих.» (1923), как 10-я часть поэмы «Бродяга»; «Пепел» (1929), под заглавием «Исчезни, Россия», в цикле «Глухая Россия». Зинаида Николаевна *Гиппиус* (1869—1945) — видная представительница символизма, поэтесса, прозаик, критик.

84. «Пепел» (1909), с. 15. «Стихи о России», с добавлением ст. 8 стих. «Вечерком» (№ 93) и ст. 14—15 стих. «Стар» (№ 106); «Стих.» (1923), как 1-я часть поэмы «Деревня»; «Пепел» (1929), в цикле «Злая деревня», без 6-й и 8-й строф. Григорий Алексеевич *Рачинский* (1853—1939) — член редакции «Вопросов философии и психологии», председатель Московского Религиозно-философского общества, редактор издательства «Путь». А. Белый поддерживал с ним дружеские отношения и испытал большое его влияние.

85. Альм. «Гриф», М., 1903, с. 13, в цикле «Тоска о воле», без посвящения. «Стихи о России», под заглавием «Воля». В письме к Блоку, под заглавием «Бегство» («Переписка»). Дмитрий Владимирович *Философов* (1872—1940) — литературный критик и публицист, редактор журнала «Новый путь», один из руководителей Петербургского Религиозно-философского общества. А. Белый определяет основной мотив стихотворения как «разрыв с прошлым» («Материал к биографии», ЦГАЛИ). *Ефремов* — город в Тульской губернии, близ которого находилось село Серебряный Колодезь.

86. Альм. «Гриф», М., 1905, с. 17, в цикле «Тоска о воле», без посвящения. «Стихи о России», под заглавием «Воля». *Муни* — псевдоним поэта Самуила Викторовича Киссина (1885—1916).

87. Альм. «Гриф», М., 1905, с. 18, в цикле «Тоска о воле», без посвящения. В письме к Блоку, под заглавием «На железнодорожном полотне» («Переписка»). Александра Андреевна *Кублицкая-Пиоттух* (1860—1923) — мать Блока, детская писательница и переводчица. Вспоминая посещение Блоков в январе 1905 г., А. Белый пишет: с Александрой Андреевной «все более... дружу; тема наших общений самостоятельная, разговоры, напоминающие бывалые бесконечные мои разговоры с О. М. Соловьевой; у Александры Андреевны тот же пытливый, скептический взгляд, наблюдающий подоснову душевных движений...» («Эпопея», 1922, № 2, с. 215). А. Белый состоял в длительной переписке с Кублицкой-Пиоттух.

88. «Пепел» (1909), с. 21. «Стих.» (1923), как 1-я часть поэмы «Железная дорога»; «Стихи о России»; «Пепел» (1929), под заглавием «Железная дорога», в цикле «Глухая Россия», без 5-й строфы. *Эллис* — см. примеч. 23. *Суйда* — дачный поселок вблизи Петербурга, где в августе 1908 г. А. Белый был по приглашению Мережковского.

89. «Золотое руно», 1906, № 11-12, с. 45, в цикле «Обыденность», без строф 3—4, 9—10, 12—16, 19—28. «Стих.» (1923), как 2, 8, 9-я части поэмы «Железная дорога»; «Пепел» (1929), 2-я часть поэмы — под заглавием «Ямщик», 8-я и 9-я части поэмы — под заглавием «Телеграфист». «Пепел» (ред. 1921), 2-я часть поэмы — под заглавием «Путь», «У рельс» (оба зачеркнуты); «Пепел» (ред. 1925), 2-я часть поэмы — под заглавием «Простор». С. Н. *Величкин* — знакомый А. Белого, друг молодости С. М. Соловьева.

90. «Пепел» (1909), с. 27. «Стих.» (1923), как 3-я часть поэмы «Железная дорога»; «Пепел» (1929), под заглавием «Поезд», в цикле «Глухая Россия». Татьяна Николаевна *Гиппиус* (род. в 1877) — художница, сестра З. Н. Гиппиус. А. Белый был дружен с нею в 1905—1906 гг.

91. «Пепел» (1909), с. 29. «Стих.» (1923), без строф 6—8, как 4—7-я части поэмы «Железная дорога», датировано: 1907, август; «Пепел» (1929), то же — под заглавием «Вокзал», в цикле «Глухая Россия». Г. А. *Рачинский* — см. примеч. 84.

92. «Золотое руно», 1906, № 1, с. 50, в цикле «Горемыки», под заглавием «Беглый», с посвящением А. А. Кублицкой-Пиоттух. «Стихи о России», без строф 5, 7, 9—10, 12, 14—22; «Стих.» (1923), без строф 5, 12, 14—15, как 2, 3, 7 и 11-я части поэмы «Бродяга»; «Пепел» (1929), то же — под заглавием «Бродяга», в цикле «Глухая Россия». СС, т. 2, без посвящения. Николай Николаевич *Русов* (род. в 1884 г.) — писатель и публицист. Его отзыв о «Пепле» см. в кн.: Н. Русов, О нищем, безумном и боговдохновенном искусстве, М., 1910, с. 35. Современник А. Белого В. Пяст вспоминает о том, как поэт читал стихотворение в январе 1905 г. на квартире Мережковских: «Андрей Белый запевал: «Вчера он простился с конвоем...» И вдруг все исчезло... Раскрывалась безбрежная равнина над крутым левым берегом Волги, пахло комьями свежей земли, а вовсе не этим, несколько приторным и тяжелым воздухом салона, затканного портьерами, продушенного серией духов в огромных склянках... И вот сорвавшийся,

«промчавшийся по кручам отвесным», человек «вспенивал свинцовую воду» и растягивался на гладкой поверхности мертвенным лицом, которое «плаксивые чайки лениво задевали крылом», как бы глядя вверх, в пасмурное небо. Иллюзия была полная. Власть художника слова в данном случае проявлялась и закреплялась несравненною властью художника *звучащего* слова, каким был в пору своей молодости Андрей Белый» (В. Пяст, Встречи, М., 1929, с. 25—26).

93. «Пепел» (1909), с. 36. «Стих.» (1923), строфы 1, 3, 5, 8, как 13-я часть поэмы «Деревня». См. примеч. 84.

94. «Золотое руно», 1906, № 1, с. 49, в цикле «Горемыки», без строф 7—8, 11—14. «Стихи о России», без строф 1, 3, 7—8, 10—12, датировано: август 1906; «Стих.» (1923), как 5—7-я части поэмы «Бродяга»; «Пепел» (1929), то же — под заглавием «Бурьян», в цикле «Злая деревня». СС, т. 1, без посвящения и без строф 11—12. Густав Густавович *Шпет* (1879—1940) — философ, профессор Московского университета. *Мергель* — осадочная горная порода.

95. Альм. «Гриф», М., 1905, с. 14, в цикле «Тоска о воле». В письме к Блоку, под заглавием «Воспоминание», без последней строфы («Переписка»). Владимир Павлович *Поливанов* (род. в 1881 г.) — детский писатель, один из «аргонавтов». О настроениях, отразившихся в «Арестантах» и в ряде других стихотворений «Пепла», А. Белый писал: «Лейтмотив бегства подготовляется, бегства из уз плоти, «чувственности», городской пыли, московской болтовни и нестроицы; в таком состоянии я пишу стихотворение *«Арестанты»*... Вместо *«мистиков»,* «аргонавтов», я тянусь к арестантам, к бывшим людям: *«самозванец-пророк»,* осознавший свою арлекинаду, становится полевым бродягою, бунтарем, революционером; здесь перелом в личных переживаниях совпадает с переломом в общественном настроении России, уже потрясенной неудачами войны...» («Материал к биографии», ЦГАЛИ).

96. «Пепел» (1909), с. 43. «Стих.» (1923), без ст. 12—16, 22—23, как 6-я часть поэмы «Осинка»; «Пепел» (1929), то же — под заглавием «Пьянство», в цикле «Злая деревня». *Гомилетика* — часть риторики, излагающая правила построения церковной проповеди. *Каноника* — книга, составляющая собрание церковных канонов.

97. «Перевал», 1906, № 2, с. 4, в цикле «Горемыки», с пропуском многих строк. Переработанное (вместе со стих. 96), составило поэму под тем же заглавием в цикле «Глухая Россия» — «Стих.» (1923); «Пепел» (1929), в цикле «Злая деревня». Алексей Михайлович *Ремизов* (1877—1957) — писатель-символист. *Дедово* — подмосковное имение А. Г. Коваленской, бабушки С. М. Соловьева. Там неоднократно бывал А. Белый.

98. «Пепел» (1909), с. 54. «Стих.» (1923), в цикле «Глухая Россия», без ст. 9—10; «Пепел» (1929), то же — в цикле «Злая деревня»; датировано: 1906. *Петровское* — село в Московской губернии, близ Дедова.

99. «Пепел» (1909), с. 57. «Стих.» (1923), в разделе «Золото в лазури», в цикле «Не тот», без строф 1—2; «Пепел» (1929), в цикле «Глухая Россия», без тех же строф.

100. «Пепел» (1909), с. 59. «Пепел» (1929), в цикле «Глухая Россия», без последних 24-х ст. ЗВ, в разделе «Исход», ст. 27—37. Владимир Францевич *Эрн* (1882—1917) — философ и публицист.

101. «Перевал», 1906, № 2, с. 5, в цикле «Горемыки», с пропуском ряда строк. «Пепел» (1929), в цикле «Злая деревня».

102. «Пепел» (1909), с. 66. «Стих.» (1923), как 4-я часть поэмы «Бродяга».

103. «Пепел» (1909), с. 67. «Стихи о России», без заглавия, без строф 3, 5; «Стих.» (1923), как 10-я часть поэмы «Железная дорога»; «Пепел» (1929), под заглавием «Россия» (датировано: 1908, 1925), в цикле «Глухая Россия», без строф 3, 5, с новыми заключительными строфами:

Свищут желтые, желклые травы;
И грозит горизонтов кольцо:
Свистоломами точит
Суставы;
Пустоплюями мочит
Лицо.

Отголоски собачьего лая...
Тучи — взапуски. Небо — взадуй...
Коловерть, —
Сумасшедшая, злая...
Смерть, —
Пади: и меня расколдуй.

«Пепел» (ред. 1921), с пометой: «Суйда». Валентин Павлович *Свентицкий* (род. в 1879) — религиозный философ и публицист, впоследствии священник.

ДЕРЕВНЯ

104. «Пепел» (1909), с. 71. «Стих.» (1923), без 3-й строфы, как 3-я часть поэмы «Деревня»; «Пепел» (1929), то же — под заглавием «Кулак», в цикле «Злая деревня».

105. «Пепел» (1909), с. 73. «Стих.» (1923), без строф 3, 5, 7, как 2-я часть поэмы «Деревня»; «Пепел» (1929), то же — под заглавием «Вечер», в цикле «В полях». См. примеч. 106.

106. «Пепел» (1909), с. 75. «Стих.» (1923), строфы 7—11, 14, 15, как 4-я часть поэмы «Деревня»; строфы 2, 12, 13 вместе с 7-й строфой стих. 105 — под заглавием «Любовь», в разделе «Золото в лазури», в цикле «В полях»; «Пепел» (1929), строфы 7—9, 11, 14—15 — под заглавием «Ревность», в цикле «Злая деревня».

107. «Весы», 1906, № 8, с. 11—12, в цикле «Одинокие», под заглавием «Убийца» (1-я часть). «Стих.» (1923), как 5-я часть поэмы «Деревня»; «Пепел» (1929), под заглавием «Угроза», в цикле «Злая деревня». *Саров* — см. примеч. 215.

108. «Пепел» (1909), с. 80. «Стих.» (1923), как 6-я часть поэмы «Деревня»; «Пепел» (1929), как 1-я часть стих. «Убийство», в цикле «Злая деревня».

109. «Пепел» (1909), с. 82. «Стих.» (1923), без строф 7, 9—10, 12, как 7-я часть поэмы «Деревня»; «Пепел» (1929), без тех же строф, как 2-я часть стих. «Убийство», в цикле «Злая деревня».

110. «Весы», 1906, № 8, с. 12, под заглавием «Убийца» (2-я часть), в цикле «Одинокие», без строф 3, 5. «Стих.» (1923), как 8-я часть поэмы «Деревня»; «Пепел» (1929), без строфы 3, как 3-я часть стих. «Убийство», в цикле «Злая деревня».

111. «Пепел» (1909), с. 86; развито из 3-й и 4-й строф 2-й части стих. «Убийца» («Весы», 1906, № 8, с. 12). «Стих.» (1923), без строф 4—5, 7—10, как 9-я часть поэмы «Деревня»; «Пепел» (1929), строфы 1—3, 6, как 4-я часть стих. «Убийство», в цикле «Злая деревня».

112. «Пепел» (1909), с. 89. «Стих.» (1923), строфы 1—3, как 10-я часть поэмы «Деревня».

113. «Пепел» (1909), с. 91. «Стих.» (1923), без последней строфы, как 11-я часть поэмы «Деревня»; «Пепел» (1929), без строф 1, 8, 9, как 1-я и 2-я части одноименного стих. в цикле «Злая деревня». «Быть может, самое сильное стихотворение книги, где звучат ноты некрасовского „Огородника“», — писал о «Виселице» С. Соловьев («Весы», 1909, № 1, с. 84).

114. «Пепел» (1909), с. 94. «Стих.» (1923), без последней строфы, как 12-я часть поэмы «Деревня»; «Пепел» (1929), то же, как 3-я часть стих. «Виселица», в цикле «Злая деревня». *«Распрямись ты, рожь высока»* и т. д. — цитата из поэмы Некрасова «Коробейники» (1861).

ПАУТИНА

115. «Вопросы жизни», 1905, № 7, с. 47, ранняя ред. стих.:

Я стал похож на паука.
Ползу — влекутся ноги-плети.
Там под кустом издалека
За мной следят в испуге дети.

Как ночь глаза. Как воск чело.
На сердце яд отравы острый.
Так глухо стукает в дупло
Над головою дятел пестрый.

Так волен уток диких лёт
Над что-то шепчущей березой.
На костылях ползу — мой рот
Кривит бессильная угроза.

Пусть в вольных далях ветерок
Взметает прах на перекрестках —
Бесцельно плещет мотылек
На кружевных, сребристых блестках.

Я стал похож на паука.
Ползу — костыль мне вздернул плечи.
Ко мне летят издалека
Детей испуганные речи.

В письме к Блоку, то же, как 1-я часть стих. «Раненый» (Переписка»); автограф ГБЛ — другой вариант ранней ред.; «Пепел» (ред. 1921), как 1-я часть поэмы «Жених и невеста». См. примеч. 118.

116. Альм. «Свободная совесть», кн. 1, М., 1906, с. 159, под заглавием «Весенняя элегия». «Стих.» (1923), в разделе «Золото в лазури», в цикле «В полях»; «Пепел» (1929), в цикле «В полях». «Пепел», (ред. 1921), как 2-я часть поэмы «Жених и невеста».

117. «Пепел» (1909), с. 102. «Пепел» (ред. 1921), как 3-я часть поэмы «Жених и невеста».

118. «Золотое руно», 1906, № 3, с. 43, под заглавием «Калека» (1-я часть), с посвящением А. Г. Коваленской, — ранняя ред., отсутствуют многие строки, две строфы — новые:

Дитя, я рад: полей и рощ
Родные виды вновь воскресли.
В весенний вечер, слаб и тощ,
Сижу — дремлю в спокойном кресле.

Молчу. Горит душа, горит.
И бешен темный взор мой, бешен.
Костыль приподнятый грозит,
Мертво в застывших пальцах взвешен.

Другой вариант ранней ред. — в письме к Блоку, как 2-я часть стих. «Раненый» («Переписка»). В «Стих.» (1923) распалось на два стих.: «Паук» (датировано: февраль 1906), в разделе «Золото в лазури», в цикле «В полях», и «Иду я в поле за плетень...» (датировано: 1905, 1906), в разделе «Урна», в цикле «Лета забвенья»; «Пепел» (1929), в цикле «В полях», в переработанном виде, вместе с 1—12-й ст. стих. 115 и 13-й строфой стих. 121 (датировано: 1905, 1908).

119. «Пепел» (1909), с. 107. «Пепел» (ред. 1921), как 4-я часть поэмы «Жених и невеста». См. примеч. 343.

120. «Пепел» (1909), с. 109. «Пепел» (ред. 1921), как 5-я часть поэмы «Жених и невеста».

121. «Золотое руно», 1906, № 3, с. 44, под заглавием «Калека» (2-я часть), без строф 3—4, 6—9, 12—13, с новой строфой:

Спешат друзья — за рангом ранг —
Нам оказать вниманья знаки.
На костылях — орангутанг —
Стою пред ней в измятом фраке.

СС, с. 1, с пометой: «7, 8 и 9-ю строфы прошу вычеркнуть». См. примеч. 118.

122. «Пепел» (1909), с. 115. «Пепел» (ред. 1921), с пометой: «Последние 3 строфы прошу вычеркнуть». В переработанном виде, под заглавием «Пепел» — см. № 343.

ГОРОД

123. «Пепел» (1909), с. 119. «Стих.» (1923), в цикле «Прежде и теперь», без строф 4—5, 8, 12, 22—24; «Пепел» (1929), то же, под заглавием «Московский дом», в цикле «Мертвый город». Владислав Фелицианович *Ходасевич* (1886—1939) — поэт. В стихотворении перекличка с некоторыми стихами первого сборника Ходасевича — «Молодость» (М., 1907), *Кенкэт* — старинная лампа. *Дэрикоэ* (Дерекой) — село в Крыму близ Ялты. *Учан-Су* — водопад на реке Учан-Су в Крыму, около Ялты. «Разложившийся быт производит чудовищ, не снившихся кисти художника Иеронима Босха, изобразителя ужасов, — пишет А. Белый о символике стихотворения, — произрастая на ситчике кресел, вполне благодушном, «чудовища» мимикрируют пыльный ковер какого-нибудь домика, например Мертвого переулка Москвы, сохраняя ритуал обыденности; окружающие и не замечают ужаса» («Начало века», с. 65).

124. «Пепел» (1909), с. 123. «Стих.» (1923), в цикле «Прежде и теперь», без строф 6—7, 11; «Пепел» (1929), в цикле «Мертвый город», без строф 6—7, 11, 14—16. Михаил Федорович *Ликиардопуло* — настоящая фамилия Попандопуло (1883—1925) — критик и переводчик, сотрудник журнала «Весы». Символика стихотворения объясняется настроениями А. Белого в 1906 г.: «...Я был ненормальным в те дни; я нашел среди старых вещей маскарадную черную маску: надел на себя и неделю сидел с утра до ночи в маске, — лицо мое дня не могло выносить; мне хотелось одеться в кровавое домино и так бегать по улицам; переживания этих дней отразились впоследствии темою *маски* и *домино* в произведениях моих...» («Эпопея», 1922, № 3, с. 187).

125. Альм. «Гриф», М., 1905, с. 10, в цикле «Тоска о воле», без последней строфы. Строфы 1—3 — в письме к Блоку («Переписка») и в СС, т. 1, с пометой: «1904—1908». Строфы 4—7 — в «Стих.» (1923), как 23-я часть поэмы «Искуситель», в «Пепле» (1929) — под заглавием «Двойник» (в цикле «Мертвый город»), в «Пепле» (ред. 1925) — без заглавия, в СС, т. 1, — под заглавием «До́ма». Максимилиан Яковлевич *Шик* (род. в 1884) — переводчик, сотрудник журнала «Весы».

126. Альм. «Гриф», М., 1905, с. 9, в цикле «Тоска о воле», без 2-й строфы. Елизавета Павловна *Безобразова* (ум. в конце 10-х годов XX в.) — дочь профессора П. В. Безобразова, племянница В. С. и М. С. Соловьевых.

127. «Пепел» (1909), с. 130. Виктор Викторович *Гофман* (1884—1911) — поэт и прозаик, сотрудник «Весов»; примыкал к символистам. *А джиорно* (á giorno) — искусственное освещение. *Контреданс, chinoise* — фигуры кадрили. *Гри-де-перль* — жемчужно-серый.

128. «Вопросы жизни», 1905, № 7, с. 48, без строф 1—3, 8, 11—14. «Стих.» (1923), строфы 5—7, 9, 13—16, как 25-я часть поэмы «Искуситель»; «Пепел» (1929), в цикле «Мертвый город», строфы 1, 6—7, 9, 13—16. Автограф ГБЛ, без строф 1—3, 6—8, 11, 13, после 14-й строфы — новая:

Ударил в спину каблуком,
Преображенный пляской свыше —
И колким прыснули дождем
Куски зеркальной, бледной ниши.

В письме к Блоку, без строф 1—3, 8, 11, 13 и с той же новой строфой («Переписка»); автограф ЦГАЛИ, без строф 1—4, 8, 10—12. Сергей Александрович *Поляков* (1874—1943) — математик, переводчик, основатель издательства «Скорпион», редактор журнала «Весы». *«Aquarium»* — ходовое название увеселительного сада с рестораном. *Кэк-уок* — модный танец начала XX века. В стихотворении отразились революционные события 1905 г. «Когда Москва обливалась кровью в декабре и красное зарево пожара сияло над городом, у Палкина красные неаполитанцы бренчали кэк-уок, — писал А. Белый. — Это был не просто кэк-уок: это был кэк-уок над бездной» («Арабески», с. 343—344).

129. «Пепел» (1909), с. 135. *Валансьены* — тонкие французские кружева, изготовлявшиеся в г. Валансьенне.

130. «Золотое руно», 1906, № 1, с. 51, в цикле «Горемыки».

131. Альм. «Гриф», М., 1905, с. 9, в цикле «Тоска о воле», без 2-й строфы, с новой строфой:

На серый бесчувственный камень,
Лишь стужей октябрьской пахнёт,
Кустарник червонный свой пламень,
Как слезы застывшие, льет.

«...В душе растет бунтарство и возмущение правительством... В стихотворении, написанном в этот период, отразилась моя душевная тоска...» («Материал к биографии», ЦГАЛИ).

132. «Пепел» (1909), с. 138. «Пепел» (1929), строфы 4, 5, 7 — под заглавием «Полумаска», в цикле «Мертвый город». В автографе ЦГАЛИ — в переработанном виде, вместе со стих. 133.

133. «Пепел» (1909), с. 140. «Стих.» (1923), без строфы 7, в разделе «Золото в лазури», в цикле «Не тот». СС, т. 2, строфы 1—6 — под тем же заглавием, строфы 8—12 — под заглавием «Восстание». См. примеч. 132. Издатель «Перевала» С. А. Соколов отказался печатать стихотворение по цензурным условиям («Летопись жизни и творчества Андрея Белого», сост. К. Н. Бугаева, ГПБ).

134. «Весы», 1907, № 6, с. 12, в составе поэмы «Панихида» (7-я часть), без строф 6—7.

135. Альм. «Факелы», кн. 1, СПб., 1906, с. 35, без заглавия, вместо ст. 7—11 — другие:

В шапке мохнатой,
В короткой
Куртке рабочий, тряся бородой снеговой,
Порой
Запевает:
«Вы жертвою пали в борьбе роковой...»
Ходит со знаменем красным в руках.
Блеск златорунный
На небесах.
Вот на толпу налетели драгуны.

В автографе ЦГАЛИ, под заглавием «Манифестация», помимо приведенных строк — новые:

Над мостовой
Встал он с речью к народу.
Грянул в снег головой.
Пал за свободу.

«Пепел» (1929), под заглавием «Манифестация», в цикле «Мертвый город», без ст. 7—11, 17—19. Очевидно, написано под впечатлением похорон Н. Э. Баумана (ср. «Между двух революций», с. 46—48).

136. «Перевал», 1907, № 10, с. 20, под заглавием «Народный вождь». «Стих.» (1923), под заглавием «Пока», в разделе «Золото в лазури», в цикле «Не тот»; «Пепел» (1929), под заглавием «Заключенному», в цикле «Мертвый город».

137. «Весы», 1906, № 8, с. 9, под заглавием «Тревога», в цикле «Одинокие», без строф 8—9. «Пепел» (1929), под заглавием «Возмездие», в цикле «Мертвый город», без строф 2—3, 7. «В лирике моей, — писал А. Белый, — появился символ восстания: *красное домино:* оно бегает по строчкам стихов:

С кинжала отирая кровь,
Плеща крылом атласной маски.

«Маска» — мои сидения в академических салонах; под ней — нарастающий протест, который стихийно вырвался осенью 1905 года, в дни всеобщей забастовки...» («Начало века», с. 479).

138. «Пепел» (1909), с. 152. «Пепел» (1929), под заглавием «О, зачем?», в цикле «Мертвый город», без ст. 1—12, 21—24. «Пепел» (ред. 1925), то же — без заглавия; ЗВ, поздняя редакция (1931), под заглавием «Жертва» (1-я часть), в разделе «Трепетень».

БЕЗУМИЕ

139. «Перевал», 1907, № 6, с. 20, в цикле «Безумный». «Пепел» (1929), в цикле «Глухая Россия», без строф 2 и 5.

140. «Весы», 1907, № 6, с. 14, как 9-я часть поэмы «Панихида», с новой строфой:

А здесь полевая цапля
И та теперь заклюет.
И холодная, темная капля
Задрожит, слезой упадет.

«Стихи о России», под заглавием «Родине-матери»; «Стих.» (1923), как 12-я часть поэмы «Мертвец»; «Пепел» (1929), под заглавием «Могила», в цикле «Мертвый город». «Пепел» (ред. 1925), без заглавия.

141. «Перевал», 1907, № 6, с. 21, в цикле «Безумный», с новой строфой:

Ввечеру караулю зарницу.
Ночью, блеском осыпанный звезд,
В вольном беге хватаю лисицу,
Нагоняя, за огненный хвост.

«Стих.» (1923), под заглавием «Пророк», в цикле «Глухая Россия»; «Пепел» (1929), под заглавием «Полевой сторож», в цикле «Глухая Россия». В. В. *Владимиров* — см. примеч. 47.

142. Альм. «Гриф», М., 1905, с. 11, в цикле «Тоска о воле», с подзаголовком «Из воспоминаний помешанного», без строф 5—6, 9—12, с новыми заключительными строками, которые составили 1—2-ю строфы стих. 143; то же — в письме к Блоку («Переписка»). «Стих.» (1923), датировано: 1904, 1908. Март; «Пепел» (1929), под заглавием «Безумец», в цикле «Мертвый город», без строф 9, 11—12, вместе со стих. 143 (без строф 3 и 6), датировано: 1904. «Посылаю Вам стихотворение, — писал А. Белый Э. К. Метнеру в мае 1904 г., — написанное в один из дней ужасов». Эти ужасы — «сначала *мистические,* потом *психические* и *наконец реальные*» — были, как отмечает А. Белый, почти у всех «аргонавтов» в одно и то же время (ГБЛ).

143. «Пепел» (1909), с. 173. «Пепел» (1929), строфы 1, 2, 4, 5, как 3-я часть стих. «Безумец» в цикле «Мертвый город». См. примеч. 142. *Дикирий* — двусвечник.

144. «Пепел» (1909), с. 175. «Пепел» (1929), под заглавием «Сумасшедший», в цикле «Мертвый город», датировано: 1908.

145. «Весы», 1907, № 6, с. 6, в составе поэмы «Панихида». «Стих.» (1923), как 1—3-я части поэмы «Мертвец».

146. «Весы», 1907, № 6, с. 6, в составе поэмы «Панихида». «Стих.» (1923), как 4-я часть поэмы «Мертвец».

147. «Весы», 1907 № 6, с. 9, в составе поэмы «Панихида» (5-я часть). «Стих.» (1923), как 5-я часть поэмы «Мертвец».

148. «Золотое руно», 1907, № 3, с. 40, в цикле «Эпитафия» (весь цикл с посвящением З. Н. Гиппиус). ЗВ, раздел «Исход». Н. И. *Петровская* — см. примеч. 53. А. Белый определял это стихотворение как «эпитафию себе» («Начало века», с. 11).

ПРОСВЕТЫ

149. «Золотое руно», 1906, № 4, с. 33, под заглавием «Поповна и семинарист», без строф 2, 6, 9—12, 14—18, 23—27, с посвящением Т. А. Рачинской (1863—1920), жене Г. А. Рачинского. «Стих.» (1923), журнальный вариант в разделе «Золото в лазури», в цикле «В полях», датировано: 1905, март; строфы 10—12, 27 — под заглавием «Поля» (тот же раздел и цикл), датировано: 1908; то же — ЗВ, под заглавием «Поле», в разделе «Летние блески». Автограф ГБЛ, под заглавием «Поповна и семинарист», посвящено А. А. Кублицкой-Пиоттух.

150. «Журнал для всех», 1904, № 7, с. 387. «Пепел» (1929), в цикле «В полях».

151. «Весы», 1906, № 8, с. 15, в цикле «Одинокие». «Стих.» (1923), в разделе «Золото в лазури», в цикле «Не тот». СС, т. 2. Вячеслав Иванович *Иванов* (1866—1949) — поэт и теоретик символизма.

152. «Тропинка», 1906, № 18, с. 812, под заглавием «Вечер в лесу», с посвящением С. М. Соловьеву.

153. Альм. «Гриф», М., 1905, с. 20, под заглавием «Идиллия» (1-я часть), с новой заключительной строфой:

Песнь моя вольней звучит.
Выйдешь. Встанешь окол.
Ослепительно горит
Красный глянец стекол.

Павел Иванович *Астров* (род. в 1866 г.) — юрист, на квартире которого в 1904 г. собирались «аргонавты».

154. «Корабли», М., 1907, с. 107. «Пепел» (1929), в цикле «В полях», датировано: 1905. ЗВ, в разделе «Летние блески», под заглавием «Забыл». Ганс *Гюнтер* (род. в 1886) — немецкий поэт и переводчик русских писателей, в частности символистов. Автографы его переводов из А. Белого хранятся в ЦГАЛИ.

155. «Вопросы жизни», 1905, № 3, с. 97, с посвящением Л. Д. Блок. «Стих.» (1923), под заглавием «Отдых», в разделе «Золото в лазури», в цикле «В полях». В переработанном виде, под заглавием «Солнечный дождь» — см. № 338.

156. «Золотое руно», 1906, № 7—9, с. 104, под заглавием «С. М. Соловьеву».

157. «Перевал», 1907, № 12, с. 7, под заглавием «Вознесение». «Стих.» (1923), под заглавием «Демон», в разделе «Золото в лазури», в цикле «Не тот», без строф 3, 5—6.

ГОРЕМЫКИ

158. Альм. «Гриф», М., 1905, с. 17, в цикле «Тоска о воле», без посвящения, без двух последних строф. «Пепел» (1929), в цикле «В полях», без 2-й строфы. В письме к Блоку — под заглавием «Покой безбрежный» («Переписка»). Михаил Иванович *Сизов* (1884—1956) — критик и переводчик (псевдоним: М. Седлов), член кружка «Мусагет». Цитируя строки стихотворения, А. Белый вспоминал: «Отношение к протекшему сезону 1903—1904 годов — резко отрицательное; я хочу бежать прошлого; все это отражается в моих стихотворениях этого периода» («Материал к биографии», ЦГАЛИ).

159. «Перевал», 1906, № 2, с. 3, без строф 6—7, 11—16. В «Стих.» (1923) строфы 1—7 — как 1-я часть поэмы «Бродяга», строфы 11—12, 14—15 — как 9-я часть поэмы; «Пепел» (1929), в цикле «Глухая Россия» (датировано: 1906, 1925, место написания: Ефремов), без строф 2—3, 8—16, с новыми строфами:

Вот — площадь: соборные главы,
Заборики, павертень мух, —
Размои, крапивы, канавы, —
Песок, конопляник, лопух.

Кидается город белясый
За мной пескоцветною мглой,
Взвивая свои сухоплясы,
Свой завертень едкий и злой.

За стеклами блеклого дома
Ты, милая, виделась... Что ж?
Ведь стало мне всё незнакомо:
И стало мне всё — невтерпеж.

Суд — кончен. Притворен и ровен,
Мертвец прочитал приговор...
И мертвое слово — *«виновен»;*
И — мертвый тюремный измор.

Всё минуло; всё прожитое;
Глухая стена, потолок;

Оконце: и небо — пустое,
И моклого облака клок.

Прижмешься в раздумье тяжелом
К решетке седой головой;
За серым, сплошным частоколом —
Опять просерел часовой.

Годов развеваемый ворох.
Годами глядел в потолок...
Темнеет... Огней марамορох
За мною зажег городок.

Песчаника круглые зерна
Зияют на нивах пустых —
В изжосклые желчины дерна,
В простор плоскогорий пустых.

«Пепел» (1929), в цикле «Глухая Россия», строфы 11—12, 14—15 — под заглавием «Страна моя», датировано: 1908. «Пепел» (ред. 1921), то же — без заглавия; автограф ЦГАЛИ, с пометой «Только прошу набирать первые 10 строф. Последние 6 строф прошу зачеркнуть». *«Зачем ты, безумная, губишь»* — из цыганского романса. *Малевка* — станция в Тульской губернии (близ Ефремова).

160. «Русский артист», 1907, № 9, с. 129, с подзаголовком: Из цикла «Тоска по воле».

161. «Корабли», М., 1907, с. 108, без ст. 7—8, с новыми строками. «Стих.» (1923), как 6-я часть поэмы «Мертвец»; «Пепел» (1929), под заглавием «Жили-были», в цикле «Злая деревня».

162. «Весы», 1906, № 8, с. 13, в цикле «Одинокие». «Стих.» (1923), как 8-я часть поэмы «Бродяга».

163. «Пепел» (1909), с. 232.

164. «Весы», 1906, № 8, с. 7, в цикле «Одинокие».

165. «Пепел» (1909), с. 236.

166. «Пепел» (1909), с. 237.

167. «Весы», 1906, № 8, с. 1, под заглавием «Заключение», в цикле «Одинокие», без посвящения, без ст. 9—10, 15—17, 28—31, 44—47, 56—61, с новыми строками:

И поешь себе поешь:
«Жизни грош
Цена!»
И поешь себе поешь:
«Не смутят меня железные засовы,

Звон тяжелый кадильных цепей,
Если слышу запах трав медовый,
Если вижу даль родных степей».
. . . .

Я — воскресший над страданьем.
Я — поющий гром.
Я сожгу негодованьем,
Брызну молнийным огнем.

Ст. 36—43, 52—55 в «Стих.» (1923) — без заглавия, в разделе «Золото в лазури», в цикле «Не тот»; в «Пепле» (1929) — под заглавием «В тюрьме», в цикле «Мертвый город». Л. Л. *Кобылинский* (Эллис) — см. примеч. 23.

УРНА

Эпиграф — из стихотворения Е. Баратынского «Разуверение» (1821).

В. БРЮСОВУ

Валерий Яковлевич *Брюсов* (1873—1924). «Брюсов проходит через всю мою жизнь», — писал А. Белый («Россия», 1925, № 4, с. 263). Брюсов поддержал А. Белого в его первых шагах на литературном поприще. В течение многих лет Брюсова и А. Белого связывала работа в журналах «Весы», «Золотое руно», в издательстве «Скорпион», участие в организации «Дома Песни», «Общества свободной эстетики» и в ряде других начинаний. А. Белый считал Брюсова вождем символизма, «единственным современным поэтом, держащим в руках судьбы будущей русской литературы» (письмо к Э. К. Метнеру, 1903, ГБЛ). Однако взаимоотношения Брюсова и А. Белого неоднократно обострялись, в частности и на личной почве (см. «Начало века», с. 153—168, 276—287, 413—414, 469—473). «Тяжесть личных осложнений, конечно, я не перенесу в литературу, — писал А. Белый, — как человека, Валерия Брюсова за некоторые нюансы отношения ко мне я способен минутами презирать; поэта незыблемо чту» (письмо к Л. Л. Кобылинскому-Эллису, 1908, ГБЛ). Это противоречивое восприятие Брюсова в разные моменты их знакомства отразилось в стихах А. Белого, посвященных Брюсову, особенно в сюите «Брюсов» — см. № 324—328. 168—170. «Весы», 1906, № 8, с. 4, под заглавием «Одинокий», в цикле «Одинокие»:

1

Ты одинок. Один средь нас —
Средь тех, кто ищет, тех, кто молод,
Сквозь дым, сквозь мглу, в горящий час
Познал вершин священный холод.

Да, ты — один. Один — ничей —
Среди кривляний, смехов, свиста.

Здесь на горах поет ручей,
Струной натянут серебристой.

Здесь вечный холод, звездный день.
Застыл орел во взмахе смелом.
Твоя распластанная тень
На леднике зеркально белом.

Грустен взор. Сюртук застегнут.
Сух. Серьезен. Строен. Прям.
Иль над книгой тайн изогнут,
Весь отдавшийся трудам.

Ты со всеми одинаков.
Да, ты замкнут, как пророк,
Пламень уст — багряных маков —
Оттеняет бледность щек.

Быстрый. Острый. Как иголка.
Зуб скрывая жемчуга,
Жалишь мстительно и колко
Косолапого врага.

Иль бежишь. Легка походка.
Вертишь трость. Готов напасть.
Пляшет черная бородка.
В острых взорах дышит страсть.

2

Бегут года. Летят планеты,
Вонзаясь в холод ледяной.
Завороженный маг, во сне ты
Повис над страшной пустотой.

Не раз, не раз, сражаясь с богом,
Десницей ввысь грозил — о пусть!
В изгибе уст безумном, строгом
Я узнаю немую грусть.

За эту грусть о тайне звездной
Люблю тебя. Мне дорог ты.
Несись, несись над страшной бездной,
Над вечной пастью пустоты.

Ты — маг: отдайся своеволью!
И вот летит за мигом миг...
Скажи, над чем ты с острой болью
Склонил свой бледный, гордый лик?

К тебе слетит твой верный филин,
Глаза вперяя в пустоту.

Безводны дали. Воздух пылен.
Ты — пригвожденный ко кресту!

Да, на кресте, во сне, во мгле ты
Летишь над страшной пустотой.
Бегут года. Кружат планеты,
Вонзаясь в холод ледяной.

В письме к Блоку стих. «Одинокий», с подзаголовком: Учителю и врагу («Переписка»), без последней строфы, с новой строфой:

Ты создал мир, горящий в снах,
Туманы дум, картины оргий.
Ты развернешься лишь в веках,
И пред тобой падут в восторге.

168. «Стих.» (1923), под заглавием «Одинокому», в разделе «Золото в лазури», в цикле «В горах». СС. т. 1, с пометой: «1904, 1908». В стихотворении отразилось представление А. Белого о роли Брюсова в литературной борьбе тех лет: «...Перед нами, свидетелями его литературных сражений... вставала картина непобедимого Брюсова, покорителя новых стран, которого мы приподняли на щит; в настроенье таком мной написаны строки, к нему обращенные» («Россия», 1925, № 4, с. 278). «Застывший, серьезный, строгий, стоит одиноко Валерий Брюсов среди современной пляски декаданса» («Арабески», с. 451).

169. «Стих.» (1923), под заглавием «В. Я. Брюсову», в разделе «Пепел», в цикле «Прежде и теперь».

170. «Стих.» (1923), под заглавием «Брюсову», в цикле «Лета забвения», датировано: 1904. Март. В стих. развита тема «магизма» Брюсова, начатая еще в «Золоте в лазури» (см. примеч. 46). А. Белый использует образы брюсовской поэзии, своеобразно интерпретированные: «Суровое величие круговорота, спиральные пути вонзающихся планет в мировую пустоту — вот что открывается очарованному взору в звенящих, металлических строках Брюсова» («Новый путь», 1904, № 7, с. 135).

171. «Урна», с. 20. «Зовы», под заглавием «Ответ на посвящение», с подзаголовком: В. Брюсову, с эпиграфом из стих. Брюсова «Андрею Белому» (1909):

Дарю тебе мой жезл змеиный.
Беру твой посох костяной...

«Встреча» — ответ на стихотворение Брюсова «Андрею Белому». А. Белый вспоминает; «В девятьсот девятом году неожиданно он мне напомнил ненужное прошлое наше в стихах, посвященных мне, где он описывал, как он свой жезл поднимал на меня, чтобы убить, и как выпал тот жезл из руки...» («Начало века», с. 471). *Бобровка* — имение Рачинских в Тверской губернии.

ЗИМА

172. «В мире искусств», 1907, № 11—12, с. 5, без строф 4, 5, 9. В «Стих.» (1923), в цикле «Снежная дева», строфы 1—7 — под тем же заглавием, строфы 8—10 — под заглавием «Деревня». Максимилиан Александрович *Волошин* (1878—1932) — поэт и художник, примыкал к символистам, сотрудничал в журналах «Весы», «Золотое руно». А. Белый познакомился с Волошиным весной 1903 г., впоследствии бывал у него в Коктебеле. «Как странно судьба меняет людей, — писал А. Белый Иванову-Разумнику 17 июля 1924 г. из Коктебеля, — я не узнаю Макс<имилиана> Алекс<андровича>; за пять лет революции он удивительно изменился, много и серьезно пережил и теперь естественно перекликается в темах России со мною... в точках любви к совр<еменной> России мы встречаемся, о чем свидетельствуют его изумительные стихи» (ЦГАЛИ).

173—174. «Весы», 1908, № 5, с. 7, в цикле «Стансы», без строф 2, 4, 7—8, 10, 15.

1. «Стих.» (1923), в цикле «Снежная дева», строфы 1—6 — под тем же заглавием, строфы 7—8, 10 вместе со 2-й строфой 2-го стих. и двумя новыми строфами — под заглавием «Отчаяние». Новые строфы:

Я чужд восторга твоего.
Дороже мне — Тибулл, Проперций...
И равнодушно, и мертво
Остановившееся сердце.

Уж я не верю ничему,
Подобно мудрому Сенеке,
Откинутый в глухую тьму
Меж полками библиотеки.

2. «Стих.» (1923), под заглавием «Страсть», в цикле «Снежная дева».

175. «Весы», 1908, № 5, с. 9, в цикле «Стансы», без строфы 5. «Стих.» (1923), в цикле «Снежная дева», строфы 1—3, 5 — под заглавием «Серебряная дева», с новой строфой:

Стреляет палевый огонь
Стрелою пламенного жара...
Пронесся в ночь пурговый конь —
Пронесся прочь
Волною пара...

Там же, строфы 4, 6—9 — под заглавием «Снежная дева».

176. «Русская мысль», 1908, № 1, с. 87, под заглавием «Сумерки». «Стих.» (1923), в цикле «Снежная дева».

177. «Урна», с. 32. Иосиф *Гайдн* (1732—1809) — австрийский композитор.

178. «Урна», с. 33. «Стих.» (1923), под заглавием «Пусть», в цикле «Снежная дева», без строф 1—3. Автограф ЦГАЛИ, вместо строф 4—8 — новые:

Брожу средь полуночных зал...
Со стен — меж шкафом и гардиной —
Младой, вельможный генерал
Блистает белою лосиной.

Вот маршалы — Даву и Ней;
Вот — Александр... Вот — Грибоедов...
Под ними предавались с ней
Безумию невнятных бредов.

Пейзажи Корсик и Савой...
И ручки ситцевые кресел.
К ним прижимаясь головой,
Лобзал ее, счастлив и весел.

За окнами кружились там
Зимой — снега, а летом — ... мухи;
И шли, покорные мечтам,
По темным коридорам... духи...

И — вот!.. И на меня с тех пор
Тот генерал с лукавой миной
Насмешливый вперяет взор;
Белеет тою же лосиной.

179. «Золотое руно», 1907, № 3, с. 38, без заглавия, в цикле «Эпитафия», без строф 4, 8. «Стих.» (1923), в цикле «Снежная дева», между строфами 5 и 6 — новые:

Где, отдаваяся мечтам,
Исписывал бумаги стопы,
Где составлял по вечерам
Над грудой книжной... гороскопы...

По площадям, по городам
С тех пор годами я таскался;
И, угрожая дням, годам,
Мой злобный голос раздавался.

Одетый в теневой сюртук,
Обвитый роем меланхолий, —
Я всюду был... И был я звук
Неугасимой, темной боли...

Бросал я желчный голос свой
В дома, в года, в пространства, в зори,
В гром переполненных толпой
Бунтующих аудиторий.

Цитируя строки «Покоя не найдут они...», А. Белый указывал, что в этих стихах «впервые встает лейтмотив сборника „Урна“», и отмечал далее: «„Они“ — Блоки» («Материал к биографии», 1907 г., январь, ЦГАЛИ). В начале 1907 года отношения А. Белого с Блоками особенно обострились, что нашло отражение во многих стихах «Урны».

180. «Урна», с. 37. «Стих.» (1923), в цикле «Снежная дева», место написания: Москва.

181. «Золотое руно», 1907, № 3, с. 39, без заглавия, в цикле «Эпитафия». «Стих.» (1923), в цикле «Снежная дева», строфы 1—3 и 2 новые составили стих. «Ночь». Новые строфы:

Рожденный в темном октябре,
Внимаю песням небосклона,
О смысле жизни, зле, добре
В лучах *Весов* и *Скорпиона*.

Над головой повис *Дракон*
Оскалом блещущего зева:
Меня подстерегает он;
Меня освобождает — *Дева*.

Там же, строфы 4—6 — под заглавием «Поле». *Сергей Кречетов* (С. А. Соколов) — см. примеч. 53.

182. «Весы», 1908, № 5, с. 18, в цикле «Стансы», без 2-х последних строф. «Стих.» (1923), 3 последние строфы — под заглавием «Жизнь», в цикле «Снежная дева». Автограф ГБЛ, без заглавия, без 2-х последних строф; «Зовы», 2 последние строфы — под заглавием «Жизнь».

РАЗУВЕРЕНИЯ

183. «Весы», 1908, № 5, с. 13, в цикле «Стансы».

184. Альм. «Корона», сб. 1, М., 1908, с. 38, под заглавием «Элегия», в цикле «Усталость». Стих. написано во время пребывания А. Белого вместе с С. Соловьевым в селе Петровском и посвящено С. Соловьеву «в знак общего нам настроения». «Запомнилось это дождливое лето: туманы, молчанье, раздумье и тихая грусть о былом... Здесь я писал стихи «Урны»; да, здесь тихая грусть и усталость годами сменилась глубокой-глубокой целительной грустью — на перекрестке путей» («Эпопея», 1922, № 3, с. 265). В одном из писем 1907—1908 гг. С. Соловьев просил А. Белого посвятить ему это стихотворение (ГБЛ).

185. «Урна», с. 53.

186. «Весы», 1908, № 5, с. 16, в цикле «Стансы». «Стих.» (1923), под заглавием «Как пережить», в цикле «Снежная дева», место написания: Петербург. *Да не в суд или во осуждение* — слова христианской молитвы.

ФИЛОСОФИЧЕСКАЯ ГРУСТЬ

В этом разделе «Урны» отразилось разочарование А. Белого — итог его увлечений различными философскими идеалистическими школами, осознание бесплодности «сидений» в философских кружках. «Никогда не был я так стар, как на рубеже 1908—1909 года; меня занимали, как игра в шахматы, игры в сплетения отвлеченных понятий; я отдавался анализу кантианской схоластики, в нее не веря и тем не менее ей отравляясь; как на шахматные турниры, ходил я на философские семинары; а после писал иронически. . .» («Между двух революций», с. 279).

187. «Золотое руно», 1908, № 3-4, с. 46, под заглавием «Философия», в цикле «Меланхолия». «Стих.» (1923), как 3-я часть поэмы «Искуситель». *Герман Когэн* (1842—1918) — немецкий буржуазный философ-идеалист, представитель марбургской неокантианской школы. *NN* — имеется в виду Борис Александрович Фохт (1875—1946), философ-кантианец. Характеристика Фохта в мемуарах А. Белого «Начало века» (с. 351) совпадает — вплоть до отдельных деталей — с его портретом в стихотворениях «Премудрость» и «Мой друг». *И «Критикой» благословит.* А. Белый имеет в виду сочинения Канта.

188. «Урна», с. 65. «Стих.» (1923), как 5-я и 7-я части поэмы «Искуситель». *Марбургский философ* — Б. А. Фохт — см. примеч. 187.

189. «Урна», с. 67.

190. «Урна», с. 68. «Стих.» (1923), как 2-я часть поэмы «Искуситель».

191. «Урна», с. 69. «Стих.» (1923), как 4-я часть поэмы «Искуситель». *«Критики» передо мной.* Труды немецкого философа-идеалиста Иммануила Канта (1724—1804): «Критика чистого разума» (1781), «Критика практического разума» (1788), «Критика способности суждения» (1790). Об интересе А. Белого к философии Канта см. «Начало века», с. 411—413.

192. «Золотое руно», 1908, № 3-4, с. 44, в цикле «Меланхолия», без строф 13—14, 17, после строфы 12 — новая:

Неумолимый и всевластный,
Ты в полдень сладкий темень взвил
И сердца холод безучастный
В свой жаркий бархат заключил.

«Стих.» (1923), как 9, 10, 17-я части поэмы «Искуситель». СС, т. 2, строфы 17—20 — без заглавия; «Зовы», строфы 1—6 — под заглавием «Искуситель», без посвящения, строфы 7—13, 15—16 — под заглавием «Мефистофель», с новыми строфами:

Тень силуэтом черноватым
Висит, как я, — всегда, везде.

Тебя ли, пламенем объятым,
Я где-то зрел... Не помню — где.

Ты ль это, неподвижный профиль
Легко распластан на стене?
Я ль — Фауст? Ты ли — Мефистофель?..
Неясно мне... Склонись ко мне...

Оставьте... В этом фолианте
Мы все утонем без следа!..
Не говорите мне о Канте!!
Что Кант?.. Вот... есть... Сковорода.

Философ русский, а не немец!!!

А Белый питал глубокий интерес к творчеству М. А. *Врубеля* (1856—1910). В письме к Э. К. Метнеру от 17 ноября 1902 г., делясь впечатлениями о выставке «Мира искусства», А. Белый писал: «Впервые я увидел Врубеля полно представленного (*«Сирень», «Фауст», «Демон»* и др.). Это в буквальном смысле гигант; впечатление от его картин — подавляющее; вначале он даже неприятен, потому что слишком «крупен» (и в буквальном, и в переносном смысле слова). Когда я вошел в зал, где помещались его картины, мне казалось — меня забросали обломками» (ГБЛ). О «силе и глубине» картины Врубеля «Фауст и Маргарита» А. Белый отзывался так: «...Эти обороты веретена суть обороты времени» (письмо к Э. К. Метнеру от 3 марта 1903 г., ГБЛ). Стихотворение проникнуто мотивами и образами картин Врубеля.

193. «Золотое руно», 1908, № 3-4, с. 47, под заглавием «Любитель мудрости», в цикле «Меланхолия». «Стих.» (1923), как 12—15-я части поэмы «Искуситель».

194. «Урна», с 79. «Стих.» (1923), как 1-я часть поэмы «Искуситель», место написания: Серебряный Колодезь.

195. «Урна», с. 80. «Стих.» (1923), в цикле «Снежная дева».

196. «Урна», с. 81. «Стих.» (1923), как 26-я часть поэмы «Искуситель». О символике стихотворения А. Белый писал: «Когда я лежал на диване, вперяясь в наклонно висевшее зеркало против меня, я упирался глазами в себя самого: этот «я», отененный, зеленый, простертый, как труп на диване, смотрел на меня так угрюмо, неласково, с угрожающим порицанием; и курил, курил, соря пеплом, мутнея за клубами дыма, которые не защищали меня от его укоризненных глаз; я его называл своим «демоном»; и о нем написал я, когда он, меня пощадив, *отлетел* от меня...» («Между двух революций», с. 323).

197. «Столичная молва», 1908, № 20, 6 окт.; то же — альм. «Шиповник», кн. 6, СПб., 1908, с. 158, в цикле «Голоса в полях». А. Белый так вспоминал о настроениях, отразившихся в стихотво-

рении: «...Реакция додавливала всё лучшее; ряд личных горестных переживаний, ползших из прошлого (в частности новые неприятности с Блоками), усугубляли душевный мрак; господствовал скепсис; в уединении я сочинял стихи, потом вошедшие в «Урну»... «Не превозмочь» — лозунг дней; не превозмочь прошлого: чувство уныния...» («Между двух революций», с. 278).

ТРИСТИИ

Тристии. Цикл назван в подражание «Скорбям» («Tristia») Овидия.

198. «Урна», с. 87. «Зовы», под заглавием «Напиток». В переработанном виде, без заглавия — см. № 346.

199. «Весы», 1908, № 5, с. 17, в цикле «Стансы», без посвящения. Илья Николаевич *Бороздин* (род. в 1883) — историк; А. Белый познакомился с ним еще в детстве.

200. «Урна», с. 92.

201. «Корона», сб. 1, М., 1908, с. 34, под заглавием «Просветление», в цикле «Усталость», без последней строфы.

202. «Корона», сб. 1, М., 1908, с. 35, в цикле «Усталость», без строф 6, 9—12.

203. «Корона», сб. 1, М., 1908, с. 37, в цикле «Усталость».

204. «Корона», сб. 1, М., 1908, с. 32, в цикле «Усталость», без строф 7, 9.

205. «Урна», с. 104. *Коцит* — в древнегреческой мифологии одна из рек подземного царства, где обитали души умерших. А. Белый видел в этом стихотворении «отстой ряда перенесенных страданий, разрыва с друзьями, тяжелых отношений с Щ.» («Между двух революций», с. 363. Щ.—Л. Д. Блок).

ДУМЫ

206. «Урна», с. 107. Юрий Ананьевич *Сидоров* (1887—1909) — поэт. А. Белый указывал, что в стихотворениях этого цикла (в «Жизни» в частности) отразилось его увлечение поэзией Тютчева («Эпопея», 1923, № 4, с. 131—132).

207. «Урна», с. 109. Борис Александрович *Садовский* (1881—1945) — поэт, беллетрист, критик и историк литературы, примыкал к символистам, сотрудничал в журналах «Весы», «Труды и дни».

208. «Урна», с. 110.

209. «Урна», с. 111.

210. «Урна», с. 112.

211. «Урна», с. 113.

212. «Золотое руно», 1907, № 3, с. 37, без заглавия, в цикле «Эпитафия», без трех последних строф. «Стих.» (1923), в цикле «Снежная дева», строфы 1—6 — под заглавием «Просветление», 4 последние строфы — под заглавием «Пепел».

213. «Корона», сб. 1, М., 1908, с. 29, в цикле «Усталость», без строф 4, 5. «Стих.» (1923), в цикле «Лета забвения», строфы 1—3, 6, 7 — под заглавием «Дед», строфы 4, 5, 8 — под заглавием «Время; «Пепел» (1929), строфы 1—3, 5, 6, 8 — под заглавием «Дед», в цикле «В полях».

ПОСВЯЩЕНИЯ

214. «Урна», с. 123 *Кого когда-то зрел и я.* Детские воспоминания А. Белого о Л Толстом, бывавшем в доме Бугаевых, отразились в мемуарах «На рубеже двух столетий», с. 115—117. «Я... поклонялся ему, как великому художнику... я чтил... его, как одного из самых больших мудрецов и воистину учителей жизни», — писал А. Белый А. Б. Гольденвейзеру в апреле 1926 г. (ЦГАЛИ).

215. «Урна», с. 125. Автограф ГБЛ, без заглавия. В *Петровском* А. Белый и С. Соловьев провели лето 1907 г. *Из тьмы могильной вызывали мы дорогого мертвеца* и т. д. Имеется в виду Владимир Соловьев. *Японская война* — русско-японская война 1904—1905 гг. *Артурское плененье.* 2 января 1905 г. после восьмимесячной осады японцам был сдан Порт-Артур. *Народное волненье.* Речь идет о революционных событиях 1905—1906 гг. *Холера.* В 1907 г. в России была холерная эпидемия. *Землетрясенье.* Имеется в виду землетрясение 1908 г. в Калабрии и Мессине. *Покой воспоминаний сладок* и т. д. А. Белый вспоминает Новодевичье кладбище, где были похоронены В. С., М. С. и О. М. Соловьевы и Н. В. Бугаев. *Аполлион* (греч) — древнееевр. Аваддон — в Библии ангел бездны, синоним смерти. *Дивеево* — село Нижегородской губернии, где был женский монастырь. *Сарово* — село Тамбовской губернии, где находился мужской монастырь. А. Белый вспоминает о посещении этих мест в 1904 г.: «...Едем мы с матерью к соснам Сарова... Саров оставляет в душе моей ноту какого-то гложущего разочарованья: грубость монахов, открыто построивших благополучие жизни на слухах о чудесах, шесть гостиниц, наполненных людом, — все это осталось каким-то базаром; но сосны Сарова и прядающий животворный источник осталися в памяти. Наоборот: проведенные миги в Дивееве, впечатление от монашек... великолепные окрестности... до сих пор в моей памяти ясны, светлы» («Эпопея», 1922, № 2, с. 108—109).

216. «Урна», с. 128. Автограф ГБЛ, под заглавием «Вместо письма». Эмилий Карлович *Метнер* — см. примеч. 4—5. *На стогнах*

шумного Берлина и т. д. В 1909 г. Э. К. Метнер был в Германии. *Помню наши встречи* и т. д. А. Белый вспоминает здесь о вечерах на квартире Метнеров в 1902 г. (см «Начало века», с. 82—85). *Алексей Сергеич* — А. С. Петровский (1881—1958) — ближайший друг А. Белого, музеевед и переводчик, член кружка «аргонавтов», принимал участие в подготовке посмертного собрания стихотворений А. Белого. *Твой брат* — Николай Карлович Метнер (1879—1951) — композитор и пианист. «Я совершенно влюблен в его музыку, — писал А. Белый Э. К. Метнеру в ноябре 1902 г. о впечатлении, произведенном на него 1-й пьесой 2-го альбома. — ...Здесь — высший покой, высший и желанный, желанная, *вопрошающая* тишина, после того как *все* совершилось — ничего уже нет, кроме вечных водопадов, *водопадов* Вечности...» (ГБЛ). См. статью А. Белого 1906 г. «Николай Метнер» («Арабески», с. 372—375). *Кода* — последняя, завершающая часть музыкальной пьесы.

КОРОЛЕВНА И РЫЦАРИ

Сказки

217. «Антология», М., 1911, с. 29. ЗВ, под заглавием «Старые братья», в разделе «Возврат», без последней строфы.

218. «Литературный альманах», СПб., 1912, с. 23. Автограф ГБЛ.

219. «Аполлон», 1911, № 6, с. 32, под заглавием «День в Боголюбах», без последней строфы. *Боголюбовы* — село в Волынской губернии, близ Луцка, где жил отчим А. А. Тургеневой, В. К. Кампиони.

220. 1-я часть — «Аполлон», 1911, № 6, с. 30, под заглавием «Барбарусса»; 2-я часть — альм. «Гриф», М., 1914, с. 48, без заглавия, полностью — «Королевна и рыцари», с. 36. «Зовы», под заглавием «Барбарусса» (2-я часть — под заглавием «Вопрос», 1-я часть — под заглавием «Ответ»); автограф ГБЛ, 2-я часть — под заглавием «Вопрос»; ЗВ, в разделе «Возврат» (1-я часть — под заглавием «Голос из прошлого», 2-я часть — под заглавием «Голос из настоящего»).

221. «Аполлон», 1911, № 6, с. 31. ЗВ, в разделе «Возврат», 1-я часть — под заглавием «Королевна и рыцарь» (датировано: 1911, 1929), 2-я часть — под заглавием «Свидание». Эпиграф — неточная цитата из стих. Блока «Погружался я в море клевера...» (1903).

222. «Остров», 1911, № 2, с. 9, без строк 15, 24—26. ЗВ, в разделе «Возврат», под заглавием «Гном», с новыми строками, датировано: 1910. С этого стих., как вспоминал А. Белый, начался цикл «Королевна и рыцари», написанный под впечатлением знакомства поэта с А. А. Тургеневой в 1909 г. «В первый день по приезде в Москву из Бобровки я встретился с Асей Тургеневой. Она стала явно со мною дружить; этой девушке стал неожиданно

для себя я выкладывать многое; с нею делалось легко, точно в сказке... она мне предстала живою весною; когда оставались мы с нею вдвоем, то охватывало впечатление, будто встретились после долгой разлуки и будто мы в юном детстве дружили...:

В зеленые сладкие чащи...
Под розовый куст розмарина.

Розовый куст — распространяемая от нее атмосфера. Стихотворение написано в апреле 1909 года; оно — первое в цикле, противопоставленном только что вышедшей «Урне»: тематикою и романтикою настроения...» («Между двух революций», с. 362—363). Анна Алексеевна Тургенева (род. в 1891) — первая жена А. Белого, художница-гравер. Ей посвящены также многие стихи сборников «Звезда» и «После разлуки».

223. «Остров», 1911, № 2, с. 10, под заглавием «Змея». «Зовы», под заглавием «Зори», без строк 9, 10. В переработанном виде, под заглавием «Старое вино» — см. № 347.

224. «Антология», М., 1911, с. 32, с новыми строками:

Всё кануло: глухой покой окрест.
Сто долгих лет переживаю в грезах.
А надо мной горит могильный крест
В пурпуровых, надгробных, темных розах.

«Зовы», то же — под заглавием «Старинный друг», с эпиграфом из стих. А. Белого «„Наин" — святой гиероглиф...» («Урна», с. 119):

Да надо мной рассеет бури
Тысячелетий глубина...

ЗВ, под заглавием «Освободи...», в разделе «Возврат», поздняя ред., датировано: 1910, 1931.

225. «Королевна и рыцари», с. 53. ЗВ, поздняя ред., в цикле «Лесные встречи» (3-я часть датирована: 1918, 4-я часть датирована: 1903, 1931).

ЗВЕЗДА

В ЦГАЛИ хранится тетрадь, включающая стихотворения данного сборника, озаглавленная «Родине». Есть эпиграф — измененные строки из стихотворения А. Белого «Звезда»:

И яркая заяснилась звезда,
Алмазная, алмазная Венера.

226. «Скифы», сб. 1, СПб., 1917, с. 1, без заглавия, в цикле «Из дневника».

227. «Заветы», 1914, № 5, с. 1, без заглавия. Автограф ГБЛ, под заглавием «Мне снилось», с пометой: «март 1914»; «Зовы», без заглавия; автограф ГЛМ, без ст. 21—32.

228. «Эпоха», кн. 1, М., 1918, с. 11. Автограф ГБЛ, без посвящения. Надежда Афанасьевна *Григорова* (род. в 1885) — врач, знакомая А. Белого. Стихотворение написано на даче Григоровых — в *Поворовке. Карма* — в индийской философии и религии сумма деяний человека, предопределяющих его судьбу в последующем рождении. *Орифламма* — большой флаг.

229. «Эпоха», кн. 1, М., 1918, с 7. Один из автографов ГБЛ, ранний вариант, под заглавием «Набросок», датирован: июль 1916, с пометой: «Дорнах». *Мессина* — город и порт в Сицилии, где в 1908 г. произошло катастрофическое землетрясение. *Мартиника* — остров в Вест-Индии. В 1902 г. наблюдалось сильное извержение вулкана Мартиники. «...Пепел, рассеявшись в атмосфере, окрашивал зори совершенно особенно...» («На рубеже», с. 17).

230. «Скифы», сб. 2, СПб., 1918, с. 35. Автограф ГБЛ, с пометой: «ноябрь 1914». «Все постыло. Война? Но вот мое отношение к ней», — писал А. Белый М. К. Морозовой в 1916 г., посылая ей стихотворение (ГБЛ).

231. «Скифы», сб. 1, СПб., 1917, с. 2, без заглавия, в цикле «Из дневника». «Стихи о России», под заглавием «Деревня». Автограф ГБЛ, с пометой: «июль, 1916»; автограф ГЛМ, без заглавия, без строф 4, 5. *Ася* — А. А. Тургенева.

232. «Скифы», сб. 1, СПб., 1917, с. 3, без заглавия, в цикле «Из дневника». «Стихи о России», под заглавием «Россия»; «Пепел» (1929), в цикле «Мертвый город». Автограф ПД, без заглавия, без последней строфы.

233. «Скифы», сб. 1, СПб., 1917, с. 7, без заглавия, с подзаголовком: Шутка, в цикле «Из дневника». Автограф ГБЛ, под заглавием «Шутка». Отношения с В. И. *Ивановым* (см. примеч. 151) А. Белый характеризует как «сложные, запутанные... в которых момент яркой ярости чередовался с моментом сердечнейшей нежности...» («Начало века», с. 474). Наибольшие осложнения между ними относятся к 1907 году, когда А. Белый вступает в полемику с Вяч. Ивановым по поводу «мистического анархизма». Позже, в 1917 году, А. Белый пишет Вяч. Иванову: «Весь мой упор против Тебя невыразим логически: *мне претит* весь строй Твоей жизни — эгоистический, комфортабельный; мне претит Твоя жизнь, поскольку я извне ее созерцаю; без *Любви,* без *Жертвы* все Твои духовные алкания кажутся мне утонченной деталью к «ананасу в шампанском». Где подвиг Твой? Где жертва Твоя?.. Нет у Вас пути, нет у Вас правды, нет у Вас подвига!.. Мне очень трудно выразить это Тебе в глаза, ибо Ты всегда очаровываешь душевным богатством и блеском таланта, и душевной добротой; но я знаю, что Ты духовно нищ, духовно не добр» (ГБЛ). *«Прозрачность»* — заглавие сборника стихов (М, 1904) Вяч. Иванова. Сравнивая «Зо-

лото в лазури» с «Прозрачностью» (обе книги вышли в один год), А. Белый вспоминает: «Беспомощность, самоуверенность детских стихов удручала в сравнении с маленькой, трудно прочтенной книгой стихов Вячеслава Иванова» («Начало века», с. 328). *Пентаграмма* — магический знак, изображавшийся на амулетах.

234. «Скрижаль», сб. 1, Пг., 1918, с. 58. «...Тоскую, что Аси нет со мной», — писал А. Белый Блоку в апреле 1917 г. («Переписка», с. 333). А. Белый возвратился из Швейцарии в Россию в августе 1916 г.; А. А. Тургенева осталась в Дорнахе, где проживает до настоящего времени. *Сицилия, Палермо, Монреаль, Радес* — по этим местам путешествовал А. Белый в 1910—1911 гг. с А. А. Тургеневой. Ей впоследствии посвящен том «Путевых заметок» (М. — Берлин, 1922). *Демьяново* — село в Клинском уезде Московской губернии.

235. «Явь», М., 1919, с. 22, под заглавием «Паяц». *Зодиак* — ряд созвездий, расположенных вдоль большого круга небесной сферы, по которому совершается движение Солнца и других планет.

236. «Ветвь», М., 1917, с. 13, под заглавием «Зачем, за что?». «Весенний салон поэтов», М, 1918, с. 59, под заглавием «За что?».

237. «Скифы», сб. 1, СПб., 1917, с. 5, без заглавия, в цикле «Из дневника», без последней строфы. Автограф ГБЛ.

238. «Ветвь», М., 1917, с. 14. «Пепел» (1929), под заглавием «Марево», в цикле «Злая деревня». Автограф ГБЛ, без заглавия.

239. «Ветвь», М., 1917, с. 15, без заглавия. Один из автографов ЦГАЛИ, под заглавием «С праздником!». В ночь с 17 на 18 декабря в Петрограде был убит Распутин (1872—1916). *Купина* неопалимая — в библейской мифологии горящий, но чудом не сгорающий терновый куст, из которого бог говорил с Моисеем, призывая его к избавлению израильского народа от рабства.

240. «Знамя труда», 1918, № 168, 31 марта. Автограф ГБЛ, с пометой: «ноябрь 1917»; ЗВ, в разделе «Молнии лет».

241. «Жизнь», 1918, № 4, 26 апр. «Стихи о России», под заглавием «России». Автограф ГБЛ, под заглавием «К антропософии». Антропософия — религиозно-мистическое вероучение, ставящее на место бога обожествленного человека. С 1912 г. А. Белый начинает увлекаться антропософией.

242. «Знамя труда», 1918, № 2, с. 10, под заглавием «Близкой».

243. «Страда», кн. 2, 1917, с. 84, под заглавием «Искра»; вторично — «Жизнь», 1918, № 20, 19 мая, под заглавием «Мысль», после 2-й строфы — новая:

Услышал я в моем проросшем слухе
Гласящий мне громокипящий метр:

Как будто мне из мировой разрухи
Развеяли огнеподобный ветр.

Автограф ГБЛ, без заглавия.

244. «Знамя труда», 1918, № 171, с. 2. ЗВ, в разделе «Молнии лет». *«Ты Еси на не-бе-си»* — из молитвы «Отче наш».

245. «Биржевые ведомости» (утр. вып.), 1916, 21 авг. (3 сент.), без заглавия. Автограф ГБЛ и «Зовы», с пометой: «Июнь».

246. «Звезда», с. 45. Автограф ГБЛ, под заглавием «Мир чудесен».

247. «Жизнь», 1918, № 52, 27 июня, без заглавия, в цикле «Две танки». Автограф ГБЛ, под заглавием «Танка»; ЗВ, под заглавием «Цветик», в цикле «Летние блески». *Танка* — основная форма японской лирической поэзии, обычно состоит из пяти строк.

248. «Жизнь», 1918, № 52, 27 июня, без заглавия, в цикле «Две танки». Автограф ГБЛ, под заглавием «Танка»; ЗВ, под заглавием «Очи», в разделе «Летние блески».

249. «Звезда», с. 48. Автограф ГБЛ, без заглавия, в цикле «Танки».

250. «Звезда», с. 49. Автограф ГБЛ, без заглавия, в цикле «Танки»; ЗВ, под заглавием «Мотылек», в разделе «Летние блески».

251. «Жизнь», 1918, № 51, 27 июня. «Стих.» (1923), в разделе «Пять танок», с посвящением Н. А. Залшупиной (знакомой А. Белого по Дорнаху). Один из автографов ГБЛ, под заглавием «Танка».

252. Альм. «Гриф», М., 1914, с. 48, без заглавия. Автограф ГБЛ и «Зовы», без заглавия; ЗВ, под заглавием «А—О», в разделе «Летние блески».

253. «Звезда, с. 52. Автограф ГБЛ и автограф ПД, без заглавия.

254. «Звезда», с. 54. Автограф ГБЛ, ранний вариант, под заглавием «Наброски» (Асе), датирован: 1914, Христиания, в конце — новые строфы:

О, сколько дней, о, сколько раз,
Вернувшись в тихую обитель, —
Тону в пучине детских глаз, —
Мой друг, мой ангел, мой —
спаситель.
Нет — имени! нет слез; и мыслей —
нет.

А только плач о счастье, струйный, мирный...
Нет слов; нет мыслей: — только
свет
Последний, утренний, безмирный.
Еще туман. Еще — роса.
И запад тусклый жгут зарницы.
Далекий грохот колеса
Золотордяной колесницы.

255. «Звезда», с. 55. Автограф ГЛМ, с подзаголовком: «На получение телеграммы от Нее...» (т. е. от А. А. Тургеневой); ЗВ, под заглавием «Моя королевна», в разделе «Летние блески».

256. «Звезда», с. 56. ЗВ, в разделе «Летние блески».

257. «Северные записки», 1916, декабрь, с. 39, без заглавия. «Рабочий мир», 1918, № 11, с. 3, без заглавия, другой вариант:

Исполняйтесь, огромные дни!
Распадайтесь вы, темные храмы!
Молниеносны, как песни, — огни
И грозою черны — фимиамы.

Пусть стальное чудовище там,
Поднимая над городом копоть,
Принялось, угрожая мечтам,
Громким поршнем томительно топать.

Пусть и тонкое горло гудков
Поднимает стремительно свисты, —
Прямо в волок волнистых дымов
Занимается зов золотистый.

Исполняется чаемый час,
Наполняется славой братаний,
Перерезавши тьму, как алмаз,
Благодатью блаженных блистаний.

Громоносно глаголющий клик
Славословящих родину братий
Высекает невидимый лик
Из простершихся братских объятий.

Исполняйтесь, огромные дни!
Распадайтесь, огромные храмы...
Наши песни — сквозные огни —
Пролетят в облака — фимиамы.

258. «Скифы», сб. 1, СПб., 1917, с. 4, без заглавия, в цикле «Из дневника». «Стихи о России», под заглавием «России». Автограф ГБЛ, под заглавием «Зов».

259. Альм. «Новая жизнь», сб. 1, М., 1922, с. 3. «Стихи о России», под заглавием «В полях», датировано: май 1914. Автограф

ГБЛ, без заглавия; «Зовы», под заглавием «В русских полях». *Инспирация* — внушение. *Литургия* — обедня, главное христианское богослужение.

260. «Наш путь», 1918, № 1, с. 14. В автографе ГБЛ — объединено со стих. 262.

261. «Скифы», сб. 2, СПб., 1918, с. 36. «Стихи о России», под заглавием «Россия». Автограф ГБЛ, без последней строфы.

262. «Наш путь», 1918, № 1, с. 13, без заглавия.

ХРИСТОС ВОСКРЕС

Поэма

263. «Знамя труда», 1918, № 199, 12 мая, под заглавием «Христос воскресе»; то же — «Наш путь», 1918, № 2, с. 101. «Стих» (1923). ЗВ. *Иордань* — река в Палестине, в которой, по библейской легенде, принял крещение Иисус Христос. *Или... Сафахвани* (древнеевр.) — «Боже мой, для чего ты меня оставил» — по евангельской легенде, возглас распятого Христа. *А из пушечного гула* и т. д. А. Белый рисует выступление кадета, отражающее интересы русской буржуазии в первой мировой империалистической войне.

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

Поэма

264. «Знамя» (Берлин), 1921, № 2, с. 1, с пропуском ряда строк и целых отрывков, существенно отличается по композиции, есть новые строки. Автограф ЦГАЛИ, с новыми строками (зачеркнутыми). Стих. «Кладбище» («Золото в лазури», с. 174) в переработанном виде составило ст. 524—539 поэмы. Печатались отдельно: ст. 1027—1042 с изменениями, под заглавием «Благонамеренным» — «Записки мечтателей», 1922, № 5, с. 46; ст. 772—804, 813, 814, 856—867, 876—896, 899—912, 921, 922, 927—930, 1067—1070, 1075—1078, 1094—1105 с изменениями, под заглавием «Концерт в Благородном собрании в Москве» — «Стих.» (1923), с. 202—205; ст. 1237—1260, 1285—1292, 1295—1310 — под заглавием «Заступница» — «Стих.» (1923), с. 441—442; ст. 490—505 с изменениями, как 6-я часть поэмы «Искуситель»; ст. 508—539 с изменениями, как 8-я часть поэмы; ст. 931—961 с изменениями, как 11-я часть поэмы; ст. 98—145, как 16-я часть поэмы; ст. 1133—1192 с изменениями, как 20-я часть поэмы; ст. 1193—1220 с изменениями, как 21-я часть поэмы; ст. 1027—1054 с изменениями, как 22-я часть поэмы — «Стих.» (1923), с. 305, 306, 307—309, 311, 312, 314—316, 318—322. Поэма автобиографична.

Предисловие. *Духов день* — религиозный праздник, следующий после Троицына дня. В 1921 г. Духов день был 20 июня. Поэма начата в этот день, особенно памятный для Белого тем,

что двадцать лет назад, в 1901 г., он впервые осознал себя писателем. Позднее А. Белый так вспоминал об этом: «Написав ночью $^2/_3$ второй части «Симфонии» (2-й. — *Ред.*), я с утра принялся за продолжение; характерно: эта часть написана в ночь с Троицына дня на Духов день; в Духов день она была закончена к 5 часам дня; едва я успел окончить — звонок: Сережа, приехавший из Дедова; я ему тотчас же прочел эту 2-ю часть, окончившуюся сценой в Девичьем Монастыре; эта сцена поразила Сережу, и он высказал желание тотчас же отправиться в Монастырь на могилу Владимира Соловьева; мы отправились; нас поражала Москва; мной описанный «золотой Духов день» еще длился; он был точно такой, каким я его описал; и Монастырь — был таким же точно; мы ... пошли к могиле Вл. Соловьева, перед которой долго стояли в молчанье; как бы испрашивая у него благословение на *«подвиг нашего будущего служения»;* на другой день Сережа увез меня в Дедово, где я прочел 2-ю часть М. С. и О. М. Соловьевым; М. С. тогда же решил, что «Симфония» должна быть напечатана. Дни в Дедове — продолжение незабываемых московских *«священных»* дней; они полны разговорами огромной важности и овеяны тенью Владимира Соловьева. . .» («Материал к биографии», ЦГАЛИ). Поэма, написанная через двадцать лет после «Симфонии» (2-й, Драматической), оказалась тесно связанной с нею и по содержанию: «. . .Под покровами шутки старался в «Симфонии» выявить крайности наших мистических увлечений. . . — пишет А. Белый, — «Симфонии» — превращение духовных исканий в грубейшие оплотнения догматов... в быт жизни московской» («Эпопея», 1922, № 1, с. 143). *Идиома* — неразложимое словосочетание. *Язык, запрядай вновь и вновь* и т. д. — поэтический образ на темы «Откровения Иоанна», или «Апокалипсиса». *Милоть* — традиционное одеяние Иоанна Крестителя (овечья шкура). *«Ха» с «И» в «Же» — «Жизнь»: Христос Иисус* и т. д. Речь идет о монограмме Иисуса Христа, хризме — Ж̊. *Ты в слове Слова — богослов* — см. Евангелие от Иоанна («В начале бе Слово и Слово бе от бога. . .»). *Осанна* (древнеевр.) — «Спаси же!», молитвенный возглас, славословие. *Матфей и Марк* — евангелисты. *Иоанн* Богослов — апостол, автор «Апокалипсиса».

Часть 1. *Гольбер* (Уильям Холмен) *Гент* (1827—1910). Интерес к Генту, как и ко многим другим художникам, пробудила в А. Белом О. М. Соловьева. *И я — не гимназист: студент.* В 1899 г., окончив гимназию Поливанова, А. Белый поступил на естественный факультет Московского университета. *Майя* — в индийской религиозной философии олицетворение обольщения, иллюзии. *Упанишады* — древнейшие философские трактаты индусов, являющиеся составной частью ведической литературы. Еще на гимназической скамье А. Белый читал журнал «Вопросы философии и психологии», в котором его особенно заинтересовали печатавшиеся тогда «Отрывки из Упанишад». Роберт *Бойль* (1627—1691) — знаменитый английский химик и физик. Ян Дидерик *Ван-дер-Ваальс* (1837—1923) — голландский физик, объяснил явление взаимного перехода газообразного и жидкого состояний. *«Откуда этот ералаш?» — рассердится товарищ наш* и т. д. Имеется в виду А. С. Петровский (см. примеч. 216), с которым А. Белый подру-

жился в университетские годы. Иван Михайлович *Гревс* (1860—1941) — историк-медиевист; приват-доцент, позднее профессор Петербургского университета. *И ненароком Брюсов адит*. Имеется в виду увлечение Брюсова спиритизмом. *Гадес* (миф.) — бог подземного царства. *«Дар Валдая»* — из стих. Ф. Глинки «Тройка» (1824). *И мой отец, декан Летаев*. В автобиографической повести А. Белого «Котик Летаев» (Пг., 1922) под такой фамилией выступает отец поэта Н. В. Бугаев. Николай Алексеевич *Умов* (1846—1915), выдающийся русский физик, у которого учился А. Белый (см. о нем «На рубеже», с. 54—57). Джемс Клерк *Максвелл* (1831—1879). *Энтропия* — одна из термодинамических функций, характеризующих состояния и возможные изменения состояний материальных систем. Кельвин Томсон (1824—1907). *Мир — рвался в опытах Кюри и* т. д. Пьер *Кюри* (1859—1906) — выдающийся французский физик и химик, занимавшийся изучением процесса радиоактивности как результата атомных превращений. О глубоком интересе А. Белого к новейшим открытиям в области физики свидетельствует К. Н. Бугаева: «Он любил факты, опыт и точное знание. Физика, химия, их достижения интересовали его до конца. Он говорил о Боре и Резерфорде, когда о них знали еще только узкие специалисты. И упоминал об атомной энергии уже в „Первом свидании"» (К. Бугаева, Воспоминания, ГПБ). *Гекатомба* — массовое убийство, единовременная гибель множества людей. *Далай-лама* — титул правителя, соединяющего светскую и духовную власть в Тибете. *Меланит* (мелинит) — в переводе с греч. — ярко-желтый, взрывчатое вещество. *Дионисические тигры* — метафора А. Белого, обозначающая страсти. *Заратустра* (греч. — Зороастр) — полулегендарный пророк и реформатор древнегреческой религии. Время жизни Заратустры относят к 10—7 вв. до н. э. Легенда о Заратустре легла в основу произведения Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» (1883—1891).

Часть 2. *Михаил Сергеевич Соловьев*. Его портрет в поэме полностью совпадает с характеристикой в мемуарах А. Белого «На рубеже двух столетий» (стр. 363). *Бискр* (бистр) — темно-коричневая краска *Фома* Аквинский (1225—1274) — католический теолог и философ, крупнейший представитель средневековой схоластики. *Инкунабулы* — первопечатные книги. *Навек одно* — из стих. Вл. Соловьева «Знамение» (1898). *О. М.* — Ольга Михайловна Соловьева — см. примеч. 62. *Четьи-Минеи* — церковно-религиозные сборники жизнеописаний святых, сказаний и поучений, составленные в порядке дней каждого месяца. Альфред *де Виньи* (1797—1863) — французский поэт-романтик. *Кармен* — героиня одноименной новеллы Мериме (1845). Жюль Амедей *Барбье д'Оревильи* (1808—1889) — французский писатель. *Аля* — Александра Андреевна Кублицкая-Пиоттух — см. примеч. 87. *Так имя Александра Блока* и т. д. В мемуарах «Начало века» А. Белый вспоминает: «Ранней осенью (1901 г. — *Ред.*) — цикл разговоров о Блоке: в семье Соловьевых, показан мне ряд его стихотворений, великолепно сработанных; до этого «поэт» Блок мне был неведом; я становлюсь убежденным поклонником поэзии Блока и ее распространителем; Соловьевы решают, что Блок — симптом времени» (с. 124). *Сережа* — Сергей Михайлович Соловьев, в эту пору еще ученик гимназии. *Логос* — в христианском богословии обозначает божественный разум, дух.

Сергей Николаевич *Трубецкой* (1862—1905) — философ-идеалист, последователь Вл. Соловьева, профессор Московского университета, у которого слушал лекции А. Белый. В 1900 г. Трубецкой защитил докторскую диссертацию «Учение о Логосе». *Две бабушки, четыре дяди* и т. д. — см. «На рубеже», с. 386—388. *Григорий* Назианзин — *Богослов* (ок. 329 — ок. 389) — видный деятель восточно-римской церкви, патриарх Константинополя; сыграл значительную роль в оформлении догматов христианской церкви. *Соня Н-ая* — С. В. Гиацинтова (род. в 1895) — народная артистка СССР, в те годы арсеньевская гимназистка. *Надежда Львовна Зарина* — под этим именем изображена в поэме Маргарита Кирилловна Морозова (1873—1958) — жена известного фабриканта М. А. Морозова, организатор издательства «Путь». На ее квартире часто собирались литераторы, музыканты, профессора и общественные деятели, происходили заседания Московского религиозно-философского общества. А. Белый познакомился с М. К. Морозовой весной 1905 г. К 1901 году — времени действия поэмы — относится увлечение А. Белого Морозовой, которую он встречал на симфонических концертах. В «Материале к биографии» (ЦГАЛИ) под 1901 годом (январь) А. Белый записывает: «В этот ... месяц я особенно переживаю музыку... часто посещая концерты и частную оперу». Далее под тем же годом (февраль): «... важным событием этого месяца — моя встреча глазами с М. К. М. на симфоническом концерте во время исполнения бетховенской симфонии; и отсюда мгновенный вихрь переживаний, мной описанный в поэме «Первое свидание»... Метель, музыка, Она (София Премудрость Вл. Соловьева), М. К. М., Откровение Иоанна — вот лейтмотивы этого месяца; они вытесняют из моей души все прочее; университет, естествознание — все отлетело куда-то...» Далее (март 1901 г.): «...начинает все покрывать лейтмотив моей мистической любви к М. К. М. ...Кроме концертов, я начинаю видеть ее на Арбате и в Денежном переулке — в часы, когда она возвращается домой... Она уже знает меня в лицо; и мне кажется, что взгляд ее, на меня обращенный, — взгляд добрый и ласковый; лейтмотив этого времени — еще не написанная строчка Блока, с которой я встречусь уже через 7 месяцев: «Я *озарен:* я жду твоих *шагов*». С. М. Соловьев часто присоединяется к моим прогулкам, и мы часами бродим по улицам... Мы оба — в волнах любви, в волнах зари; и это текстуально, потому что время наших прогулок — закат; мы особенно отдаемся вечерней заре; а зори в эту весну — раннюю, теплую, благодатную — изумительны: ярки, зовущи. Соловьевы (М. С. и О. М.) знают, что я и Сережа охвачены платонической любовью, лукаво и ласково поглядывают на нас и как бы покровительствуют нашему заревому состоянию; в совершенно мистическом озарении я пишу М. К. М. длинное письмо, в котором я посвящаю ее в предмет моего культа; в нем я пишу о Ницше, о Вл. Соловьеве и о том, что мы ждем свершений огромного будущего; я подписываюсь *«Ваш рыцарь»;* и со страхом я жду встреч с ней на одном из симфонических концертов; на концерте М. К. М. бросает на меня взгляд, из которого мне становится ясным, что она знает, что автор письма — «я» и что она — не сердится на меня...» Смысл фамилии Зарина становится ясен также из писем А. Белого к

М. К. Морозовой. «... Заревая грусть, — только она вызвала это письмо, — писал он в 1901 г. — ... Вы — моя заря будущего. В Вас — грядущие события. Вы — философия новой эры. Для Вас я отрекся от любви...» (ГБЛ). В письме от 26 января 1903 г.: «Тучи снегов заметают границы жизни и смерти, но заря моя — не угасла...» (ГБЛ). М. К. Морозова изображена А. Белым как Сказка в «Симфонии» (2-й, Драматической). *Иудин Лев.* Гностическая аналогия Иуды (сына Иакова) со Львом восходит к библейскому пророчеству («Бытие», XLIX, 9). *Серапис* — главное божество эллинистического Египта, которого египтяне отождествляли со священным быком *Аписом. Брама* (Брахма) — один из высших богов в индуистской религии, творец мира и всех существ. *Мир — представление мое.* Одно из положений философии Артура Шопенгауэра (1788—1860), немецкого философа-идеалиста. Философией Шопенгауэра А. Белый увлекался еще в гимназии (см. «На рубеже», с. 214, 355, 485). *Воанергес* (греч.) — в Евангелии сыны громовы, ученики Иисуса Христа. *Новодевичий монастырь* — московский женский монастырь, расположенный на *Девичьем поле. Амиант* — минерал, разновидность асбеста. *Рясофорный* — носящий рясу. *Куколь* — монашеский головной убор в виде капюшона. Василий Осипович *Ключевский* (1841—1911) — русский историк, профессор Московского университета; бывал в доме Н. В. Бугаева. Д. С. *Мережковский* — см. примеч. 10—12. С Александром Борисовичем *Гольденвейзером* (1875—1961) А. Белый встречался в доме Метнеров, состоял в переписке. ... *над Россией — тайный враг* и т. д. А. Белый имеет в виду идею панмонголизма Вл. Соловьева. ... *земли портящий овраг грызет юго-восток Европы.* См. статью Вл. Соловьева «Враг с Востока» — об эрозии почвы. *«Новое время»* — реакционная газета, выходившая в Петербурге (1868—1917). Н. А. *Демчинский* — вел в газете «Новое время» календарь природы. *Свечений зорь нельзя никак* и т. д. — см. примеч. 229. *Агни* — в ведийской мифологии бог огня. *А мы молчим, одним объяты* и т. д. «Самым ценным в общении с Сережей (Соловьевым) было то обстоятельство, — писал А. Белый, — что предмет общения (шутки, игры, обмен впечатлений от жизни, от мира искусств) располагались вокруг единого стержня, или, по-нашему, — «одного»; самое выражение «об одном», «о главном», в те годы сложилось меж нами...» («На рубеже», с. 379).

Часть 3. *Гелиополь* — один из древнейших городов Египта, считавшийся священным городом — местопребыванием верховного бога Ра-Атум. *Дева Отис* — вымышленное имя, в подражание греческим именам. *Миозотис* — незабудка. *Загрей* — одно из имен Диониса, сына Зевса. Войтех Иванович *Главач* (1849—1911). Василий Иванович *Сафонов* (1852—1918) — выдающийся русский пианист, педагог, дирижер и музыкально-общественный деятель. *Каста «фонов»* — новообразование А. Белого, производное от приставки, употребляемой при дворянских фамилиях немецкого происхождения. *Эреб* (миф.) — самая мрачная часть подземного царства, ад. *Эоны* — гностический термин, обозначающий промежуточную ступень между божеством и греховным миром. *Ореады* (миф.) — нимфы гор. *Алексей Сергеич П—овский* — А. С. Петровский — см. примеч. 216. Владимир Васильевич *Марковников* (1839—1904). Со-

фья Андреевна *Толстая* (1844—1919) — жена Льва Николаевича Толстого. Эммануил *Сведенборг* (1688—1772) — шведский ученый-натуралист, впоследствии мистик и теософ; объявил себя «духовидцем», призванным самим Христом дать истинное толкование Библии. *И я, как гиблый гибеллин, у гвельфов ног. Гибеллины* — имперская партия в Италии XII—XV вв., поддерживавшая германских императоров и боровшаяся с папской партией — *гвельфов. Смеясь без мысли и без речи* — измененная строка из стих. А. Блока «Я, отрок, зажигаю свечи...» (1902): «Она без мысли и без речи на том смеется берегу». Сергей Иванович *Танеев* (1856—1915). А. Белый бывал на «вторниках» С. И. Танеева (см. об этом «Начало века», с. 467—468), встречался с ним в «Доме песни» Д'Альгейма. *Обер-полицмейстер* — Д. Ф. Трепов (1855—1906) — реакционный государственный деятель царской России, вдохновитель черносотенных погромов; в 1896—1905 гг. занимал пост московского обер-полицмейстера. *Норны* — в древнескандинавской мифологии три девы судьбы. *Вотан* — в древнегерманской мифологии бог ветра и бурь, позднее бог войны, покровитель торговли, мореплавания, поэзии, магии; по преданию, на каждом плече Вотана сидит по ворону, которые ежедневно облетают мир и докладывают ему обо всем. *Василий Ильич* — Сафонов. Иван Войтехович *Гржимали* (1844—1915). *С'кон'апель* (франц. ce qu'on appelle) — то, что называется. Александр Николаевич *Скрябин* (1872—1915) — выдающийся русский композитор. *Мария, Марфа* — по евангельской легенде, сестры Лазаря. Мария воплощает духовное начало, Марфа — суетное (от Луки, X, 38—42). *Аллилуйя* — славословие в христианском и иудейском богослужении. *Огни Сент-Эльма* — электрические разряды, наблюдаемые в естественных условиях; свое название получили по имени церкви Святого Эльма, на башне которой они часто возникали. *Дамасский свет*. По евангельской легенде, апостол Павел, будучи еще язычником Савлом, на пути к Дамаску был ослеплен светом с неба, после чего уверовал в Иисуса Христа. Владимир Владимирович *Каллаш* (1866—1919). Дмитрий Федорович *Егоров* (1869—1930). Иван Алексеевич *Каблуков* (1857—1942). Владимир Иванович *Шенрок* (1853—1910) — историк литературы; занимался изучением жизни и творчества Н. В. Гоголя.

Часть 4. *Лемуры* (лат.) — по верованиям древних римлян, призраки, души умерших. *Откровение Иоанна* — Апокалипсис (заключительная часть Библии).

ПОСЛЕ РАЗЛУКИ

Большинство стихотворений сборника написано в конце мая — июне 1922 г. Вспоминая об этом времени, А. Белый писал: «Овладевает лирическое настроение: начинаю писать стихи цикла «После разлуки». И далее: «Единым махом пишу цикл „После разлуки"» («Летопись жизни и творчества Андрея Белого», сост. К. Н. Бугаева; ГПБ). «Берлинский песенник» проникнут переживаниями А. Белого, связанными с его взаимоотношениями с А. А. Тургеневой. В 1922 г. поэт приезжает в Берлин, чтобы встретиться с

нею после долгой разлуки, но встреча кончается новой разлукой — на этот раз навсегда. На замысел книги повлияло также общение А. Белого в Берлине в 1922 г. с М. И. Цветаевой и его впечатления от сборника ее стихов «Разлука» (Берлин, 1922): «Ведь я после Вашей «Разлуки» опять стихи пишу. Я думаю — я не поэт. Я могу — годами не писать стихов. Значит, не поэт. А тут, после Вашей «Разлуки» — хлынуло. Остановить не могу. Я пишу вас — дальше. Это будет целая книга: «После Разлуки», — после разлуки — с нею, и «Разлуки» — вашей. Я мысленно посвящаю ее вам и если не проставляю посвящения, то только потому, что она ваша, из вас, я не могу дарить вам вашего, это было бы — нескромно». (М. Цветаева, Проза, Нью-Йорк, 1953, с. 330—331.) В книгу вошло стихотворение «М. И. Цветаевой» («После разлуки», с. 123).

265. «После разлуки», с. 29. Переработанное, в ЗВ, распалось на два стих.: под заглавием «Зарницы» (датировано: 1922, 1929) и «Вечер» (датировано: 1922, 1931), в разделе «Трепетень».

266. «После разлуки», с. 45. «Стих.» (1923), без заглавия, в разделе «После Звезды». Автограф ЦГАЛИ, строки 1—17 — без заглавия, с пометой: «ноября 14, 1923 года. Москва».

267. «Записки мечтателей», 1922, № 5, с. 47. «Стих.» (1923), в разделе «После Звезды», с новой заключительной строфой:

Неуверение — грызет, грызет меня...
Неуверением часы и дни измерю.
Неуверением не уверяюсь я:
В неуверение неверное не верю.

Майя — см. примеч. 264.

268. «Эпопея», 1922, № 1, с. 25, под заглавием «Асе». «Стих.» (1923), под заглавием «Нелли», в разделе «После Звезды». Автограф ГПБ, под заглавием «Асе» — ст. 1—11 и новые строки:

Но — безответная, отбрасываешь прочь
Немой мольбы моей последнее признанье,
Отбрасываешь ты, отбрасываешь в ночь
Неуверением и горестным молчаньем.

Там же, под заглавием «Больница» — ст. 12—30 и новые строки:

Оскаленная смерть в кровавых «Галлифэ»,
Во «фрэнче» новеньком, взмахнув рукою твердой,
Наганом щелкает в оскаленный трофей,
На землю грянувший перед безносой мордой.

Нелли — Ася (А. А. Тургенева). Под этим именем она фигурирует в книге А. Белого «Записки чудака» (т. 1—2, М. — Берлин, 1922) и в «Путевых заметках» (т. 1, М.—Берлин, 1922).

269. «Эпопея», 1922, № 1, с. 26, под заглавием «Асе».

270. «После разлуки», с. 65. «Стих.» (1923), в разделе «После Звезды». ЗВ, 1—4-я части — под заглавием «Золотой плач», в разделе «Трепетень».

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

271. Печ. впервые, по автографу ГБЛ.

272. Печ. впервые, по автографу ГБЛ. Посылая это стихотворение Э. К. Метнеру, А. Белый писал 26 марта 1903 г.: «Я уходил за смерть, — я вернулся. Я возвратился. И это *de facto,* не путем теософских размышлений. Теперь мне звучит совершенно в ином свете ницшевское *«Я нашел самого себя»* — теперь, когда я *вторично* живу, *повторяюсь* не умирая — мне смешно» (ГБЛ).

273. Альм. «Гриф», М., 1905, с. 12, в цикле «Тоска о воле». В письме к Блоку, без заглавия («Переписка»), с новыми строфами:

На чаёк бросал не раз
Оборванцам рупь я...
Озаряет желтый газ
Мертвенные струпья.
«Милостивый государь,
Очень Вами благодарен...
Был и я когда-то встарь
Барин!»

274. «Вопросы жизни», 1905, № 3, с. 100. *В. Б.* — В. Я. Брюсов. Написано в ответ на стихотворение Брюсова «Бальдеру Локи» (1904) — см. «Начало века», с. 352.

275. «Вопросы жизни», 1905, № 3, с. 98.

276. Печ. впервые, по автографу ГБЛ. *Вера Константиновна Иванова*-Шварсалон — дочь Зиновьевой-Аннибал (второй жены Вяч. Иванова) от первого брака, третья жена Вяч. Иванова. Михаил Алексеевич *Кузмин* (1875—1936) — поэт-символист, переводчик, критик; исполнял под собственный аккомпанемент свою музыку, на свои же слова. *Вячеслав* — В. И. Иванов. О днях, проведенных в доме у В. Иванова, о своеобразном быте на его «башне» рассказано в «Начале века» (гл. «Башенный житель»).

277. «Факелы», кн. 1, СПб., 1906, с. 33. Автограф ЦГАЛИ, под заглавием «Революционер».

278. «Золотое руно», 1906, № 11-12, с. 44, в цикле «Обыденность». Александр Антонович *Курсинский* (1873—1919) — поэт-символист, Михаил Александрович *Бакунин* (1814—1876) — революционер, публицист, один из идеологов народничества и анархизма.

279. «Переписка», с. 181.

280. Альм. «Кристалл», Харьков, 1908, с. 47.

281. «Весы», 1909, № 10-11, с. 131.

282. Печ. впервые, по автографу ГБЛ.

283. Печ. впервые, по автографу ГБЛ.

284. Печ. впервые, по автографу ГБЛ (в цикле «Танки»).

285. Печ. впервые, по автографу ЦГАЛИ («Звезда»). Автограф ГБЛ, под заглавием «Властителю дум», с посвящением «Х—у» (зачеркнуто). *Леонид Ледяной* — герой автобиографической повести «Записки чудака», которая, по словам А. Белого, есть «сатира на самого себя, на пережитое лично» («Записки чудака», т. 2, М. — Берлин, 1922, с. 236). *Корней* Иванович *Чуковский* (род. в 1882) — писатель, поэт, литературовед и переводчик. Юлий Исаевич *Айхенвальд* (1872—1928) — критик. Владимир Максимович *Фриче* (1870—1929) — историк литературы и искусствовед; выступал также как лектор, публицист.

286. «Поэты наших дней». Антология, М., 1924, с. 11. Автограф ЦГАЛИ, под заглавием «Июль», с новыми строфами:

(После 3-й) Светлеют летние слезинки;
И млеет летней ленью день;
Слезой лазоревой лозинки
Склонились тиховейно в тень.

Уж облачками легкой пыли
С души слетает тяжесть дня.
В неугасаемые были
Неудержимо мчит меня.

Белеют бледные былинки,
Росеют бледные стога;
Над синью скошенной долинки
Яснеют тонкие рога.

(После 4-й) Всё это — было: были — были;
И сказки были: был и я...
Тысячелетия не смыли
Глухую тайну бытия:
Всё плещет над душой, Марией,
Животворящая струя:
Над умирающей Россией
Неумирающее «Я».

Вошло в «Стих.» (1940), с: 226.

287. «День поэзии». М., 1965, с. 219, без ст. 7, 8. Печ. по ЗВ (раздел «Летние блески»).

288. Печ. впервые, по ЗВ (раздел «Черч теней»).

289. «Стих.» (1940), с. 227. Клавдия Николаевна *Бугаева* (род. в 1886) — вторая жена А. Белого. *Кучино* — дачная местность под Москвой, где А. Белый жил в 1925—1931 гг.

290. «Стих.» (1940), с. 228.

291. «Новые стихи», сб. 2, М., 1927, с. 8. *Навий* (устар.) — умерший.

292. «Новые стихи», сб. 2, М., 1927, с. 7. ЗВ, в разделе «Летние блески».

293. Печ. впервые, по ЗВ (раздел «Черч теней»). Автограф ГБЛ, строфы 1, 2, 4, 6 — под заглавием «К...».

294. Печ. впервые, по ЗВ (раздел «Черч теней»). *Иегова* — одно из имен бога в Библии.

295. «Стих.» (1940), с. 232. *Сафо* — древнегреческая поэтесса, жившая в конце 7—6 вв. до н. э.

296. Печ. впервые, по ЗВ (раздел «Трепетень»). Николай Степанович *Гумилев* (1886—1921) — поэт-акмеист. *Пирсо Памбра, дон Баран, Гуссейн, Хавей-Хумзи* — имена, вымышленные А. Белым в подражание Гумилеву. *Альгамбра* — крепость-дворец близ Гренады.

297. Печ. впервые, по ЗВ (раздел «Возврат»).

298. Печ. впервые, по ЗВ (раздел «Возврат»).

299. «Стих.» (1940), с. 230. *И днем и ночью кот ученый и т. д.* — из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» (1817—1820).

300. Печ. впервые, по ЗВ (раздел «Черч теней»).

301. Печ. впервые, по ЗВ (раздел «Черч теней»).

302. Печ. впервые, по ЗВ (раздел «Трепетень»).

ПЕРЕРАБОТАННЫЕ СТИХИ

303. Печ. впервые, по ЗВ (раздел «Возврат»). Автограф ЦГАЛИ, строфы 3, 5—7 — под заглавием «Тоска о дне». Восходит к стих. 42 (по свидетельству К. Н. Бугаевой). Ссылки на свидетельство вдовы поэта (см. прежде всего составленное ею оглавление к «Зовам времен» в ЦГАЛИ) даются в тех случаях, когда связь между стихотворением с двойной датой и его первоначальной редакцией в ранних сборниках А. Белого практически неуловима и иным путем не устанавливается. Устанавливая все же такую связь, К. Н. Бугаева предупреждает, что делает это по боль-

шей части «*не* как литературную работу, а как *воспоминание...*» «В свое время, — пишет К. Н. Бугаева, — я ничего не записывала. Этого не вернешь. Но, очевидно, многое помимо воли запоминалось, отложилось во мне бессознательно. И хотя сперва я не всегда могу ясно сказать, почему ставлю в связь два какие-нибудь стихотворения, но внутренне знаю, что это именно так. Я долго вчитываюсь в строчки Зовов времен и вдруг начинаю, — за ними, или как бы сквозь них, — слышать встающие строчки Золота в лазури. Нахожу их и проверяю себя: «Да, то!» Или: «Нет, не то!» И продолжаю читать, еще вслушиваться. Может быть, это действует глухое воспоминание, отзвук того, что я когда-то слышала от Б. Н. и о чем позабыла в своей сознательной памяти. И вот теперь оно возникает. Ведь так часто бывало: прочитав мне последнюю и окончательную редакцию, Б. Н. приносил «старое» Золото в лазури и, прочитывая оттуда параллельные отрывки, со смехом демонстрировал особенно «чудовищные гротески»... Его слова глубоко запали мне в душу. Я их запомнила. Но еще глубже, вероятно, запали демонстрируемые им мне цитаты и помогли мне теперь отыскивать верный след «на слух» (К. Н. Бугаева, Воспоминания, ГБЛ).

304. Печ. впервые, по ЗВ (раздел «Летние блески»).

305. Печ. впервые, по ЗВ (раздел «Черч теней»).

306. Печ впервые, по ЗВ (раздел «Исход»). Восходит к стих. 66 (по свидетельству К. Н. Бугаевой).

307. «Стих.» (1940), с. 225. Печ. по ЗВ (раздел «Летние блески»).

308. Печ. впервые, по ЗВ (раздел «Трепетень»). Переработано из стих. 78.

309. «После разлуки», с. 31. ЗВ (раздел «Трепетень»), под заглавием «Полярное море» (датировано: 1931). Восходит к стих. 57 (по свидетельству К. Н. Бугаевой).

310. Печ. впервые, по ЗВ (раздел «Трепетень»).

311. Печ. впервые, по ЗВ (раздел «Черч теней»).

312. «Пепел» (1929), с. 111 (раздел «В полях»). СС, т. 1, под заглавием «Весна», с пометой: «1902, 1914», вместо 4-й строфы — другая (зачеркнута):

Опять протекли от зари —
И чисто, и нежно, и ясно —
Легчайшие там кисеи
Волною задумчиво красной.

Переработано из 2-го и 3-го стих. из цикла 13—15.

313. Печ. впервые, по ЗВ (раздел «Летние блески»). Восходит к стих. 79 (по свидетельству К. Н. Бугаевой).

314. Печ. впервые, по ЗВ (раздел «Исход»). Переработано из 3-го стих. из цикла 7—9.

315. «День поэзии», М., 1965, с. 220. Переработано из 1-го стих. из цикла 7—9. *Персть* (книжн. устар.) — земной прах, пыль.

316. «Стих.» (1923), с. 37 (цикл «В полях»). СС, т. 1, под заглавием «Отошедшему другу»; ЗВ, в разделе «Исход», вместо последней строфы — другая:

Незримый друг, в мою влагаешь руку
Ты — световую, теплую ладонь,
И я внемлю пророческому звуку,
И светит мне твой солнечный огонь.

Переработано из стих. 61. *Монада* — в идеалистической философии Лейбница — неделимые духовные элементы, составляющие якобы основу мироздания. Н. В. Бугаев был автором брошюры «Основы эволюционной монадологии».

317. «Стих.» (1923), с. 29 (цикл «В полях»). Переработано из стих. 61.

318. Печ. впервые, по ЗВ (раздел «Черч теней»). Переработано из стих. 16. *Páка* — гробница с мощами святого угодника.

319. «После разлуки», с. 41. «Стих.» (1923), с. 246, под заглавием «Могила», в разделе «Урна», в цикле «Снежная дева». Переработано из стих. 65.

320. «Пепел» (1929), с. 133 (цикл «В полях). Переработано из стих. 27. *Козетка* — небольшая кушетка.

321. Печ. впервые, по ЗВ (раздел «Летние блески»). Восходит ко 2-му стих. из цикла 1—3 (по свидетельству К. Н. Бугаевой).

322. Печ впервые, по ЗВ (раздел «Трепетень»). Переработано из стих. 4—5. *Нард* — восточное ароматическое вещество. *Лал* — рубин.

323. Печ. впервые, по ЗВ (раздел «Молнии лет»). Переработано из стих. 6.

324—328. Печ. впервые, по ЗВ (раздел «Черч теней»), без 2-го и 6-го стих., представляющих собой — с изменениями — стих. 2-е и 4-е из цикла 168—171.

1. Переработано из стих. 46.

7. Переработано из 1-го стих. из цикла 168—171. *Жегло* — каленое железо. *Страз* (нем.) — от имени изобретателя (Strass) — поддельный, хрустальный алмаз.

329. Печ. впервые, по ЗВ (раздел «Черч теней»).

330. Печ. впервые, по ЗВ (раздел «Трепетень»). Восходит к 1-му стих. из цикла 10—12 (по свидетельству К. Н. Бугаевой). *Потир* — большая чаша, употреблявшаяся в христианском культовом обряде.

331. Печ. впервые, по ЗВ (раздел «Трепетень»). Переработано из стих. 69.

332. Печ. впервые, по ЗВ (раздел «Возврат»). Переработано из стих. 45.

333. Печ. впервые, по ЗВ (раздел «Исход»). Восходит к стих. 62 (по свидетельству К. Н. Бугаевой).

334. Печ. впервые, по ЗВ (раздел «Исход»). Переработано из стих. 63. *Синай* — гора на Синайском полуострове, с которой связана библейская легенда о пророке Моисее.

335. «Записки мечтателей», 1922, № 5, с. 44.

336. Печ. впервые, по ЗВ (раздел «Молнии лет»). Восходит к стих. 68 и 144 (по свидетельству К. Н. Бугаевой).

337. «Пепел» (1929), с. 58 (цикл «Глухая Россия»). Восходит к стих. 167 (по свидетельству К. Н. Бугаевой).

338. «День поэзии», М., 1965, с. 218. Переработано из стих. 155.

339. «Пепел» (1929), с. 68 (цикл «Мертвый город»).

340. «Пепел» (1929), с. 199 (цикл «В полях»).

341. «Пепел» (1929), с. 63 (цикл «Мертвый город»). «Пепел» (ред. 1925), без заглавия.

342. «Пепел» (1929), с. 64 (цикл «Мертвый город»). «Пепел» (ред. 1925), без заглавия.

343. «Стих.» (1923), с. 88 (раздел «Золото в лазури», цикл «Не тот»). Переработано из 5-й строфы стих. 119 и строф 5—7 стих. 122.

344. «Пепел» (1929), с. 337 (цикл «Глухая Россия»).

345. «Пепел» (1929), с. 66 (цикл «Мертвый город»).

346. Печ. впервые, по ЗВ (раздел «Летние блески»). Переработано из стих. 198.

347. Печ. впервые, по ЗВ (раздел «Трепетень»). Переработано из стих. 223.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис*. А. Белый. Фотография 1933 г.
2. *Между стр. 112 и 113*. Фото 1899 г.
3. *На обороте*. Фото 1905 г.
4. *Между стр. 144 и 145*. Портрет А. Белого работы Л. С. Бакста (1905).
5. *На обороте*. Рисунок А. Белого.
6. *Стр. 281*. Стихотворение «Созидатель». Верстка с авторской правкой.
7. *Стр. 387*. А. Белый, Силуэт Е. С. Кругликовой.
8. *Между стр. 416 и 417*. А. Белый. Фотография. Берлин, 1929 г.
9. *Между стр. 448 и 449*. Портрет А. Белого, работы А. П. Остроумовой-Лебедевой. Коктебель, 1924.
10. *На обороте*. Фото 1933 г.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

[1] В заглавиях подобного рода — при расположении по алфавиту — инициалы не учитываются.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ

ОБРАЗЫ

БАГРЯНИЦА В ТЕРНИЯХ

ПЕПЕЛ

РОССИЯ

ДЕРЕВНЯ

ПАУТИНА

ГОРОД

БЕЗУМИЕ

ПРОСВЕТЫ

ГОРЕМЫКИ

УРНА

В. БРЮСОВУ

ЗИМА

РАЗУВЕРЕНЬЯ

ФИЛОСОФИЧЕСКАЯ ГРУСТЬ

ТРИСТИИ

ДУМЫ

ПОСВЯЩЕНИЯ

КОРОЛЕВНА И РЫЦАРИ

Сказки

ЗВЕЗДА

ХРИСТОС ВОСКРЕС

Поэма

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

Поэма

ПОСЛЕ РАЗЛУКИ

Берлинский песенник

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

ПЕРЕРАБОТАННЫЕ СТИХИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Андрей Белый

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Л. О. изд-ва «Советский писатель». 1966, 656 стр.
Тем. план вып. 1966 г. № 409

Редактор *Г. М. Цурикова.*

Художник *И. С. Серов.* Худож. редактор *А. Ф. Третьякова.*
Техн. редактор *В. Г. Комм.* Корректор *Ф. Н. Аврунина.*

Сдано в набор 21/III 1966 г. Подписано в печать 14/V 1966 г. М 17768. Бумага $84\times108^{1}/_{32}$, № 1. Печ. л. $20^{1}/_{2}$ + 5 вкл. (34,96). Уч.-изд. л. 30,14. Тираж 25 000 экз. Зак. № 565. Цена 1 р. 80 к.

Издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение.
Ленинград, Невский пр., 28

Ленинградская типография № 5 Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР. Красная ул., 1/3

1р. 80к.